

С.С.Аверинцев

ПЛУТАРХ

*и античная
биография*



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



С. С. АВЕРИНЦЕВ

ПЛУТАРХ
И АНТИЧНАЯ БИОГРАФИЯ

**К вопросу о месте классика жанра
в истории жанра**

Книга представляет собой первое в русской и советской научной литературе систематическое исследование одного из самых известных памятников античной прозы — «Параллельных жизнеописаний» Плутарха Херонейского, оказавшего огромное влияние на европейскую литературу последующих эпох. За это исследование автор был удостоен премии Ленинского комсомола за достижения в области науки и техники.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
М. Л. Г А С П А Р О В

*Матери моей
Наталии Васильевне Аверинцевой
почтительнейше посвящаю*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если читатель возьмет в руки эту книгу, вознамерившись узнать из нее «все о Плутархе», ему придется испытать разочарование. Для этого в книге слишком мало говорится о самом Плутархе и слишком много говорится о том, на что, как уверяет автор книги, Плутарх как раз не был похож. Попробуем выразиться фигурально: здесь сделана попытка не столько разрисовывать и раскрашивать портрет писателя, сколько порезче прорчертить его силуэт и дать к силуэту контрастирующий фон. Читателю предлагается сосредоточиться на самом контуре, на самих границах фигуры — иначе говоря, на том, что отграничивает феномен Плутарха-биографа от всего схожего или соседствующего. Этим определены требования, которые предъявлял к своей работе автор. От силуэта не требуют, чтобы он был подробно выписан или чтобы он был трехмерным; от него требуют четкости.

Равномерно и с притязанием на полноту рассказывать о творчестве Плутарха в совокупности его сторон — это одна задача. Писать о том же Плутархе оригинальное исследование — это совсем другая задача, при современном положении филологической науки едва ли совместимая с первой. Когда о предмете сказано много, нельзя желать одновременно двух вещей: сказать о нем все и не повторять уже сказанного. А о Плутархе сказано много; и автору этой книги не хотелось повторять уже сказанного. «Параллельным жизнеописаниям» посвящено такое множество старых, новых и новейших работ, о котором приложенная к нашему труду библиография может дать лишь неполное представление (русскому читателю при-

дется, правда, несколько огорчиться, что среди этих работ так мало русских работ). Как бы то ни было, в общих своих чертах писательский облик Плутарха выяснен удовлетворительно. Поэтому автор этой книги решился по возможности исключать из своего рассмотрения те стороны плутарховского творчества, которые казались ему достаточно изученными; лишь иногда необходимость принуждала его вкратце резюмировать чужие констатации, но и в этих случаях он предпочитал ограничиваться библиографическими отсылками.

Та совокупность представлений о херонейском биографе, которую дают лучшие исследования последнего времени¹, нуждается, конечно, в дополнениях и уточнениях; я не думаю, что она нуждается в сколько-нибудь радикальном пересмотре. И все-таки есть по крайней мере один принципиальный вопрос, который приходится ставить применительно к Плутарху совсем заново: это вопрос о границах и о природе его писательской оригинальности. Вспомним то, что сказано выше о силуэте и о фоне. Но фон, на котором можно рассматривать силуэт писателя, всегда двусоставен: любой писатель — современник своих современников, товарищей по эпохе, но также продолжатель своих предшественников, товарищей по жанру. Так, Плутарх находится в определенном отношении к Диону Хрисостому, поскольку Дион писал одновременно с ним, но также к Гермиппу, поскольку Гермипп писал до него и писал именно биографии. О. Мандельштам дал поэтическую формулу этого двойного отношения в литературном времени и в литературном пространстве, сказав о «родстве» и «соседстве» писателя. Конечно, для литератора поздней античности отношение «соседства» и тем более отношение «родства» было прежде всего позитивно принятой связью (только поэт нашего века мог бы сказать, как это сделал Мандельштам, что он волен презирать эту связь — ради иных, более отдаленных и свободных видов преемства). Но в любую эпоху любой писатель, сколь угодно сговорчивый и послушный — а Плутарх был, как мы знаем, очень сговорчив и довольно послушен, — не может стать

самим собой, не может вообще *стать*, не оттолкнувшись каким-то образом и от «родства», и от «соседства». Когда мы говорим, что писатель существует как реальность истории литературы, мы тем самым утверждаем, что этот акт отталкивания был им осуществлен. Речь идет о совершенно объективной необходимости, действующей безотносительно к тому, чем осознает себя сам писатель: хранителем традиций или ниспровергателем традиций. Мы знаем заранее: Плутарх должен был как-то оттолкнуться от инерции своей эпохи и от инерции своего жанра, иначе — да иначе его просто не было бы. Но как уяснить себе динамику этого отталкивания? Очевидно, мы не сможем это сделать, если будем (как уже многие исследователи до нас) описывать творчество Плутарха, соотнося его только с самим собой и с вечными законами литературы. Мы не сможем это сделать, если будем (как большая часть исследователей до нас) соотносить Плутарха с его временем и с его жанром лишь в качестве «представителя» того и другого: представитель эпохи, представитель жанра. Остается один путь — попробовать сделать то, что применительно к Плутарху до сих пор никто не делал: наложить силуэт на фон и не спеша прослеживать контур, отделяющий его от фона. Такой задаче и посвящена книга. Не автору судить, справился ли он с задачей, но задачу стоило когда-нибудь поставить — в частности, именно потому, что Плутарх являет собой тип писателя, как нельзя более далекий от гениального бунтарства, от патетического новаторства. В его случае отталкивание от предшественников и современников должно было в наибольшей чистоте сохранить свой объективный, почти произвольный характер; оно нужно было Плутарху не для того, чтобы осуществить некую новаторскую программу, но попросту для того, чтобы осуществить себя.

Начнем с «соседства»: что отличает Плутарха от его современников, выделяет его среди них как творческую индивидуальность, как особый случай отношения к литературе? Известно, что его творчество вобрало в себя важнейшие черты того культурного движения I—II вв. н. э., кото-

рое принято называть «греческим Возрождением». Можно перечислить эти черты: повышенный интерес к моральной проблематике, религиозные искания, остающиеся в пределах традиционного язычества, культ эллинской старины и т. п. Можно показать, что черты эти присутствуют в сочинениях Плутарха, как это и было сделано в целом ряде работ, в том числе и советских². А можно начать спрашивать по-иному: морализм бывает разный, религиозность бывает разная — какую специфическую окраску имели они у Плутарха и чего именно искал он в чтимом прошлом Греции? Плутарх как представитель «греческого Возрождения» — давно уже не проблема; особое место Плутарха внутри того силового поля, которое называется «греческим Возрождением», — проблема, которая требует решения. До сих пор о сходстве между Плутархом и такими его сверстниками, как Дион Хрисостом, говорили гораздо больше, чем о различии между ними; лишь иногда можно встретить отрывочные и неаргументированные, хотя бы и меткие замечания на эту тему³. Неоспоримо, что Плутарх был моралистом, и столь же неоспоримо, что его эпоха в целом тяготела к морализму; но разве морализм Плутарха похож на морализм такого типичного моралиста, как Эпиктет? Здесь различие явно существеннее сходства. Автор книги все время подозревал, что Плутарху, может статься, как раз потому удалось так хорошо удовлетворить запросы своего времени, а затем с такой славой представлять свое время в веках, что стоял он в этом времени особняком, остерегаясь до конца отождествить себя с одним из модных течений. Это звучит как парадокс; но ведь все мы знаем, что иногда так бывает. Стоит проверить, не было ли с Плутархом по случайности именно так. Уже не совсем обычный для эпохи образ жизни этого писателя, проведенного почти весь свой век в родном херонейском захолустье, явно свидетельствует о желании установить определенную дистанцию между собой и литературным бытом больших городов. Спрашивается: для чего нужна была ему эта дистанция, как далеко заходило его писательское аутсайдерство и какую печать наложило оно на его худо-

жественную практику? Мне не удалось найти ни в одном из прочитанных мною исследований прямого ответа на эти вопросы; поэтому я попытался ответить на них сам. Или еще один вопрос: любому исследователю творчества Плутарха само собой ясно, что этот автор не может быть включен в общее понятие так называемой второй софистики; но еще никто не разъяснил по-настоящему: что, собственно, отделяет его от этого важнейшего литературного течения, праздновавшего свои первые триумфы как раз при его жизни и определившего собой лицо всей греческой прозы последующих десятилетий?

Итак, здесь много неясного — и мне хотелось сделать неясное ясным, не стесняясь слишком обстоятельно разъяснить то, что прежние исследователи, может быть, считали попросту само собой разумеющимся. Но в исследовании биографического труда Плутарха присутствует еще большая неясность, касающаяся личной писательской инициативы этого автора в рамках жанровой традиции. Биографии в изобилии писались и до Плутарха (к сожалению, тексты этих биографий почти полностью утрачены). Как относятся к ранним образцам жанра «Параллельные жизнеописания»? Еще в начале нашего века немецкой филологией был выработан молчаливо принятый и до сих пор никем по-настоящему не оспоренный постулат, согласно которому Плутарх послушно следовал какой-то группе своих жанровых предшественников — и этим его отношение к традиции будто бы исчерпывается. Вопрос ставился только так: какой именно из сложившихся типов биографии унаследовал и перенял Плутарх? Никто не задавался с достаточной обстоятельностью другим вопросом: не создал ли Плутарх свой собственный тип биографии, или по крайней мере не подверг ли он традиционную жанровую структуру радикальной реформе? И в этой плоскости литературных отношений Плутарха опять-таки принято рассматривать исключительно как «представителя» — представителя античной биографии в целом или хотя бы какой-то отдельной ее ветви. Это понятно: и личные черты Плутарха как мыслителя и писателя — сочетание гибкой восприимчивости

и переимчивости с известной робостью ума, и общая атмосфера его консервативной эпохи не способствовали тому, чтобы его писательское своеобразие приняло форму резкого и программно-осуществляемого новаторства. Это не значит, что Плутарх и впрямь повторял свои эллинистические образцы: если бы дело обстояло таким образом, эллинистические образцы не были бы вытеснены и отброшены в забвение той конкуренцией, которую им составил биографический труд Плутарха. Плутарх — «представитель» античной биографии постольку, поскольку он есть ее классик; но для того, чтобы быть классиком жанра, надо превзойти своих товарищей по жанру, а для того, чтобы их превзойти, надо от них хоть чем-нибудь отличаться. Классик жанра — это одна фигура; то, что можно было бы назвать среднеарифметическим представителем жанра — другая, совсем другая фигура. Для писателя невозможно совместить эти роли, хотя для литературоведа совсем нетрудно их перепутать. Любая хрестоматия предлагает в качестве проб и образчиков каждого жанра исключительно шедевры; но по формуле Гёте, «все совершенное в своем роде должно выйти за пределы своего рода». «Выдающееся» по самому смыслу слова *выдается*, выходит из ряда вон — «за пределы своего рода». Было бы пределом неблагодарности судить о среднем состоянии жанра романа до Толстого по «Войне и миру»; благодарно ли судить о среднем состоянии жанра биографии до Плутарха по «Параллельным жизнеописаниям»? Я не сравниваю писательского масштаба Плутарха и Толстого, я напоминаю об импликациях, заключенных в самом понятии «классик жанра». Если же мы от общих понятий обратимся к конкретному случаю Плутарха, снова и снова всплывает вопрос: положим, биографии Плутарха написаны совершенно так же, как биографии некоего эллинистического автора NN — но почему тогда случилось, что «Параллельные жизнеописания» остались в числе переписываемых и читаемых книг, а труды NN были заброшены? Приговор публики бывает несправедливым, но не бывает совершенно случайным. Огромный успех, доставшийся на долю биографичес-

кого сборника Плутарха уже во времена поздней античности⁴, сам по себе уже свидетельствует, что этот сборник ответил на важные и дотоле не удовлетворенные запросы эпохи. Читатель, еще имевший в руках сочинения эллинистических биографов, отделил от их массы «Параллельные жизнеописания». Не следует ли и нам сделать то же самое?

Вообще говоря, протестовать против отрицания писательской оригинальности Плутарха не совсем ново (ср. ниже введение к этой книге). Беда в том, что такие протесты либо вообще не шли дальше деклараций и благих пожеланий, либо, что еще хуже, реализовались в одном весьма неблагоразумном научном акте: Плутарха попросту изымали из его историко-литературной ситуации и выводили его творчество из общечеловеческого «здорового смысла», из неизменных законов биографического жанра, общих для Плутарха и для любого современного беллетриста-биографа вроде А. Моруа. Нужно ли говорить, что такой подход несколько не больше «Gattungsphilologie» старого типа пригоден для того, чтобы выяснить отношения между целым — греко-римской биографией и частью этого целого — «Параллельными жизнеописаниями»? Чтобы измерить движение, надо иметь точку отсчета; для определения литературной инициативы такой точкой отсчета является данность жанровой традиции.

Пока образ Плутарха не обособлен для нас от картины его эпохи и тем более от представлений о его жанре, это снижает ценность уже проделанных наблюдений над литературным обликом его биографического сборника. При констатации той или иной черты остается, как правило, невыясненным, о чем, собственно, идет речь:

о специфике авторских установок и приемов Плутарха?

о признаке какого-то определенного направления внутри античной биографии?

о неотъемлемой примете всего этого жанра в целом?

об извечной принадлежности всякого литературно оформленного «жизнеописания» во все времена и у всех народов?

Заметим, что если бы Плутарх безоговорочно следовал в своем биографическом творчестве давней и устоявшейся литературной инерции, ему не было бы ни малейшей надобности делать то, что он делает очень часто: обращаться к читателю с пространными разъяснениями относительно своих целей и приемов⁵. При этом особенно интересна очевидная полемическая окрашенность большинства таких авторских деклараций: в целом создается впечатление, что Плутарху важно в чем-то уговорить читателя. В чем, собственно? В том, что «можно и так» — что осуществляемая им комбинация жанра, материала и философско-моралистических интенций возможна и оправдана. Это голос автора, что-то сделавшего с привычной жанровой моделью, а не просто принявшего ее из рук предшественников.

Я жду недоуменного вопроса: «Соглашаемся, что сопоставить биографии Плутарха с биографиями до-Плутарха было бы куда как полезно; но осуществимо ли это? «Параллельные жизнеописания», слава богу, в наших руках, но вот эллинистические биографии — где они? Как сравнивать наличное с утраченным?» Тот, кто задаст этот вопрос, будет, конечно, прав: огромная биографическая литература эллинизма известна только по заглавиям и лишь отчасти по фрагментам, причем последние в подавляющем большинстве случаев настолько ничтожны, что дают право судить разве что о тематике сочинения, но никак не о его композиции или словесной ткани. И все же он будет не совсем прав: ибо две возможности хоть как-то сопоставить Плутарха с его жанровыми предшественниками все же существуют. Обе эти возможности, сколь бы они ни были ограничены, представляют для нас тем большую ценность, что других, по всей видимости, нет; и обе они до сих пор оставались неиспользованными. Одна из них состоит в том, чтобы перенести сравнение в плоскость тематики (подбора героев), где наши сведения об эллинистической биографии по необходимости максимально полны. Возьмем предельный случай, когда биографическое сочинение утрачено до последнего слова и о нем вообще ничего не известно, кроме того, что оно существовало; даже тогда

древнее свидетельство не может удостоверить его существование, не сообщив, чья это была биография, какому лицу она была посвящена. Поэтому вовсе не так уж невозможно с большой степенью достоверности выяснить, типичным или нетипичным представляется на общем фоне жанровой традиции осуществленный Плутархом подбор героев. Другой пункт для сопоставления «Параллельных жизнеописаний» с остальной биографической литературой античности дает то обстоятельство, что они «параллельны» (биография греческого героя каждый раз идет в паре с биографией римского героя, причем чета биографий обычно открывается и почти непременно завершается сравнением черт и судеб обоих героев). Достоверно известно, что «параллельное» построение сборника было самостоятельно изобретено Плутархом и впоследствии появлялось в греческой литературе лишь как несомненное подражание херонейскому биографу. Следовательно, здесь работа будет состоять в том, чтобы проследить на всех доступных нашему анализу греко-римских биографических циклах их структурные закономерности и затем выяснить, в какой мере эти закономерности совместимы или несовместимы с попарной группировкой; анализ должен также показать, имела ли такая группировка дальнейшие последствия для литературной формы плутарховских жизнеописаний, и если да, то какие именно.

Очевидно, что обе названные возможности не обещают никаких сенсационных переворотов во взгляде на Плутарха; дело может идти лишь о коррективах к традиционным представлениям о месте этого автора в истории античной литературы вообще и в истории античного биографического жанра в частности. Но коль скоро эти коррективы могут быть сделаны, они должны быть сделаны.

В соответствии со всем вышесказанным строится план книги.

Ее открывает вступление, излагающее историю изучения биографического творчества Плутарха от Ф. Лео до наших дней; в нем вкратце подводятся итоги уже проделанной мировым плутарховедением работы — с тем, чтобы в дальнейшем

к этому можно было не возвращаться, — но главное внимание и здесь сосредоточено на нерешенных задачах и неиспользованных возможностях.

В главе I речь идет о некоторых чертах общей практической и мировоззренческой позиции Плутарха-человека, причем черты эти отбираются для рассмотрения лишь постольку, поскольку они могут что-то объяснить в отношении Плутарха-писателя к литературе; уже этим определен довольно жесткий отбор материала, причем сюда присоединяется отбрасывание всех тех аспектов темы, которые могут считаться достаточно изученными. Отсюда ясно, что глава I ни в коем случае не притязает дать полную характеристику мировоззрения Плутарха (что и невозможно было бы сделать в пределах одной главы), но концентрирует внимание на ограниченном наборе моментов, особенно важных для последующего анализа. В центре оказывается проблема провинциализма и почвенничества Плутарха, т. е. отстраненности этого писателя от профессионализма литературной жизни (как и жизни философских школ) и его подчеркнутой приверженности к реалиям полисного и семейного быта. Иначе говоря, эта глава имеет своей целью выяснить, как Плутарх задумал и практически осуществлял свое бытие в качестве писателя, как вписывается его литературная деятельность в его личное и социальное существование. Каждый писатель решает для себя два различных вопроса: «как писать?» и «как быть писателем?» Прежде чем анализировать ответ Плутарха на первый вопрос, т. е. его творчество, целесообразно рассмотреть его ответ на второй вопрос, т. е. его «жизнь в литературе».

Глава II переходит от человеческой и общественной позиции Плутарха специально к его литературной позиции. Здесь вопрос стоит таким образом: как конституировало себя творчество Плутарха в той историко-литературной ситуации, когда грекоязычная проза переходила от гегемонии философского морализма эпиктетовского типа к так называемой второй софистике, столь характерной для эпохи Антонинов? Отношение Плутарха к риторической технике (прежде всего к технике описания и повествования) само по себе довольно слож-

но, как и его отношение к общественной позиции второй софистики; сложность усугубляется и тем, что, когда в его писательской работе происходит встреча философского морализма и беллетристической повествовательности, при этом неизменно присутствует на правах третьего и определяющего коэффициента плутарховское «почвенничество» — его особые гражданские и человеческие принципы, создающие для него возможность необычной для I—II вв. непринужденности как перед лицом школьной философии, так и перед лицом школьной риторики. Поэтому его подход к литературе заметно отличается не только от цеховой установки философского или софистического лагерей, но и от подхода Диона Хрисостома, знаменитого современника Плутарха, в творчестве которого тоже на свой лад примирены философия и беллетристика — но в совершенно ином, несравненно более «профессионалистском» варианте: Диону важно, чтобы то и другое было взято, так сказать, на уровне мировых стандартов, между тем как Плутарх оставляет место для некоторой домашней непринужденности, почти беззаботности. Рискнем сказать, что если у Диона морализм и риторика заключают между собой официальное соглашение, то у Плутарха они ходят по-домашнему и уживаются по-семейному. Конечно, сказать так — значит еще ровным счетом ничего не сказать; то, что намечено в этой метафоре, должно быть реально выяснено и обосновано в конкретном и систематическом анализе. Такому анализу и посвящен первый раздел главы. Но вопрос об отношении Плутарха к литературе незаметно переходит в другой вопрос — об общем типе плутарховской прозы; правда, этот последний вопрос в целом довольно много разрабатывался прежде и потому интересует нас лишь в своих отдельных, наименее выясненных аспектах (присутствие в структуре «Параллельных жизнеописаний» композиционных черт диатрибы, место плутарховских текстов в общей перспективе развития позднеантичной прозы). И самое главное — обнаруживается невозможность отнести «Параллельные жизнеописания» к какому-либо из двух типов греко-римской биографии, между которыми легко

распределяется вся остальная сумма известных нам памятников этого жанра. То обстоятельство, что каждая из плутарховских биографий — не риторическое «похвальное слово», но также и не биография-справка, даже не комбинация этих двух возможностей, но нечто третье, представляется в пределах античной литературы совершенно уникальным.

Наконец, подробному сопоставлению писательской инициативы Плутарха с жанровыми традициями греческой биографии посвящены обе последние главы. Сопоставление идет по двум намеченным выше линиям: тематика плутарховского биографического сборника и его «параллельная» структура.

Глава III имеет своей темой подбор героев: чтобы оценить, оригинален ли здесь Плутарх, и если да, то в какой мере и в каком направлении, необходимо реконструировать круг интересов утраченной биографической литературы эллинизма — как уже говорилось, едва ли не единственное, что нам дано достоверно знать об этой литературе, — и уже затем рассматривать на этом фоне круг интересов Плутарха-биографа. Но Плутарх-биограф — это тот же самый человек, который написал «Моралии»; и если существует возможность через сравнение с тематикой «Моралий» выявить связь между подбором героев плутарховских биографий и особыми пристрастиями их автора к отдельным проблемам этической и политической теории, надо попытаться это сделать.

Тема главы IV — попарная группировка биографий в плутарховском сборнике, ее содержательные предпосылки, ее формальные последствия. Какова структурная роль «синкрисиса» («сопоставления» двух героев)? Каким смысловым моментам он помогает выявиться? Что перестраивается во внутренней структуре отдельной биографии от того, что она не только включена в неопределенно обширный ряд цикла, но и специально сопряжена еще с одной биографией в пределах диады? Как обстоит дело с балансом «замкнутости» и «разомкнутости» ее литературной формы? В каких конструктивных отно-

шениях между собой находятся три уровня литературного целого: биография, пара биографий (обычно с общим заключением — «синкрисисом», порой с общим вступлением), наконец, совокупность всех пар? Задавая все эти вопросы, мы с разных сторон подходим все к той же проблеме писательской инициативы Плутарха, поскольку «параллельная» структура сборника, давшая сборнику его название, всецело порождена этой инициативой.

В основе такого плана лежит умысел — поступить с самим Плутархом по-плутарховски, применив к нему его собственное излюбленное средство характеристики: «синкрисис», описывающий предмет через сопоставление с другим предметом. Уже заглавие нашей книги — это заглавие «синкрисиса»: в нем поименованы два равноправно сопоставляемые предмета — Плутарх и вся прочая биографическая литература античности, классик жанра и жанровая инерция. Союз «и» звучит в таком заглавии не иначе, чем в заголовках попарно сопряженных Плутарховых биографий: «Тесей и Ромул», «Солон и Попликола», «Александр и Цезарь». Книга построена «параллельно» — в том смысле, в котором «параллельны» сами «Параллельные жизнеописания». Это не книга «о Плутархе», да и не книга «об античной биографии». Анализ идет все время в двух плоскостях: современники Плутарха, предшественники Плутарха — и отличный от них Плутарх. Четыре главы — четыре «синкрисиса». Пусть не будет оскорблением для великого мастера синкрисиса, что он сам стал объектом осмысленной игры, в которую сам играл так хорошо.

Работу замыкает заключение, вкратце подводщее итоги проделанного анализа.

Автор пользуется случаем, чтобы выразить глубокую благодарность памяти своего покойного учителя — профессора Сергея Ивановича Радцига, под руководством которого были начаты исследования, вошедшие в эту книгу.

¹ Прежде всего — фундаментальная монография К. Циглера (№ 177), подводящая итоги плутарховских штудий за последнее столетие и сочетающая скрупулезное

обоснование частных с умением видеть общее (при этом, однако, те вопросы, которые составляют тему нашей книги, почти не затронуты и у Циглера). После этого следует назвать посвященную Плутарху пятую главу общего труда по истории греческой биографии А. Диле (№ 189). См. ниже «Введение».

- ² Из отечественных работ следует отметить прежде всего статьи С. Я. Лурье (№ 90—92), в центре которых стоит именно вопрос о Плутархе как человеке своей эпохи, поставленный с большой резкостью и четкостью; удачна или неудачна попытка решить этот вопрос — другое дело. Из новых зарубежных исследований, кроме той же монографии Циглера, больше всего дают статьи Г. Мартина (№ 140) и М. Поленца (№ 149), из более старых — книга Р. Гирцеля (№ 124) и статья П. Гейгенюллера (№ 117).
- ³ Особенно изобилует такими замечаниями популярная статья о Плутархе У. фон Виламовица-Меллендорфа (№ 173): прославленный немецкий филолог не раз отмечает своеобразие херонейского биографа как по сравнению с прочей биографической литературой античности, так и по сравнению с современными ему авторами вроде Диона Хрисостома, — но, впрочем, наотрез отказывается не только обосновывать, но и конкретизировать свои соображения (что отчасти оправдано жанром статьи). Так или иначе, намеченные в этой статье проблемы до сих пор дожидаются своего позитивного решения.
- ⁴ Влияние Плутарха уже во II в. сказывается в творчестве Аппиана и Аминтиана; о Плутархе с почтением отзываются Апулей и Авл Геллий, причем последний часто его цитирует (см. № 177, стр. 947—948).
- ⁵ Достаточно назвать прежде всего известные вступления к «Александрю», «Кимону» и «Никию», но прежде всего — к «Эмилию Павлу». Эти и многие другие авторские декларации Плутарха служат для нас предметом особенно обстоятельного анализа, и для некоторых из них в этой книге предлагается новое толкование.

ВВЕДЕНИЕ

(К истории вопроса)

До начала нашего столетия вопрос о литературной специфике «Параллельных жизнеописаний» и об их месте в развитии жанра античной биографии еще не был осознан как самостоятельная проблема. Для подавляющего большинства филологов XIX в. биографический труд Плутарха был не литературным памятником, но почти исключительно «историческим источником» в самом узком значении этого слова (еще 1912 г. У. Виламовицу-Меллендорфу приходилось протестовать против односторонности такого подхода¹). В этом нет ничего странного. Насущная, первоочередная потребность в проверке исторических сообщений Плутарха; обостренное внимание старой филологии к источниковедческой проблематике; характерная для XIX в. недооценка поздних эпох античной литературы² — совокупность таких факторов создавала ситуацию, неблагоприятную для собственно литературоведческого анализа «Параллельных жизнеописаний». Не благоприятствовала изучению внутренних закономерностей творчества Плутарха и распространенная в немецкой филологии конца прошлого века «теория единого источника» (Einquellentheorie)³, рассматривавшая поздних авторов как своего рода подставных лиц, а их тексты — как простую сумму механических заимствований из сочинений их предшественников, раскрыть имена которых и есть настоящая задача науки. «Теория единого источника» весьма характерна для определенной эпохи в истории филологии; ее методологическими соответствиями были: в гомеровском вопросе — «теория малых песен», а в других областях филологии — охота за греческими литературными мотивами, будто бы механически воспроизведенными у тех или иных римских авторов. Примечательно, что единственная в своем роде работа о Плутархе, уже в 40-х годах

нашего века воскресившая все крайности «теории единого источника»⁴, принадлежала ученому, и в обсуждении гомеровского вопроса зарекомендовавшему себя в качестве антиунитариста старого закала⁵; методологическая последовательность такого научного поведения очевидна. Плутарху, в писательской работе которого компилирование и впрямь играло столь важную роль, понятным образом посчастливилось больше многих других, и во множестве работ, написанных в 60—90-е годы прошлого века, его сочинения усердно разлагались на гипотетические выписки из Эфора или Стесимброта, из Гермиппа или Дидима и из прочих авторов, чьи тексты до нас, увы, не дошли⁶. Умственные приемы таких попыток объяснить известное из неизвестного и наличное через утраченное были подчас весьма тонки, но выводы плохо поддавались верификации, а целостный образ объясняемого исчезал в самом процессе объяснения.

Реакция не заставила себя ждать. Уже к началу нашего века излишества «теории единого источника» обнаружили свою несостоятельность, попутно скомпрометировав на какое-то время ту сферу филологической работы, которая с ними ассоциировалась (что само по себе отнюдь не было разумно). Ругать исследования старого типа об источниках «Параллельных жизнеописаний» становится прямо-таки хорошим тоном⁷. Развитие новых методов литературоведческого анализа текстов заставляет видеть в Плутархе нечто большее, чем механического посредника между утраченными историческими источниками и современной исторической наукой. Эти новые методы, как известно, сложились по преимуществу на изучении поэтических и риторических (т. е. наиболее «художественных») жанров античной литературы; в 1901 г. они были применены известным немецким филологом Ф. Лео к античной биографии. Его исследование⁸ и положило почин попыткам объяснить место, занимаемое «Параллельными жизнеописаниями» в эволюционном ряду греко-римской биографической традиции.

Едва ли есть необходимость обстоятельно говорить о столь давней и столь известной книге Лео, составляющей достояние истории нашей нау-

ки. Но сказать о ней несколько слов все же придется — хотя бы потому, что она очень долго сохраняет значение исходной точки, от которой с постоянной оглядкой на нее чуть ли не по сие время отталкиваются новые исследования⁹. Если основная концепция Лео преодолена¹⁰, этого никак нельзя сказать о заданной им методологической инерции. Ибо Лео первым поставил вопрос: а когда вопрос однажды поставлен так, а не иначе, это в некотором смысле фатально — куда легче подыскивать к нему все новые и новые варианты ответа, чем попытаться найти другую, более рациональную его постановку.

Исследование Лео, хронологически стоящее на рубеже двух веков, и по своему характеру принадлежит как бы двум научным эпохам одновременно. В нем на редкость полно отложилось прошлое немецкой филологии за последнюю четверть XIX в.¹¹ с его импонирующей интеллектуальной энергией и с его опасной методологической самоуверенностью. Наиболее существенной ошибкой (как раз сказавшейся не только в ответе на вопрос, но уже в самой постановке вопроса) было то, что Лео приложил к биографии столь характерное для немецкого формализма его времени представление о жанре как некоем самосущем и замкнутом феномене, всегда равном себе, имманентные законы которого осуществляют себя как бы вне зависимости не только от авторской воли, но и от конкретных ситуаций литературного момента. Такой подход, разумеется, недостаточен уже сам по себе, ибо не улавливает оттенки, сообщаемые одной и той же форме жизненным контекстом историко-литературного развития.

Но дело даже не в этом. В таких областях античной литературы, как поэзия или риторически организованная проза, жанровые законы действительно были очень твердыми и жанр мог иметь обязательный для него метр, лексику и другие столь же четкие формальные приметы; но в применении к столь позднему и слабо конституированному «жанру», как биография, само понятие жанра, каким его мыслил Лео, оборачивается просто натяжкой. Имеем ли мы вообще право говорить о «биографическом жанре» в античной

литературе? Наверное, имеем — хотя бы потому, что сами древние авторы говорили применительно к биографии об особом «литературном роде», «genus scripturae» (Nepot. praef.; cf. Plut., Alex., 1)¹². Но мы не должны принимать это словосочетание слишком всерьез и давать ему нас гипнотизировать. Попытка отыскать непреложные законы и четкие границы подобного жанра обречена на неудачу. В самом деле, как возможно до конца отделить античную биографию, скажем, от биографически оформленного «похвального слова» — энкомия (вроде Исократова «Эвагора» или особенно Ксенофонта «Агесилая»? Поэтому попытка Лео дать стройную классификацию греко-римской биографической литературы на основе абсолютизированных формальных критериев (а именно, композиционных схем, якобы безусловно обязательных для той или иной жанровой разновидности¹³) не могла быть удачной. Здесь задача была не только решена неверно, но и поставлена неверно.

Заметим, что методологические основы литературоведческого анализа у Лео не так уж далеки от традиций «теории единого источника». При этом промежуточным звеном между старыми направлениями немецкой филологии и концепцией Лео послужила известная теория Эд. Мейера, высказанная за два года до выхода в свет книги Лео¹⁴. В соответствии с этой теорией, Плутарх по большей части получал сведения о своих героях уже в *биографическом оформлении*, так как эти герои со времен эллинизма якобы уже были привычным достоянием биографической традиции. Предположение Мейера плохо согласуется со многими фактами (на чем нам еще придется остановиться в главе III); однако оно отлично согласовалось с укоренившимися мыслительными привычками и потому получило большой резонанс в немецкой науке первой четверти нашего века¹⁵, оказав, в частности, глубокое влияние на исследовательские предпосылки Лео¹⁶. Это было вполне понятным. Присущее Лео направление мысли, при котором на первом месте оказывается не живое течение литературного процесса, но автономное бытие неизменных жанровых форм, весьма гармонировало с привычкой видеть в Плутархе

простого плагиатора своих предшественников. Теперь на место списываемых «источников» были подставлены якобы столь же механически воспроизводимые «образцы»; эта подстановка была облегчена тем, что уже Мейер связал проблему отношения Плутарха к своим источникам с проблемой истории жанра.

Классификация Лео усматривает в античной биографии всего две раз и навсегда выработанные формы: «перипатетическую» — «повествовательную» по своей структуре и «художественную» по своим установкам, и «александрийскую» — соответственно «описательную» и «научную» («повествовательная» биография рассказывает о жизни героя в хронологическом порядке, «описательная» характеризует его образ жизни в логическом порядке)¹⁷. «Перипатетическая» форма, по Лео, изначально применялась только к героям политической истории, «александрийская» — к героям культурной истории¹⁸; к «перипатетической» традиции подверстывается Плутарх, к «александрийской» — Светоний (который будто бы в порядке безмотивного жанрового экспериментаторства перенес эту форму на чуждый ей материал в «Жизнеописаниях двенадцати цезарей»)¹⁹.

Произвольный характер конструкций Лео становится особенно очевидным, если мы вспомним, что к моменту появления его книги наука не располагала ни одним образцом эллинистической биографии хотя бы в виде пространного фрагмента, объем которого позволял бы делать основательные заключения о литературных особенностях текста в целом — о его стилистике или тем паче композиции. Интересно, что когда в 1912 г. был опубликован довольно большой фрагмент принадлежащей эллинистическому ученому Сатиру биографии Еврипида²⁰, эта единственная в своем роде находка оказалась в полнейшем противоречии со схемой Лео²¹; биография литературного деятеля, которая, по Лео, обязана иметь «научный», деловой и сухой характер изложения, довольно претенциозна по стилю и оформлена как диалог (!).

И все же книга Лео принесла существенную пользу — уже тем одним, что после нее прежняя приблизительность и нечеткость в характеристике

жанровой природы «Параллельных жизнеописаний» стали морально невозможными (что, как всегда бывает в подобных случаях, отнюдь не помешало эпигонам работать по-старому²²).

В конце 20 — начале 30-х годов два немецких филолога — В. Уксулл-Гилленбанд²³ и А. Вайцзеккер²⁴ — поставили себе целью дальнейшее развитие методов Лео и критику его схемы: в центр своего внимания оба поставили одного и того же автора — Плутарха. При этом Уксулл подверг пересмотру концепцию Лео специально в ее ди-ахроническом аспекте (в том, что касается генезиса литературной формы «Параллельных жизнеописаний»), а Вайцзеккер — предложенную Лео характеристику внутренних законов этой формы. Такой пересмотр в некоторых отношениях оказался плодотворным. Главными пунктами полемики были: со стороны Уксулла-Гилленбанда — неожиданная констатация отсутствия биографий политических деятелей в эллинистической биографической литературе²⁵ (против гипотезы Лео о «перипатетических» жизнеописаниях государственных людей, которые Плутарху якобы оставалось только «парафразировать»); со стороны Вайцзеккера — указание на тот факт, что структура биографий Плутарха не может быть сведена к простой «повествовательности» в смысле чистого повременного изложения (как это без дальнейших оговорок делал Лео²⁶), но представляет собой гибкую и не укладывающуюся в единообразные схемы комбинацию тех двух элементов, которые Вайцзеккер называет «хронографическим» (динамика повременного рассказа) и «эйдологическим» (статика описания по рубрикам).

Нужно сказать несколько слов о терминах. Некоторые излишества терминологической изысканности, которые навлекли на Вайцзеккера немалые нарекания²⁷, были в основе своей связаны с оправданным стремлением этого исследователя как можно более четко разграничить категории *формы* и категории *материала*, которые смешиваются у Лео. В самом деле, последний все время отождествляет две антитезы, две пары понятий: «описательное» и «повествовательное» изложение (категории формы), с одной стороны; ἦθος, т. е.

«нрав», и πράξις, т. е. «деяния» героя (категории материала), — с другой стороны²⁸. Такое отождествление может на первый взгляд показаться вполне законным²⁹, коль скоро «нрав» обычно «описывается», а о «деяниях» «повествуется»; но на деле оно приводит Лео к недоразумениям относительно биографий Плутарха, в которых «нрав» (в отличие, например, от Светония) как раз не выделен в особую описательную рубрику или совокупность рубрик, но дается в самом изложении событий, «деяний». С другой стороны, Вайцеккер показывает, что в изложении «деяний» своих героев Плутарх далеко не всегда придерживается «хронографического» метода, но группирует события в удобном для него порядке, подчас игнорируя повременную последовательность³⁰.

И все же, несмотря на ряд бесполезных уточнений, Укскулл и Вайцеккер не смогли дать решение проблемы и убедительным образом характеризовать жанровую природу «Параллельных жизнеописаний». Методологические предпосылки Лео и его предшественников не были ими преодолены. Так, Укскулл, опровергнув гипотезу Лео, согласно которой биографии Плутарха могут быть полностью объяснены из традиций «перипатетической» биографии, сам при помощи столь же умозрительных построений сконструировал гипотетическую традицию Панетия и Посидония, из которой и выводил «Параллельные жизнеописания», еще раз объясняя известное через неизвестное. При этом он и не пытался связать биографические установки Плутарха с общественной, культурной и, наконец, литературной атмосферой его эпохи (если не считать рассуждений на тему о том, что декаданс биографии в эллинистическом мире был вызван отсутствием истинных «мужей», возрождение биографического жанра в I в. до н. э. явилось реакцией на появление таких «мужей» в лице римских политиков, а Плутарх работал уже по инерции, заданной этим появлением³¹). Специально источниковедческая часть работы Укскулла, несмотря на довольно агрессивные выпады против старой Quellenforschung, по сути дела не выходит из ее круга³². Но и Вайцеккер, несмотря на всю subtilность его формаль-

ного анализа, порой доходящую до настоящей филигранности, еще раз ищет единство литературной формы Плутарховых жизнеописаний не в чем ином, как в некоей единообразной композиционной схеме. Удостоверившись, что такой схемы нет как нет, он приходит к мысли, что нет и общих закономерностей, по которым строились бы биографии Плутарха; более того, он отождествляет по чисто внешним признакам построение некоторых биографий Плутарха со структурой биографий Светония³³, от которых они на деле очень далеки³⁴. Как и Лео, Вайцзеккер понимает под «литературной формой» не живую интонацию, органически связанную с содержанием произведения, но механическую композиционную схему³⁵. Никаких попыток перевести анализ на более высокий уровень конкретности, достичь большей гибкости, перейти от композиционного костяка к живой плоти повествования он не делает. В этом отношении очень характерно то, что при всех своих тончайших (нередко искусственных!) разграничениях «универсальной» и «периодической» «эйдологии», «эйдологизирования хронографии» и «хронографизирования эйдологии» он остается в пределах все той же антитезы повременного и тематического изложения, не замечая, например, как часто у Плутарха и логическая диспозиция, и хронологическая последовательность заменяются ассоциативными переходами от одной темы к другой (как я это попытаюсь показать во второй части главы II этой книги). Вайцзеккер и не подходит к конкретному анализу тех литературных приемов, при помощи которых поддерживается единая интонация непринужденного рассказа, проходящая, не прерываясь, через всю «пестроту» (τοιμλία) «Параллельных жизнеописаний» и придающая им внутреннюю цельность, живо ощущаемую читателем.

Для приемов Вайцзеккера (как и Лео) характерна неспособность найти связь не только между формой и содержанием, но и между отдельными уровнями формального анализа: в их исследованиях царит разрыв между скрупулезной регистрацией деталей (вроде употребления или неупотребления местоимений *his* или *obto* при-

нительно к герою биографии) и крайней приближенностью, которая возникает тогда, когда речь заходит о функциях этих деталей или о таких сторонах облика целого, которые хуже других поддаются механическому учету. Поражает расплывчатостью своих тезисов, например, глава XVI книги Лео; это же относится ко всем разделам работы Вайцзеккера, где ставится вопрос о месте античной биографии (и Плутарха в частности) в общей литературной эволюции.

При этом сам автор, Плутарх, который жил-задачами, интересами, вкусами своего времени, Плутарх — создатель не только биографий, но и «Моралий», остается почти полностью вне поля зрения обоих исследователей. Единственное исключение — рассуждения Вайцзеккера о дуализме моралистических и исторических интересов Плутарха³⁶; но и здесь либо повторяются избитые трюизмы, либо в угоду общим схемам исследователя делаются насильственные попытки отождествить этот «дуализм» с «полярностью» «эйдологии» и «хронографии» (между тем как совершенно очевидно, что морализм Плутарха подчиняет себе не только «эйдологические» характеристики, но прежде всего повествование, рассказ).

Отсюда — неутешительный вывод о неуловимости жанровой природы биографий Плутарха, в большой степени воспринятый поздними западными исследователями³⁷. Неудача Лео и Вайцзеккера тем показательнее, что их исследование — до сих пор наиболее значительная попытка строго систематически охарактеризовать литературный облик биографий Плутарха³⁸, выгодно отличающаяся от последующих работ серьезным стремлением к историко-литературной конкретности.

За пределами Германии направление немецкой филологии в работе над биографиями Плутарха не встретило сочувствия. Прямой реакцией на работы Лео, Уксулла и Вайцзеккера явилась вышедшая в Париже в 1934 г. книга Н.-И. Барбу³⁹. Румынский ученый резко критикует педантизм и узость своих немецких коллег, недооценку ими творческой личности херонейского биографа и т. д. К сожалению, место делового анализа у не-

го слишком часто заступают общие рассуждения об исконно греческом «любопытстве к тому сложному существу, которое называется человеком»⁴⁰, о «глубоком знании человеческой природы и трудностей исторического жанра» у Плутарха⁴¹; такие благозвучные сентенции едва ли могут что-нибудь разъяснить.

Как видно из последней цитаты, Барбу, вопреки собственным декларациям Плутарха (известные слова из вступления к «Александру»: «Мы пишем не историю, а жизнеописания»⁴²), видит в его биографиях «исторический жанр» в узком смысле этого слова. Отрицая моралистические установки «Параллельных жизнеописаний», Барбу настаивает на том, что в основе их лежит интерес к исторической истине ради нее самой⁴³. Из других исследователей право Плутарха именоваться «подлинным историком» (право, на которое сам херонейский биограф явно не претендовал!⁴⁴) с такой решительностью отстаивал только Р. Гирцель⁴⁵: у последнего это утверждение находится в связи с общей наивно-«энкомиастической» интонацией книги.

Самая сильная сторона работы Барбу — его полемика против реликтов «теории единого источника» (эта полемика встретила в свое время сочувственный отклик в советской науке⁴⁶). При этом один из главных аргументов исследователя — подчеркивание «широкой эрудиции» Плутарха; можно пожалеть о том, что Барбу никак не конкретизирует своего представления о пределах этой эрудиции. Важнее другое: полемизируя с Лео, который рисовал себе Плутарха, так резко порицавшего софистический культ слова⁴⁷, каким-то эстетом-стилистом, чей рабочий метод якобы состоял в «парафразировании»⁴⁸ составленных и «диспонируемых» его предшественниками сочинений, Барбу не смог избежать противоположной крайности, изобразив Плутарха историком, всецело поглощенным собиранием материала и равнодушным к внешней форме изложения.

Если для Лео объяснить форму «Параллельных жизнеописаний» означает подвергать Плутарха к определенной жанровой традиции, найти «ящик», в который можно его уложить, то для Бар-

бу (и это опять-таки объединяет его с Гирцелем) Плутарх существует исключительно «сам по себе», вне всяких историко-литературных реалий. Для Лео в творчестве Плутарха есть все, кроме писательской личности самого Плутарха; для Гирцеля и Барбу существует только сама эта личность, изолированная от литературного процесса. Направление Лео фетишизирует жанровые законы; направление Гирцеля и Барбу игнорирует их ⁴⁹.

Поэтому Барбу отклоняет всякие попытки связать оформление материала «Параллельных жизнеописаний» с историей античной биографии или объяснить это оформление из других фактов греческой литературы и литературной теории. Он настаивает на том, что структура биографий Плутарха «не изобретена и не унаследована — ее подсказали здравый смысл и природа вещей» ⁵⁰.

Такой тезис до некоторой степени оправдан как реакция на методы Лео и Вайцзеккера, которые зачастую выделяют в качестве особенностей определенной жанровой структуры такие частности, которые непосредственно вытекают из свойств самого материала. Известно, однако, что в различной историко-культурной и историко-литературной обстановке «здравый смысл и природа вещей» дают различные советы, и поэтому ссылка на этих «советчиков» никак не может решить проблему литературного облика биографий Плутарха.

Если для работ Лео — Вайцзеккера характерен отрыв истории литературы от общей истории культуры, то следующую ступень антиисторизма можно видеть в работах, где изучаемое явление изолируется не только от культурной, но в значительной степени также и от собственно литературной истории. Элементы такого подхода мы видели у Барбу; еще отчетливее и сознательнее он проявляется в работе принстонского профессора Д.-Р. Стюарта ⁵¹, на первых же страницах которой можно прочесть, что биография есть «личностная литература», выражающая «дух поминания» («spirit of commemoration»); поскольку же упомянутый «дух» был присущ грекам изначально, то историю биографического жанра надо начинать не с индивидуалистической эпохи Исократы и Ксенофонта, как это делалось до сих пор, но с Гомера —

коль скоро в поэмах последнего речь идет тоже «о жизни людей»! При всей неопределенности границ античного «биографического жанра», при всем значении, которое мог иметь для его конституирования опыт ранних, в том числе и поэтических, жанров греческой литературы⁵², зачислять по ведомству биографии все, что повествует «о жизни людей» (а что о ней не повествует?), — значит уходить от конкретной постановки историко-литературной проблемы.

Здесь не место подробно разбирать исследование Стюарта: интересующей нас темы — творчества Плутарха — оно не касается вовсе. Но его ориентация на психологизирующую модернизацию понятия «биографического жанра» заслуживает упоминания по своей характерности для определенного направления в зарубежном (особенно англосаксонском) литературоведении⁵³.

Среди советских работ предвоенного периода (статьи М. Дювернуа⁵⁴, Д. П. Каллистова⁵⁵, А. И. Доватура⁵⁶) следует отметить две статьи С. Я. Лурье⁵⁷, предпосланные русскому переводу «Избранных биографий» Плутарха и стремящиеся дать цельный облик Плутарха-биографа. Выгодные стороны характеристики Плутарха у Лурье — ее четкость, яркость и выразительность. Общие контуры набросаны верно (подчеркивается моралистический подход Плутарха к истории и в то же время его образованность и серьезный интерес к прошлому Греции; «портрет» Плутарха дан на фоне довольно обстоятельной картины социальной жизни греческих полисов под римским владычеством). В то же время автор, стремясь предельно заострить свои тезисы, нередко доходит до неправомерного смещения акцентов⁵⁸. Заведомо неверна заимствованная у немецких филологов интерпретация введения к «Никию» и II главы трактата «О любопытстве» (520)⁵⁹ как «выпадов против Фукидида»⁶⁰, между тем в сочетании с чрезвычайно односторонним и предвзятым пониманием другого сочинения Плутарха — «О злокозненности Геродота»⁶¹ — это приводит Лурье к тому, что он начинает приписывать херонейскому биографу какую-то фанатическую ненависть к объективной, деловой историографии⁶².

Для западной науки военного времени можно отметить статью П. фон дер Мюлля об «историзме» Плутарха. Интересная проблема (в каких пределах биография Солона сознательно учитывает особенности уклада жизни в описываемую эпоху) поставлена, к сожалению, совершенно неконструктивно. Швейцарский филолог не только не ищет, но прямо отрицает всякую связь между особенностями произведения и писательской индивидуальностью Плутарха, его мировоззрением, его эпохой и т. д.: всю биографию в целом он интерпретирует как совершенно механическую передачу текстов Гермиппа Перипатетика (конец III в.).

Для послевоенного периода необходимо прежде всего отметить монументальную монографию К. Циглера⁶³. Этот труд, автор которого отдал филологической работе над Плутархом почти всю свою жизнь⁶⁴, — систематическое суммирование итогов современной науки и наилучший «путеводитель» по частным вопросам биографии и творчества Плутарха. Правда, анализ «Параллельных жизнеописаний»⁶⁵ несколько отстывает на задний план сравнительно с блестящим разделом о жизни Плутарха⁶⁶ и разбором «Моралий»⁶⁷ (каждому трактату посвящена отдельная рубрика, часто немалых размеров, в то время как биографии рассмотрены в общем очерке).

Особый интерес представляет тщательная сводка и кропотливый анализ всех данных, проливающих свет на соотносительную хронологию «Параллельных жизнеописаний»⁶⁸. С вопросом о датировке биографий связана также необходимость объяснения так называемого перекрестного цитирования: например, в «Дионе» (гл. 58) есть ссылка на «Тимолеона», в «Тимолеоне» (гл. 13 и 33) — ссылки на «Диона»; так же обстоит дело с «Брутом» (9) и «Цезарем» (62 и 68). Этот вопрос вызвал в свое время полемику между И. Мевальдтом, предлагавшим принять такие ссылки за критерий датировки и допустить появление Плутарховых биографий не отдельными парами, но группами⁶⁹, и К. Штольцем, указавшим на несообразности этой гипотезы⁷⁰. К. Циглер дал едва ли не окончательное решение этой апории, указав на зыбкий статус всякого издаваемого текста в

эпохи, не знавшие книгопечатания, и привлекая в качестве поучительной аналогии авторские исправления в текстах Цицерона ⁷¹.

Характеризуя позицию Плутарха по отношению к своему материалу, Циглер с полным основанием подчеркивает (против Гирцеля и Барбу), что историком Плутарх не был и не стремился быть, но защищает его (против немецких исследователей конца XIX — начала XX в.) от обвинений в сознательной недобросовестности ⁷².

Циглером же подведена черта под полемикой о подлинности Плутарховых «синкрисисов». Как известно, в начале нашего века Р. Гирцель ⁷³ и другие специалисты предлагали их атетезу; после специального исследования Р. Штифенхофера ⁷⁴, замечаний Виламовица ⁷⁵ и Циглера ⁷⁶, опиравшегося на огромный опыт своей текстологической работы над сочинениями Плутарха, эта точка зрения уже не находит сторонников. Но если «синкрисисы» подлинны, встает вопрос об их смысле и месте в ряду *приемов характеристики* у Плутарха. В этом отношении Циглер стоит на традиционной точке зрения, рассматривая «сопоставления» как чисто искусственный продукт риторического влияния. Однако наше оценочное отношение к этой части «Параллельных жизнеописаний» не избавляет нас от обязанности разобраться в структурной роли этого приема, *исходя из установок самого Плутарха*. Возможности работы в этом направлении были убедительно показаны в недавней статье Г. Эрбсе ⁷⁷.

Вообще говоря, особо интересующей нас проблеме литературной формы Плутарховых биографий посвящен явно не самый удачный из разделов монографии К. Циглера ⁷⁸. Автор просто обнаруживает мало интереса к собственно литературоведческой проблематике. Нельзя не согласиться с призывом к изучению общей культурной обстановки, в которой сложился плутарховский стиль биографической характеристики ⁷⁹; но сам Циглер в этой связи ограничивается замечанием, что интерес к частной жизни человека был порожден политическими условиями эллинистической и римской эпох ⁸⁰.

в появившемся в послевоенные годы III томе своего курса истории греческой литературы Т. Синко⁸¹. К сожалению, характеристика «Параллельных жизнеописаний» у известного польского ученого страдает некоторой нечеткостью. Так, отдав дань общепринятому (и опирающемуся на слова самого Плутарха) тезису о принципиальном отличии биографического *genus*, каким мы его видим у херонейского биографа, от исторического жанра в строгом смысле этого слова⁸², Синко на следующей же странице солидаризируется с Р. Гирцелем, видевшим в Плутархе «истинного историка»⁸³. Литературоведческий подход к построению биографий Плутарха не вызывает у него никакого сочувствия, и он повторяет за Н. Барбу апелляцию к «здравому смыслу и сути вещей»⁸⁴, которые якобы не связаны ни с какими реалиями истории литературы.

Точка зрения на литературную форму биографий Плутарха как на величину, которой можно пренебречь, с особенной четкостью и сознательностью выступает в характерной для послевоенного периода западной филологии работе А. Диле⁸⁵. Тенденция к анализу памятников античной биографии не в литературоведческих, но в психологических категориях, которую мы видели у Д. Стюарта, после второй мировой войны проникает и в немецкую науку, где, однако, она приобретает менее антиисторичный характер, переключаясь в поиски связей между биографией и античной психологической теорией. Книга Диле — лучший тому пример.

Уже во вступлении Диле заявляет, что для какой бы то ни было литературоведческой работы над античными биографическими текстами имеются две непреодолимые помехи: отсутствие сведений об эллинистической биографии и неопределенность границ биографического жанра⁸⁶. По его мнению, следует сделать предметом исследования не биографию как литературный жанр, но *das Biographische*, или «внутреннюю историю биографии», — иначе говоря, историю этических и психологических интересов и воззрений классической древности, как они отразились в биографической литературе. На такое радикальное исключение всяко-

го литературного анализа можно было бы возразить многое. Ведь при всем нашем неведении о стилистике эллинистической биографии мы довольно хорошо знаем ее тематику⁸⁷; образцы биографического энкомия из самой эпохи зарождения жанра — «Эвагор» Исократы и «Агесилай» Ксенофонта — сохранились и дают основания для многих важных заключений; наконец, если не «биографический жанр» в целом, то биографическое творчество Плутарха несомненно имеет свои внутренние законы формы, которые поучительно было бы сопоставить с общими тенденциями развития греческой прозы. Однако главным и самым принципиальным возражением останется указание на то обстоятельство, что литературная форма — это не безразличная оболочка, но необходимый инструмент реализации содержания, органически связанный с последним; поэтому анализ содержания в отвлечении от литературного воплощения всегда теряет в конкретности.

Во всяком случае, в искусственно суженных границах своего анализа А. Диле все же сумел сделать много важных наблюдений. Центральная часть книги — подробный разбор системы психологических понятий и терминов в перипатетической этике⁸⁸. К этой главе примыкает обстоятельный анализ Плутарховой биографии Клеомена, направленный прежде всего на выявление в ней костяка перипатетически окрашенной «этологии»⁸⁹. Такой подход дает много интересных наблюдений, и притом не только из области истории психологии и этики; в частности, в несколько неожиданном свете предстает работа Плутарха над своими источниками — оказывается, что херонейский биограф, которого так много обвиняли в неразборчивом любопытстве и «болтливости», очень сознательно отбирал и перетасовывал анекдотический и апофтегматический материал⁹⁰. Эти выводы Диле были недавно подкреплены Т. Кэрни на примере «Мария»⁹¹ и Д. Расселом на примере «Кориолана»⁹². Анализ Диле позволяет яснее представить себе и композиционную структуру Плутархова жизнеописания, так что приходится только пожалеть, что «страх» перед литературоведческой проблематикой помешал исследователям

сделать последний шаг и наметить органическую связь между строем мысли и структурой изложения у Плутарха⁹³.

В основу работы Диле положено стремление рассматривать мышление Плутарха в реальных исторических категориях античной системы понятий. Такой историзм можно только приветствовать: но работа стала бы цельнее, если бы и литературная сторона биографий рассматривалась бы в сопоставлении с фактами античной литературной истории, а не современными понятиями о том, что есть «биографический жанр». Диле неоднократно⁹⁴ говорит о биографии как о целостном повествовании, охватывающем *Lebenslauf* героя как внутреннее единство и т. п.; это соответствует современным требованиям к биографии, но не применимо ни к Светонию, ни к Диогену Лаэртскому, ни к SNA.

Несмотря на все свои слабые стороны, Диле открывает для изучения античной биографии новые перспективы. Насколько плодотворным может быть использование достигнутых Диле результатов, хорошо видно на примере уже упоминавшейся статьи Г. Эрбсе⁹⁵.

К исследованию Диле тематически и методологически примыкает диссертация его ученика К. Бергена⁹⁶, построенная на сопоставлении приемов характеристики у Тацита (в изображении Тиберия) и у Плутарха. Берген вносит существенные коррективы в восходящую к И. Брунсу и сильно повлиявшую на Ф. Лео дихотомию «прямой» и «косвенной» характеристики в античной историографии; но в центре диссертации стоит многострадальный вопрос о способности или неспособности античной литературы — и прежде всего биографии — изображать перемены в человеческом характере. Как известно, противопоставление «статичности» античного и «динамичности» современного психологизма давно стало более или менее общим местом⁹⁷. Берген вслед за Диле⁹⁸ вносит уточнения: для античной психологической теории характер человека четко делился на φύσις («природу») и ἦθος («нравы») (соответственно *ingenium* и *mores*); ἦθος подвержены изменениям, и эти изменения подчас очень умело изобража-

ются, — но *physis* для античного человека неизменна⁹⁹.

Если Диле и Берген объясняют Плутарха из перипатетической психологической теории, то другая группа ученых пытается найти связь между ним (через его эллинистических предшественников) и перипатетической же теорией историографии. Такая попытка едва ли оправдывает себя. Напомним, что если перипатетическая психология известна нам из надежных источников (прежде всего из сочинений самого Аристотеля!), то взгляды на историю, приписываемые Теофрасту, приходится реконструировать по образу и подобию Аристотелевой теории трагедии. Гипотеза о перипатетической «трагической» историографии была создана (как нам уже приходилось говорить — см. примеч. 11) еще в конце прошлого века Эд. Шварццем; ее принимали Р. Рейтценштейн¹⁰⁰ и Ф. Якоби¹⁰¹. Едва ли, однако, она когда-нибудь обсуждалась так оживленно, как в последнее десятилетие. Это обсуждение было начато еще во время второй мировой войны статьей американца Б.-Л. Ульмана¹⁰², где «трагическая» историография возводилась не к перипатосу, а к школе Исократов¹⁰³. Наиболее энергичным защитником теории Эд. Шварца в ее первоначальном виде в настоящее время выступает К. фон Фритц; на промежуточных позициях стоят Дж. Джованини¹⁰⁴, Т. Африка¹⁰⁵ (попытка противопоставить «риторический» тип историографии «трагическому») и видный швейцарский специалист по перипатетической школе Фр. Верли¹⁰⁶.

Таким образом, «*adhuc sub iudice lis est*»; что же касается специально Плутарха, то представить себе, что он сколько-нибудь сознательно ориентировался в своем биографическом творчестве на принципы аристотелианской эстетики *трагедии*, тем труднее, что как раз слово *τραγῳδία* и все производные от него употребляются в его сочинениях (вполне в духе столь чтимого им Платона) только в порицательном смысле, как синоним лживой, аморальной, помрачающей разум импозантности и патетики; этому плутарховскому словоупотреблению специально посвящена статья П. де Ласи¹⁰⁷.

В совершенно ином направлении исследует методы античной историографии остроумная работа Кордулы Брутшер¹⁰⁸, построенная на источниковедческом анализе биографической традиции о Цезаре (по Светонию, Плутарху, Диону Кассию и Аппиану). Исследовательница ставит себе целью выяснить процесс конструирования представлений о различных (особенно ранних, т. е. наименее известных) периодах жизни Цезаря, исходя из конкретных политических ситуаций определенных моментов истории Рима; другая ее цель, более близкая специальным интересам плутарховедения, — раскрытие обработки сложившегося таким образом в предании материала у каждого из упомянутых авторов. Брутшер подчеркивает весьма стройную и сознательную организацию исторического материала в плутарховском изложении вокруг нескольких ведущих идей и в этой связи останавливается на композиционной технике Плутарха (стр. 124).

Статьи Г. Мартина¹⁰⁹ и Г.-И. Метте¹¹⁰ подходят к изучению мировоззрения Плутарха с лексикологическими методами. Мартин дает систематический разбор контекстов, в которых Плутарх употребляет слово *φιλανθρωπία* и производные от него, и смысловых оттенков этих словоупотреблений, останавливаясь на связи идеи «человеколюбия» с идеей греческой культурной традиции, как ее понимал Плутарх¹¹¹. Попутно Мартин касается проблемы переработки источников у Плутарха, убедительно обосновывая тезис о его достаточно далеко заходящей самостоятельности в пересказе и переосмыслении традиционного материала. Метте исследует историю понятия «великий человек» (*μέγας ἀνὴρ*) и его словесных вариантов, начиная с поздней классики (IV в. до н. э.), но в центре его работы стоят тексты Полибия и Плутарха.

Важное значение для интерпретации «Параллельных жизнеописаний» имеет политическое мировоззрение Плутарха: правильное его понимание может ориентировать исследователя, отыскивающего самостоятельное плутарховское истолкование заимствованного им материала. Правда, в последнее время Диле и вслед за ним Берген¹¹² настаивают на чисто «приватистском» подходе

Плутарха к своим героям и отрицают органическую связь между «Параллельными жизнеописаниями» и трактатами порядка «*Πολιτικά παραγγέλματα*», в свое время показанную (правда, лишь в самых общих чертах) Ф. Фокке¹¹³. Этой стороне идеологии Плутарха посвящает раздел в своем исследовании о политической жизни Греции под римским владычеством Г. Бенгстон¹¹⁴. Государственно-правовые взгляды Плутарха пытается выявить диссертация Г. Вебера¹¹⁵. К сожалению, эта работа — образец антиисторизма в его худшем варианте: проповеднический тон (автор хочет быть актуальным и поставить перед политической жизнью современности исправляющее зеркало в лице Плутарха), выпренный морализм, безудержная идеализация Плутарха и вообще эпохи Антонинов не оставляют места для серьезного делового анализа.

Осталось отметить две работы самого последнего времени. Диссертация Ф. Фюрнапа¹¹⁶ специально посвящена роли образных выражений (метафор, гипербол и т. п.) в словесной ткани произведений Плутарха. Существенного сдвига в литературоведческом изучении плутарховских текстов эта работа принести не может, хотя содержит ряд полезных наблюдений¹¹⁷. Монография Ф.-А. Стэдлера о «Подвигах женщин» стоит в ряду тех исследований последних десятилетий, которые убедительно показывают черты оригинальности и самостоятельности в осмыслении исторического материала у Плутарха¹¹⁸.

Подводя итоги, следует признать, что поиски нового, более широкого и гибкого подхода к изучению биографической техники Плутарха в общем уже оправдывают себя: наиболее убедительным примером такого нового подхода явилась работа А. Диле. В то же время очевидно, что множество проблем, связанных с литературной природой «Параллельных жизнеописаний», остаются открытыми.

Опыты Лео и Вайцзеккера привела к неудаче не тяга к точным критериям литературоведческого анализа, но узость методов, во многом определявшихся инерцией старой немецкой филологии: эта узость не до конца изжита и в работах круга

Диле — Бергена. Здесь следует указать, прежде всего, на недостаточное внимание к целостному облику автора, к его писательской своеобразности. Биографии Плутарха подверстываются к самым различным и достаточно гипотетическим традициям и образцам, но слишком мало сопоставляются с другими сочинениями «херонейского мудреца»; между тем систематический анализ как идеологического, так и литературного единства всего творчества Плутарха мог бы быть весьма плодотворным. Далее, «Параллельные жизнеописания» должны изучаться с учетом конкретной литературной ситуации эпохи Плутарха: их следует сопоставлять не только с тем, что было *до* них, но и с тем, что создавалось *рядом* с ними.

¹ № 283 нашей библиографии, стр. 243.

- ² Характерно, что еще в 1898 г. Г. Арним находил нужным предпосылать своей монографии о Дионе Христоме (№ 257, стр. 2—3) особые доводы в защиту своего выбора темы: «Мне возразят, что применительно к автору вроде Диона едва ли вообще можно говорить об индивидуальности. Разве к нему, как и ко всем авторам его эпохи, не относится общее положение, что он всегонавсегда раздувал старые уголья?» Сходные интонации чувствуются в некоторых местах известной книги Э. Роде о греческом романе (№ 238, стр. XV, 1, 3 и др.).
- ³ Генезис «теории единого источника» связывают с перенесением в сферу древней истории источниковедческих методов, выработанных школой Ранке на средневековом материале (особую роль сыграла работа ученика Ранке Г. Ниссена: *H. Nissen. Kritische Untersuchungen über die Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius*, Berlin, 1863). В русской науке «теория единого источника» не встретила сочувствия (в весьма умеренной форме она проявляется только в ранней работе М. Гершензона об Аристотеле и Плутархе — № 86). С обстоятельной критикой этой теории выступали В. Бузескул (№ 265, стр. 211 и 220—224), Нетушил (*Н. В. Нетушил. Краткое обозрение разработки римской истории*. Харьков, 1916, стр. 29—30) и Мандес (*М. И. Мандес. О филологическом методе изучения источников*. — *ФО*, XIV, 1898; *он же*. Опыт историко-критического комментария к греческой истории Диодора. Одесса, 1901).
- ⁴ П. фон дер Мюль (№ 145). О переходе на более умеренные позиции свидетельствует его более поздняя статья «*Direkte Benutzung des Ephoros und Theopomp bei Plutarch*» (*Mus. Helv.*, XI, 1954, S. 243 sq.).
- ⁵ Ср. его работы: «*Die Dichter der Odyssee*» (68. Jahrb. der Verb. Schweiz. Gymnasiallehrer, Aarau, 1940); «*Kritisches Hypomnema zur Ilias*» («*Schweiz. Beiträge der Altertumswiss.*, IV, Basel, 1952).

- ⁶ Плутарх наряду с Диодором был главным объектом применения методов «теории единого источника». Библиографию и подробное резюмирование источниковедческих работ этого периода можно найти в соответствующих разделах капитального труда Г. Бузольта (*G. Busolt. Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeronea. 2. Aufl. Bd. I—II, Gotha, 1893—1904*) и книги Р. Пёльмана (*R. Pöhlmann. Grundriss der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde*), 3. Aufl., München, 1906).
- ⁷ Резкие замечания по адресу таких исследований можно найти у Виламовица (№ 173, стр. 269), у Вайцеккера (№ 169, *passim*), у Барбу (№ 102, стр. 2, 5 и др.) и особенно у Уйскулла (№ 165, стр. 1—3).
- ⁸ № 200 и № 200^a. Критический обзор теорий Лео и его последователей есть у К. К. Зельина (№ 217, стр. 76—77).
- ⁹ В зарубежной (и не только немецкой!) филологии стало традицией открывать исследования, посвященные античной биографии в целом или отдельным ее представителям, разделом, в котором автор выясняет свою позицию по отношению к книге Лео. Из послевоенных работ это можно видеть, например, у А. Диле (№ 189, введение); геттингенский профессор, резко критикуя основную концепцию Лео, подчеркивает актуальность, которую проблематика Лео сохраняет до сих пор (книга писалась в 1956 г.).
- ¹⁰ Впрочем, и теперь приходится встречать попытки канонизировать концепцию Лео. К этому близок, например, К. фон Фритц в своей рецензии на указ. соч. Диле (№ 189^a, стр. 326). От этого не совсем далек даже К. Циглер (№ 177, стр. 908.)
- ¹¹ Наиболее очевидную роль при зарождении концепции Лео сыграли: попытка реконструкции «перипатетического» направления эллинистической историографии у Эд. Швартца (№ 240 и др.); категории «объективной» и «субъективной» характеристики персонажа в античной историографии, выдвинутые И. Брунсом (№ 225); наконец, теория Эд. Мейера о биографических источниках Плутарха, о которой см. ниже. В качестве коррелята к «перипатетической» историографии у Лео появляется сконструированное по той же модели понятие «перипатетической» биографии, а «объективный» и «субъективный» принципы Брунса превращаются соответственно в «повествовательность» (пример — Плутарх) и «описательность» (пример — Светоний).
- ¹² Поэтому неравномерно производимое иногда уподобление жанрового статуса античной биографии и античной автобиографии (ср. Диле, № 189, введение): первая была для античного человека «жанром» и имела терминологические обозначения (*βίος, vita*), вторая распадалась на различные *genera* (см. перечисление их у Г. Миша, № 234, *Einleitung*).
- ¹³ Сам Лео в процессе конкретного анализа был принужден сделать оговорки, по сути дела отменяющие его схему; гл. 8 и др.

- ¹⁴ № 205 (особенно гл. 5).
- ¹⁵ См. обзор А. Гаузера (№ 8) и замечания Лурье (№ 91, стр. 10). В России к концепции Мейера одобрительно отнесся (несмотря на свою враждебность «теории единого источника») Бузескул (№ 265, стр. 223).
- ¹⁶ Лео сам признает это влияние (стр. 154 и примеч.).
- ¹⁷ Стр. 178—180.
- ¹⁸ Там же и стр. 15—16.
- ¹⁹ Стр. 16.
- ²⁰ № 46; ср. статью Лео (№ 201) и монографию Куманецкого (№ 198).
- ²¹ Ср. замечания А. Диле (№ 189, стр. 104 сл.).
- ²² Для примера назовем диссертацию К. Балмуса (№ 103), появившуюся через четверть века после книги Лео. Более сложный случай — известная монография Р. Гирцеля (№ 125), о которой еще придется говорить в связи с работой Н. Барбу: у Гирцеля полное игнорирование опыта — и положительного, и отрицательного — таких исследований, как труд Лео, обусловлено отчасти научной позицией автора, отчасти популярным характером книги.
- ²³ № 165.
- ²⁴ № 169.
- ²⁵ Стр. 91 сл.
- ²⁶ № 200 *passim* (напр., стр. 179, 183, 184, 187 и др.).
- ²⁷ Напр., со стороны К. Циглера (№ 177, стр. 908) и К. К. Зельина (№ 217, стр. 76—77).
- ²⁸ № 200, стр. 184—190 и др.
- ²⁹ Эту ошибку повторяет Циглер (№ 177, стр. 908), при этом утверждая, что таково словоупотребление «самого Плутарха», с которым, следовательно, и «спорит» Вайцзеккер. Ирония Циглера попадала бы в цель, если бы Плутарх в какой-либо из своих «авторских деклараций» задался целью охарактеризовать структурные элементы собственного изложения и при этом прибегал бы к упомянутым терминам. Насколько нам известно, такого места у Плутарха нет: везде, где он употребляет слова ἥθος и πράξις, он говорит о разделах *тематики* и только о них (напр., «Кимон», 2; «Никий», 2; «Демосфен», 11; «Помпей», 8; «Александр», 1; «Катон Младший», 37). Против утверждения Циглера говорит еще одно обстоятельство. Когда другой представитель античной биографии — Светоний — пытается сделать то, чего Плутарх нигде не делает, а именно, охарактеризовать свои *методы оформления материала*, он не пользуется латинскими коррелятами слов ἥθος и πράξις (т. е. «mores» и «res gestae»), но говорит о порядке «per species» и «per tempora», что как раз соответствует «эйдологии» и «хронографии» Вайцзеккера. Вот это место (Div. Aug. 9): «Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь теперь на подробностях, но не в последовательности времени (per tempora), а в последовательности предметов (per species)» (пер. М. Л. Гаспарова) Cf. Div. Iul., 44: «Ea quae ad formam et habitum et cultum et mores... eius... pertineant non alienum erit summatim exponere».

Точный греческий коррелят термина «summatim» — *κεφαλαιωδῶς*. Таким образом, замечание Циглера (к которому присоединяется и Зельин, № 217, стр. 77) неточно и с точки зрения античной теории биографического жанра.

³⁰ № 169, стр. 3.

³¹ № 165, стр. 91 сл.

³² Характерен отзыв Уксулла о методах Эд. Мейера (стр. 2 сл.).

³³ Стр. 68 (речь идет о «Ликурге» и «Нуме»). См. также вторую часть гл. II этой книги.

³⁴ В свое время Лео убедительно показал коренную разницу между плутарховским и светониевским стилем биографизма (№ 200, стр. 178—192, 320 и др.). Детали того «синкрисиса» обоих биографов, который лежит в основе книги Лео, были в разное время подвергнуты серьезной критике, но основной вывод о противоположности двух типов биографии едва ли может быть поколеблен. О соотношении подхода Плутарха к изображаемой личности с подходом Светония речь идет во многих разделах настоящей работы; ср. также удачные замечания М. Л. Гаспарова (№ 180, стр. 267—268).

³⁵ Когда Барбу (№ 102, стр. 6) без всяких оговорок отождествляет «форму» биографии с ее композиционной структурой, он только дает выражение *usus* у, закрепившемуся в немецкой филологии со времен Лео.

³⁶ № 169, стр. 3.

³⁷ Стр. 68; ср. сходные мотивы у Циглера (№ 177, стр. 909) и особенно у А. Диле (№ 189, стр. 7—12).

³⁸ К сожалению, мы не можем судить о французской диссертации Жирара (*H.-G. Girard. Essai sur la composition des Vies de Plutarque. Paris, 1945*), которая осталась для нас недоступной. Во всяком случае, заметного резонанса она не получила: так, Циглер (№ 177) не уделяет ей ни единого слова, хотя и знает ее (стр. 908). Упомянутая выше (примеч. 22) работа Балмуса по своей примитивной описательности и методологической неопределенности не идет ни в какое сравнение с исследованиями Вайцзеккера или тем более Лео.

³⁹ № 104.

⁴⁰ Стр. 235.

⁴¹ Стр. 242.

⁴² «Александр», 1: οὐτε γὰρ ἱστορίας γράφμεν, ἀλλὰ βίους («ведь мы пишем не историю, но жизнеописания»). Ср. Барбу, стр. 37.

⁴³ Стр. 36—39. Единственным доказательством должно служить известное место из прооимия к паре Кимон — Лукулл («Кимон», 2). Смысл этого места таков: даже при сознательной идеализации (которая для Плутарха само собой разумеется!) следует сохранять известное уважение к истине — подобно тому, как живописец загушевывает недостатки привлекаемого лица, но все-таки передает их, чтобы не погубить сходства. Это рассуждение доказывает только то, что Плутарх был умным и тонким писателем: видеть здесь декларацию «подлинного историзма» — непостижимая аберра-

ция. В другом месте (стр. 242) Барбу заявляет, что Плутарх «не был моралистом». Доказательство: Плутарх говорит не только о добродетелях, но и пороках своих героев. Абсурдность такой аргументации, основанной на крайней вульгаризации понятия «моралист», очевидна.

⁴⁴ Ср. справедливые замечания Циглера (№ 177, стр. 910 и примечание к ней).

⁴⁵ № 127, стр. 47—173. Суждение Гирцеля носит чисто «оценочный» и совершенно неделовой характер. Аргументация следующая: Плутарх искренне любил и глубоко чувствовал прошлое Греции, следовательно, он был «истинным» историком. По-видимому, некоторая идеализация «историзма» Плутарха содержится и в новой работе: *C. Theander. Plutarch und die Geschichte.* — «*Bullet. Soc. des Lettres de Lund*», 1915, известной нам только по рецензиям.

⁴⁶ Со стороны Я. С. Лурье (№ 91, стр. 11).

⁴⁷ Напр., «О слушании», гл. 7—9; «О преуспеянии в добродетели», гл. 7, 78 E — 79 B; «Наставления государственному мужу», гл. 5—9. Разбор этих «антириторических» высказываний Плутарха дается в главе II настоящей работы.

⁴⁸ № 200, стр. 176—177 и др.

⁴⁹ Сказанное относится только к установкам монографии Гирцеля о Плутархе (№ 125): в его исследовании об античном диалоге (№ 124), где более сотни страниц (124—237) посвящены сочинениям Плутарха, сама тема диктовала более деловой подход.

⁵⁰ № 102, стр. 6.

⁵¹ № 212.

⁵² Ср не пр., старую работу И.-К. Аммана (№ 184) о значении для генезиса греческой биографии эпитафий. Несомненно, важной моделью для складывающегося жанра послужили и эпические поэмы, представляющие всю жизнь героя, от рождения до смерти, — те «Гераклиды» и «Тесеиды», структуру которых порицает Аристотель в 8-й главе «Поэтики» (1451 A).

⁵³ Назовем работы И. Ромейна (№ 208), Дж. Гэррети (№ 193), Э. Людвига (№ 202), Л. Иделя (№ 190), И. Клиффорда (№ 187). В этой сфере научной и популярной литературы рассмотрение памятников самых различных эпох (в том числе и классической древности) с ориентацией на практику современного западного биографизма — регулярный, почти обязательный методологический принцип. Приведем еще несколько примеров. Э. Людвиг во введении к своей биографии Гёте («*Goethe. Geschichte eines Menschen*») заявляет, что будет говорить о своем герое «в духе Плутарха»; затем он привираивает последнего к классикам индивидуалистической историографии XIX в. — Карлейлю, Гану и т. п. (цитировано по обзору Ф. Бокка, № 7, стр. 260). Э. Людвиг — беллетрист; но вот серьезный филолог В.-Г. Александер (№ 221) уже в наши дни настойчиво пытается перевести Тацита на одну плоскость с Литтоном Стречи. Справедливости ради надо сказать, что

иногда такой подход может дать свежую, неожиданную точку зрения (напр., у того же Гэррети); но в целом он способствует самому наивному антиисторизму.

- ⁵⁴ № 87.
- ⁵⁵ № 89.
- ⁵⁶ А. И. Доватур. К вопросу о влиянии стихотворений Солона на историческую традицию (Аристотель. Афинская полиция. Плутарх. Жизнь Солона, 13).— В кн.: «Сборник статей в честь С. А. Жебелева». [Б.м.], 1926, стр. 347—351.
- ⁵⁷ № 91 и 92.
- ⁵⁸ Характерна преувеличенно напряженная, пестрящая экспрессивно-оценочными эпитетами лексика статей (особенно первой). Приходится пожалеть о том, что этот возбужденный тон оказывает деформирующее воздействие и на включенные в статью переводы подлинных текстов: так, эмоционально нейтральное выражение Плиния Младшего «residuum libertatis» передано как «уцелевший *остаточек* свободы» (стр. 8; затем это выражение цитируется еще несколько раз). Отсутствующая в подлиннике патетика внесена также в перевод большого пассажа из 17 и 18-й глав «Наставлений государственному мужу» самого Плутарха (стр. 8—9). Это ведет к тому, что Плутархово восприятие проблематики эпохи (римское владычество и т. п.) приобретает в изображении Лурье несвойственные ему трагические краски. С этим связано и то, что говорит автор о «греческих революционерах» эпохи Плутарха (стр. 13).
- ⁵⁹ Эта интерпретация, приведенная, напр., у Криста — Шмида (№ 269, стр. 271 и примеч.), исчерпывающе опровергнута К. Циглером (№ 177, примеч. к стр. 910).
- ⁶⁰ Стр. 13—14. «Замаскированный выпад против Фукидида» Лурье усматривает и в прооймии к «Периклу». Нашу интерпретацию этих «авторских деклараций» Плутарха см. в главе III настоящей работы.
- ⁶¹ Стр. 13. Эту же антитезу Геродота и Плутарха Лурье развивает в своей монографии о Геродоте (С. Я. Лурье. Геродот. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947, стр. 4—5, 32 сл. и др.).
- ⁶² Стр. 9: «...Всякое искание подлинной исторической действительности... должно представляться ему настоящим кощунством».
- ⁶³ № 177.
- ⁶⁴ Помимо эдиционной работы, продолжающейся и по сей день (№ 18, 21 и 24) и отдельных исследований (№ 179), Циглер опубликовал с 1908 по 1938 г. грандиозный цикл статей по текстологии и герменевтике сочинений Плутарха (№ 178). Наконец, им был выполнен полный перевод «Параллельных жизнеописаний» на немецкий язык (*Plutarch. Grosse Griechen und Römer, eingeleitet und übersetzt von K. Ziegler, Bd. I—VI. Stuttgart. — Zürich, 1954*).
- ⁶⁵ Стр. 895—914.
- ⁶⁶ Стр. 639—696. Рецензенты особо отмечали обстоятельный алфавитный перечень друзей и знакомых Плутарха на стр. 669—694.

- ⁶⁷ Стр. 708—895.
- ⁶⁸ Стр. 899—903.
- ⁶⁹ № 141.
- ⁷⁰ № 163.
- ⁷¹ Стр. 901—902.
- ⁷² Стр. 910 и примеч. Ср. наше примеч. 59.
- ⁷³ № 125, стр. 71—73.
- ⁷⁴ № 162.
- ⁷⁵ № 173, стр. 260—262.
- ⁷⁶ № 177, стр. 909; ср. также № 281, стр. 241.
- ⁷⁷ № 112.
- ⁷⁸ Стр. 905—910.
- ⁷⁹ Стр. 909.
- ⁸⁰ Стр. 909—910.
- ⁸¹ № 281.
- ⁸² Стр. 242.
- ⁸³ Стр. 243, ср. выше примеч. 45.
- ⁸⁴ Там же.
- ⁸⁵ № 189.
- ⁸⁶ Диле ссылается на пример Г. Миша, который в своем известном труде по истории автобиографии (№ 234) должен был считаться с пестротой жанровых форм, в которых реализовала себя античная историография. Однако жанровый статус античной биографии и античной автобиографии не идентичен — хотя бы потому, что для первого понятия у древних было слово, для второго — не было. См. выше примеч. 12 и замечания Г. Герстингера (№ 194, стр. 386).
- ⁸⁷ См. главу III настоящей работы.
- ⁸⁸ Стр. 57—87.
- ⁸⁹ Стр. 88—103. Диле с полным основанием приходит к выводу, что над плутарховской биографией «господствует представление о единстве жизненного пути человека» (стр. 102); но он заблуждается, видя в этом норму для античной биографии (см. главу II настоящей работы).
- ⁹⁰ Стр. 96 и др.
- ⁹¹ № 108.
- ⁹² № 152.
- ⁹³ Стр. 92—101, особенно стр. 96—100.
- ⁹⁴ Стр. 35, 102 и др.
- ⁹⁵ № 112, стр. 420—424 (Г. Эрбсе намечает связь между системой понятий перипатетической этики и техникой «синкрисиса» у Плутарха, попутно показывая его полную противоположность Непоту, который для Лео — № 200, стр. 193—218 — был как раз римским представителем того же «перипатетического» типа биографии, что и Плутарх).
- ⁹⁶ № 106.
- ⁹⁷ Доказательству тезиса об абсолютной статичности характера в античной историографии специально посвящена работа В.-Г. Александра (№ 221). Ср. в советской литературе у И. М. Троянского (№ 267, стр. 244): «Личность, прежде всего, понималась статически, как некий законченный в себе «характер»... Антич-

- ность... никогда не изображает процесса становления личности...»
- ⁹⁸ № 200, стр. 57—87 *passim* (преимущественно к концу раздела).
- ⁹⁹ № 106, стр. 91. Удачные наблюдения над изображением изменяющихся характеров у древних авторов содержит глава IV труда П. Кириа (№ 231; специально на материале биографий Плутарха — стр. 111—112).
- ¹⁰⁰ № 237.
- ¹⁰¹ № 63, т. II, стр. 116—117, 134 и др.
- ¹⁰² *B.-L. Ullman. History and tragedy.*—«Transactions of the American Philol. Association», XXXIII, 1942.
- ¹⁰³ Цицерон (*De orat.*, II, 13, 57—58) особо подчеркивает, что такие столпы историографии, как Феопомп и Эфор, вышли «*ex clarissima quasi rhetorum officina*» — из школы Исократа, хотя не забывает указать и на Каллисфена — ученика Аристотеля.
- ¹⁰⁴ № 230.
- ¹⁰⁵ № 220.
- ¹⁰⁶ № 243; ср. его же вступительные статьи и комментарий в многотомном издании фрагментов перипатетиков (№ 68).
- ¹⁰⁷ № 136.
- ¹⁰⁸ № 186.
- ¹⁰⁹ № 140.
- ¹¹⁰ *H.-J. Mette. Der «grosse Mensch»*, H. 89 (1961), Heft 3.
- ¹¹¹ Для понимания мотива *φιλανθρωπία* у Плутарха может быть полезной блестяще написанная статья Кереньи: *K. Kerényi. Humanismus und Hellenismus.*—«*Apollon. Studien über antike Religion und Humanität*». Düsseldorf, 1953, S. 232—252.
- ¹¹² № 189, стр. 97; № 108, стр. 56.
- ¹¹³ № 114.
- ¹¹⁴ № 258.
- ¹¹⁵ № 167.
- ¹¹⁶ № 116.
- ¹¹⁷ В частности, Фюрнани отмечает то значение, которое имеет для композиционной техники Плутарха свободная ассоциация идей (ср. последний раздел главы II настоящей работы).
- ¹¹⁸ № 161.

ГЛАВА I

ОБЩИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПЛУТАРХА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЖИЗНЕОТНОШЕНИЕ

Для того чтобы уяснить себе писательскую позицию того или иного автора, необходимо иметь в виду его жизненную позицию. Это общее положение, но оно получает особую важность применительно к Плутарху. Для него характерно постоянное стремление как можно теснее переплести свою литературную деятельность со своей жизнью — вплоть до самых частных сторон последней. Плутарх любил свою биографию и охотно вводил изображение ее эпизодов в свои сочинения — даже в «Параллельные жизнеописания», тематика которых, казалось бы, не оставляет для этого места¹. В его диалогах постоянные действующие лица — его дед Ламприй, его отец Автобул, его братья Ламприй и Тимон, его сын Автобул, его интимные друзья Филин, Соклар, Сарапион и др.² Эта черта творчества Плутарха, как мы увидим, не может быть отнесена только за счет его душевного склада; мы встречаемся здесь с сознательной линией поведения. Плутарх последовательно культивировал определенный образ жизни; его литературная деятельность в его собственных глазах представляла собой нечто относительно второстепенное и непременно равнялась на этот образ жизни. Еще для поэта VI в. Агафия Схоластика «жизнь» Плутарха есть некоторая самостоятельная ценность, независимая от его творчества: упомянув в одной из своих эпиграмм (*Anthol. Palat.*, XVI, 31) о «Параллельных жизнеописаниях», Агафий замечает, что к своей собственной жизни Плутарх не сумел бы приискать «параллельную», ибо она единственна в своем роде³. Еще в памяти современников Юстиниана Плутарх был человеком, достойным упоминания не только за то, как он писал, но и за то, как он жил.

Разумеется, систематический анализ всех данных о биографии Плутарха в рамках настоящей работы невозможен. Здесь придется ограничиться указанием лишь на те важнейшие моменты общей картины его жизни, без которых нельзя понять его творчество.

1. В р е м я ж и з н и. Годы рождения и смерти Плутарха неизвестны. Вероятнее всего, что родился он в 40-е годы⁴. Юношей, в самый разгар своих философских и математических занятий под руководством Аммония, он пережил посещение Греции Нероном и иллюзорное «освобождение» провинции (см. «Об «Е» в Дельфах», гл. I, р. 385 В); как известно, это имело место в 66—67 гг.⁵ Воспоминание об этом Плутарх сохранил на всю жизнь; в своем эсхатологическом диалоге «О том, почему божество медлит с воздаянием» (гл. 32) он заставляет судей загробного мира смягчить причитающиеся Нерону кары за проявленный им филэллизм⁶. Быстрое крушение этой иллюзии послужило для поколения Плутарха суровым уроком, который, без сомнения, был хорошо усвоен. Рим Плутарх видел дважды: в конце 70 и в начале 90-х годов⁷. Во время его первого посещения еще жива была память об ужасах гражданской войны 68—69 гг., когда друг Плутарха Местрий Флор своими глазами видел в Бедриаке трупы, наваленные грудой вровень с кровлей храма («Отон», гл. 14); с тем большим удовлетворением Плутарх должен был воспринимать установившееся при Флавиях спокойствие⁸. Вторично посетив столицу империи, он мог наблюдать режим Домициана. Правда, ему не пришлось хотя бы отдаленно пережить нечто подобное тому, что испытал его современник Дион из Прусы. Без сомнения, Плутарх с меньшим увлечением вмешивался в столичные дела; хочется отнести за счет опыта, почерпнутого в домициановском Риме, его замечание относительно опасности слишком многочисленных дружеских связей («О том, хорошо ли иметь много друзей», гл. 6). Имя Домициана Плутарх упоминает с враждебной, хотя довольно спокойной интонацией («Попликола», гл. 15).

Как бы то ни было, впечатления эпохи Флавиев и тем более воспоминания о более ранних временах

(вплоть до тяжелой поры гражданских смут I в. до н. э., известной Плутарху по семейным преданиям — см. «Антоний», гл. 68, 7) были гораздо менее утешительными, чем те надежды, которые мог внушить человеку склада Плутарха первый период правления Антонинов. На эпоху Антонинов приходится не меньше четверти века жизни Плутарха.

Когда Плутарх родился, Греция не только переживала тяжелую экономическую и культурную разруху, но и находилась в состоянии глубочайшего унижения. Когда он умирал, на престоле империи находился филэллин Адриан, провозгласивший широкую официальную программу возрождения эллинизма, и все обещало большие перемены, в положении греков (по крайней мере, состоятельной и образованной их части)⁹. Во времена юности Плутарха был бы совершенно немыслим такой эпизод, разыгравшийся примерно через десятилетие после его смерти и рассказанный Филостратом («Жизнеописания софистов», кн. I, гл. 25, 7): когда римский проконсул остановился в доме ритора Полемона, последний в сознании своего эллинского величия осмелился вышвырнуть высокого гостя за дверь¹⁰. За время жизни Плутарха сильно изменилось к лучшему (по крайней мере, внешне) и состояние греческой литературы. Непосредственно предшествующие ему поколения грекоязычных писателей не создали почти ничего заслуживающего внимания, если не считать иудеев Филона и Иосифа Флавия (о которых Плутарх ничего не хотел знать¹¹); литературная жизнь греческого мира почти замирает. Но уже поколение Плутарха выдвигает наряду с ним такую фигуру, как Дион Хрисостом; младшим современником «херонейского мудреца» был лично с ним знакомый философствующий литератор-софист Фаворин, и в это же время выступают первые представители так называемой второй софистики в ее чистом виде (Лоллиан, Антоний Полемон, Скепелиан).

При жизни Плутарха родились Арриан и Аппиан (оба ок. 95 г.), в непосредственной близости к дате его кончины — Элий Аристид (между 117 и 129 гг.).

Таков вкратце комплекс социальных, политических и культурных условий эпохи, в которую пришлось жить Плутарху; они в своей совокупности предопределили то специфическое соотношение резиньяции и оптимизма в его мировоззрении, без которых нельзя понять и его писательской позиции.

С одной стороны, и власть Рима над Грецией, и власть цезарей над Римом в равной степени были для него стоящими вне дискуссии данностями, с которыми приходится безоговорочно мириться. Для самых робких и смутных надежд на освобождение Греции от римского владычества (хотя бы в форме нероновских *ἐλευθερία* и *ἀνεξισφορία*¹²) после 69 г. не остается места. Начало правления Веспасиана еще отмечено волнениями¹³, затем все затихает¹⁴. Плутарх умел достаточно ясно, и притом не всегда с легким сердцем, видеть реальные отношения: ему принадлежит выразительная сентенция о римском сапоге, занесенном над головой каждого грека («Наставления государственному мужу», гл. 17, р. 813 E: ὁρῶντα τοὺς καλτίους ἐπάνω τῆς κεφαλῆς). Что касается императорского режима, то отношение к нему Плутарха (при абсолютной лояльности) не было столь однозначно положительным, как у многих провинциалов¹⁵; во время своих посещений Рима Плутарх имел возможность воочию убедиться в его мрачных сторонах, но и в его прочности¹⁶.

Но у Плутарха оставалась надежда, оставалась цель, которая казалась ему реальной жизненной задачей: возрождение эллинизма в рамках режима Римской империи. Когда при Адриане и его преемниках апогей «филэллинских» мероприятий римского правительства будет достигнут, а затем и пройден, лозунг эллинского возрождения из искренней мечты о будущем превратится в официозную фикцию о настоящем; эту фикцию можно будет патетически возвеличивать (как Элий Аристид¹⁷) или саркастически вышучивать (как Лукиан¹⁸), но она уже никому не сможет дать ту спокойную и уравновешенную бодрость, которая неизменно смягчает Плутархову резиньяцию. Сравнивая писательскую интонацию Плутарха и достаточно многообразный интонационный диапазон второй

Софистики, мы явственно чувствуем, какие изменения претерпела духовная атмосфера греческой культуры между началом и концом социально-политической стабилизации, совпадающей с правлением Антонинов. Оптимизм Плутарха недальновиден¹⁹, но вполне серьезен. Он не играет позой философа-наставника, как это будут делать позднейшие софисты, а совершенно искренне верит, что его наставления будут учтены и реализованы, и притом не только в частной жизни его друзей, но и в общественной жизни греческих городов. Отсюда высокий уровень деловитости и конкретности, на котором в его трактатах обсуждаются политические вопросы; этот вкус к конкретным деталям характерен и для «Параллельных жизнеописаний»²⁰. Если вторая софистика понимает функции литературы чисто декоративно, то Плутарх еще ставит на первое место их общественно-конструктивную сторону. Характерно, что принадлежащий к тому же поколению Дион Хрисостом, достаточно отличный от Плутарха по всему своему человеческому и писательскому складу и в формальном отношении близкий ко второй софистике, с полной серьезностью стремится поставить свой дар ритора на службу определенным государственным идеям²¹. И Плутарх, и Дион захвачены пафосом общественного устройства, который после них совершенно исчезает из греческой литературы, чтобы возродиться в совершенно иных социальных и культурных условиях у пропагандистов крепнущей христианской церкви — писателей типа Василия Кесарийского или Иоанна Златоуста²².

Этот «конструктивный» дух Плутархова восприятия литературной и общественной проблематики придает его писательской интонации сдержанность и достоинство, контрастирующие с импрессионистической нервностью античного «декаданса», как он раскрылся еще в литературе эллинизма и затем во второй софистике. Именно это имел в виду Т. Моммзен, отмечая у Плутарха «чувство меры и ясность духа»²³. Пафос и энтузиазм никогда не переходят у него в истерическую взвинченность, характерную, например, для Элия Аристида; его скепсис никогда не доходит до тотальной

критики общества и культуры в духе Лукиана ²⁴; его спокойная, порой несколько самодовольная непринужденность чужда откровенной безответственности Элиана.

2. Происхождение и социальное положение. Из сочинений самого Плутарха совершенно ясно, что он родился в состоятельной семье, принадлежавшей к имущим кругам города и пользовавшейся тем большим уважением и влиянием, что ее предки уже в ряде поколений жили в Херонее ²⁵. Напротив, встречающиеся иногда утверждения, что Плутарх принадлежал к «старинному аристократическому роду» ²⁶, следует считать преувеличенными. Скорее можно быть уверенным в противоположном: если иметь в виду необычайно острый интерес греков римской эпохи к своим родословным ²⁷ и специально плутарховское внимание к своим и чужим семейным преданиям ²⁸, трудно представить себе, что он умолчал бы о своих отдаленных предках, если бы он хоть что-нибудь о них знал ²⁹. Родословная очевидным образом начинается для Плутарха всего лишь с его прадеда по имени Никарх, жившего во времена Антония и Августа (см. примеч. 1). Таким образом, Плутарх менее всего был безродным плебеем, и с рабом Эпиктетом у него в этом отношении не было ничего общего ³⁰; но ему было далеко и до той головокружительной знатности, примером которой может служить софист Герод Аттик ³¹, принадлежавший к древнейшему аттическому роду жрецов-кериков и к тому же путем брака ставший своим человеком и в кругах римской патрицианской аристократии ³².

Такое же впечатление умеренного, но устойчивого благополучия, чуждой крайностям «золотой середины» производит и имущественное положение Плутарха. Между тем для его эпохи оно кажется почти анахронизмом. Как известно, в римскую эпоху концентрация бедности на одном полюсе и богатства — на другом зашла в Греции чрезвычайно далеко. Провинция в целом была очень бедна ³³, имущественно необеспеченной была большая часть населения, включая людей интеллигентских профессий, — Лукиан говорил, что Эллада «воспитана на сочетании философии и бедности»

(«Нигрин», гл. 12). В то же время в руках отдельных людей скапливались колоссальные состояния. Достаточно вспомнить, что некто Юлий Никанор смог за свои деньги выкупить для Афин Саламин и был за это удостоен постановлением «Ареопага, буля и народа» почетного прозвища «нового Фемистокла»³⁴, чтобы почувствовать, в какой степени зависели целые города от отдельных толстосумов³⁵. В Спарте на рубеже I в. до н. э. и I в. н. э. захватил неограниченную власть богач Эврикл, превративший, по свидетельству Страбона (кн. 8, гл. 5, 363), весь остров Киферу в свое частное поместье³⁶. При Веспасиане Тиберий Клавдий Гишпарх имел состояние, оценивавшееся в 100 млн. сестерциев (см. *Светоний*, «Веспасиан», гл. 13). Внуком Гишпарха был Герод Аттик, в долгу у которого было чуть ли не все население Атики³⁷, о необычайной роскоши его пригородных вилл колоритно повествует Авл Геллий (кн. I, гл. 1, 2).

Образ жизни Плутарха на этом фоне выделяется как отголосок старых времен Греции. Он был настолько обеспеченным человеком, что никогда не нуждался в «литературном» заработке софиста или в poste императорского чиновника, который пришлось принять Аппиану и (под старость) Лукиану. Никогда не приходилось Плутарху, по его собственному свидетельству³⁸, и прибегать к услугам ростовщиков, — а этим, насколько мы можем судить, в его время могли похвалиться лишь немногие граждане греческих полисов. В то же время он был чужим человеком для плутократической верхушки, с таким размахом осуществлявшейся в общепровинциальном масштабе свои финансовые операции и свои «эвергесии»³⁹. На последнее у него не было средств. Такие сочинения Плутарха, как «О том, что не надо делать долгов» и «О сребролюбии» (в последнем трактате особенно главы 8—9), выдают серьезную антипатию автора к греческой плутократии, в которой он с полным основанием видит силу, разрушающую последние реликты полисной этики.

Для довершения этой картины благополучной умеренности остается добавить, что имущественное положение Плутарха было, насколько можно судить, стабильным; по крайней мере, в его жизни

не было резких переходов от избытка к бедности и обратно, которые отмечают весь жизненный путь Диона Хрисостома⁴⁰. Ни в какой период своей жизни он не имел случая познакомиться ни с настоящей роскошью, ни с настоящей бедностью. Его личный социальный опыт как нельзя лучше подготовил его к усвоению старозаветного полисного идеала τὸ μέσον (золотой середины).

3. Р о д и н а. Плутарх родился в самом средоточии «исконной» материковой Эллады: его родным городом была та самая Херонея, которая была известна каждому образованному человеку греко-римского мира как место знаменитого сражения 338 г. до н. э. В эпоху Плутарха Херонея была захолустным городком⁴¹, но ревниво охраняла свои древние предания⁴² и обряды⁴³.

Уже это резко отличает Плутарха от большинства представителей грекоязычной литературы I—II вв. В самом деле, среди последних лишь очень немногие, как Герод Аттик, были уроженцами изначального региона эллинской культуры, т. е. материковой Эллады и ионийских городов восточного побережья Эгейского моря. Напротив, целый ряд писателей и риторов дали эллинизированные восточные провинции. Родом из Вифинии были Дион Хрисостом, Флавий Арриан, Дион Кассий Коккеян, из Фригии — ритор Полемон, из Каппадокии — ритор Павсаний (не смешивать с автором «Описания Эллады»!), из Мисии — Элий Аристид, из Киликии — ритор Фалагр, из Лидии — периегет Павсаний⁴⁴. Аппиан Александрийский, риторы Птолемей и Юлий Полидевк, а уже на грани II и III вв. Афиней были уроженцами Египта. Финикия дала поэта Дорофея из Сидона (автор дидактического эпоса о созвездиях, относящегося к эпохе Антонинов), а также риторов Адриана из Тира, Аспасия из Тира и Аспасия из Библоса (та же эпоха). Многие писатели не только по месту своего рождения, но и по своему этническому происхождению не были «эллинами» даже в том расширительном смысле, который был придан этому слову в эллинистическую эпоху. Так, Исей, один из виднейших представителей начального периода второй софистики, был ассирийцем (см.: *Филострат*,

«Жизнеописания софистов», кн. 1, 20, 1). Философствующий софист Фаворин, ученик Диона Хрисостома, больше всего гордится как раз тем, что он, будучи кельтом, выработал у себя совершенную чистоту эллинской речи (Γαλάτης ὄν ἐλληνίζειν — собственные слова Фаворина) и таким образом смог занять первое место среди «эллинов»⁴⁵, т. е. среди представителей космополитической второй софистики. Лукиан гордо именуется «Сирийцем» и в то же время с необычайной энергией защищает себя против всех мыслимых подозрений в недостаточно корректном владении атиккистской лексикой («Лжец, или что значит ἀποφράς», «Об ошибке в приветствии»). В круг грекоязычной литературы вступают и римляне; в их числе — последователь Эпиктета Марк Аврелий, а также беллетрист Клавдий Элиан. Элиан никогда не покидал Италию (*Филострат*, «Жизнеописания софистов», кн. 2, 31, 3), что не мешает ему изъясняться таким языком, «как если бы он был уроженцем серединной части Аттики»⁴⁶, и даже играть в некий аттический и эллинский патриотизм⁴⁷.

Характерно, что многие из этой среды эллинизированных литераторов испытывали потребность облечь свое книжное преклонение перед Элладой и Афинами в традиционные полисные формы: целый ряд упомянутых у Филострата риториков принял, например, афинское гражданство. Некоторые, как Флавий Арриан или Гордеоний Лоллиан, даже занимали в Афинах городские магистратуры⁴⁸. Но подобные жесты оставались лишь чисто декоративным придатком к космополитическому статусу их жизни. На деле идея «эллинизма» была для них связана лишь с реалиями школы и конкретизировалась в канонах риторического пуризма. Напротив, для Плутарха эта идея еще не потеряла связи с реалиями полиса. Он с детства чувствовал себя уроженцем «подлинной и беспримесной Греции»⁴⁹; если подавляющее большинство современных ему риториков и философов «сделалось» эллинами, он эллином родился. Отсюда необычное для эпохи «почвенничество» Плутарха, с которым нам еще придется столкнуться при характеристике его мировоззрения и жизни.

4. Отношение к родному полису. В самом деле, беотийское захолустье оставалось для Плутарха родным домом на всю жизнь. Конечно, человек с его любознательностью и живым темпераментом не мог отказаться от путешествий: помимо двух посещений Рима, о которых говорилось выше, Плутарх побывал в Александрии и, по-видимому, в Ионии; материковую Элладу он изъездил вдоль и поперек⁵⁰. В связи со своими антикварными и историческими занятиями он испытывал постоянную потребность в посещении мест знаменитых событий и особенно в хороших библиотеках, которых, как он сам жалуется⁵¹, в Херонее ему недоставало; разглядывать памятники старины и расспрашивать о местных обычаях было его страстью⁵². Тем более замечательно, что он провел большую часть своей жизни на родине. Для него было внутренне невозможным избрать жизнь «гастролирующего» виртуоза-софиста или странствующего философа, которую в течение продолжительного времени вели и Дион Хрисостом, и Элий Аристид, и Лукиан. Правда, из одного места в сочинении «О том, что тяжелее, недуги души или недуги тела» (гл. 4, р. 501 E), как кажется, можно заключить, что этот трактат был написан для публичного чтения в Сардах⁵³; подобные популярно-философские лекции Плутарх читал и во время своего пребывания в Италии^{53а}. Но все эти выступления в чужих городах, которые сами по себе были неизбежной уступкой культурному быту эпохи, в жизни Плутарха оставались случайными эпизодами и общего стиля последней изменить не могли. В целом же этот стиль представляет самый резкий контраст к той беспокойной атмосфере космополитизма и сенсации, которая сформировала нервность Диона Хрисостома, самомнение Элия Аристида, сарказм Лукиана.

Но для Плутарха было внутренне невозможным не только бродяжничество странствующего ратора, но и более стабильный образ жизни где бы то ни было вне Хероней. Между тем в эпоху ранней империи греческие литераторы обычно избирали своим местожительством крупные культурные центры. Самым важным среди них был, разумеется, Рим: там когда-то жили Дионисий Галикарнасский

и Кекилий, там проводит многие годы в близости к императорскому двору Дион Хрисостом, там занимаются преподавательской деятельностью бесчисленные риторы и философы, там будет заниматься адвокатурой и делать придворную карьеру римский сенатор Дион Кассий. Даже для Герода Аттика, женатого на римской аристократке, владевшего в Италии огромными поместьями и занимавшего в 143 г. должность римского консула, Рим был второй родиной. Те, кто не хотел покидать Грецию, собирались в Афинах; этот город, где жили и Флавий Арриан, и лексикограф Полидевк, и риторы Лоллиан, Павсаний, Юлий Теодот, и Лукиан, где Адриан учредит содержащуюся на государственный счет кафедру (*ἑρῶνος*) для преподавателя риторики, а Марк Аврелий даст по отдельной кафедре для четырех основных философских школ⁵⁴, становится настоящей столицей софистов и философов для всего эллинского мира. Характерно, что Флавий Филострат (так называемый Филострат II), уроженец Лемноса⁵⁵, не только лишен всякого пиетета по отношению к своей вполне «эллинской», хотя и скромной родине, но и считает себя «афинянином» и даже именуется своего коллегу и тезку (так называемого Филострата III) — в отличие от себя! — «лемносцем» («Жизнеописания софистов», кн. 2, 27; там же, кн. 2, 30 и др.)⁵⁶. Элий Аристид, происходивший из мисийского города Адрианутер, провел молодость в Афинах, затем вел жизнь странствующего софиста и наконец осел в Смирне. Даже Дион Хрисостом, одно время (после 96 г.) довольно серьезно пытавшийся внушить себе патриотические чувства по отношению к родной Прусе и вложить свою энергию в городские дела, уже к 103 г. устаёт от мелких провинциальных конфликтов и возвращается в Рим ко двору Траяна⁵⁷.

Напротив, для Плутарха верность Херонее была органической потребностью. Его жизненные установки хорошо выражает известная фраза из введения к биографиям Демосфена и Цицерона (гл. 2, 2): «...Мы же живем в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, остаемся в нем по любви к нему» (*φιλοχωροῦντες* — очень

характерная для Плутарха фигура *pluralis modestiae*)⁵⁸. Даже самые его отлучки в Рим вызваны не интересами литературной или придворной карьеры, но городскими делами Херонеи (ср. «Демосфен», гл. 2, 2). Необходимо иметь в виду, сколь многое звало его в Афины — ведь он был питомцем платоновской Академии⁵⁹ и (во второй половине своей жизни) афинским гражданином, приписанным к филе Леонтиде (см. «Пиршественные вопросы», кн. 1, 10, 1): тем более обращает на себя внимание то, что он отказался от притязаний на звание школьного «диадоха» в Афинах, чтобы, оставшись в Херонее, основать там своего рода филиал Академии⁶⁰.

Херонейский и вообще беотийский патриотизм — это для Плутарха одновременно и горячее чувство, и сознательное убеждение, воздействующее на всю его систему оценок. Известно, с какой теплотой относится он к беотийским государственным деятелям, поэтам, философам, мифологическим героям⁶¹. Он не упускает случая вспомнить, что один из уроженцев Херонеи был учеником Сократа («О демоне Сократа», гл. 20), не может снести ни малейшей насмешки над родным беотийским диалектом («Против Колота», гл. 33, р. 1127 А). Более серьезна его глубокая антипатия ко всем теориям космополитизма и политического индифферентизма, с наибольшей отчетливостью сказавшаяся в его антиэпикурейской полемике. В темпераментно написанном трактате «Хорошо ли сказано: «Живи незаметно?»» он убежденно отстаивает идеал гражданской общности и полисной гласности: «...Но тот, кто славит в нравственных вопросах закон, общность и гражданственность... чего ради ему скрывать свою жизнь? Чтобы ни на кого не оказать воспитующего влияния, никого не побудить к состязанию в добродетели, ни для кого не послужить благим примером? Если бы Фемистокл скрывал свою жизнь от афинян, Камилл — от римлян, Платон — от Диона, то ни Эллада не одолела бы Ксеркса, ни город Рим не сохранил бы своего существования, ни Сицилия не была бы освобождена. Подобно тому, как свет делает нас друг для друга не только заметными, но и полезными, так, думается мне, и гласность (ἡ γυνῶσις)

доставляет доблести не только славу, но и случай проявить себя на деле... В самом деле, Эпаминонд до сорока лет оставался безвестным и за все это время не смог принести фиванцам никакой пользы; но когда ему оказали доверие, он... обнаружил в свете славы в должный миг готовую к делу доблесть...» (гл. 4, р. 1129 В — С). В другом направленном против эпикурейцев сочинении «Против Колота» (гл. 2, р. 1108 С) он твердо высказывает стоящий для него вне всякого сомнения тезис: «Хорошо жить — значит жить общественной жизнью» ($\tau\acute{o} \delta \epsilon\upsilon \zeta\eta\nu \epsilon\sigma\tau\acute{\iota}ν κοινονικῶς \zeta\eta\nu$).

Всякий раз, когда Плутарх говорит на эти темы, его благодушный и многословный стиль приобретает необычную страстность; для критики позднеантичного индивидуализма он умеет найти очень выразительные слова. Вот он сравнивает душевное состояние замкнувшегося в себе абсентеиста с состоянием людей, отходящих ночью ко сну: «Души охватывает сонная вялость, и рас судок, ограниченный пределами самого себя, словно чуть тлеющий огонь, от праздности... сотрясается беспорядочными видениями, свидетельствуя лишь о том, что еще живет человек...» («Хорошо ли сказано: «Живи незаметно»?», гл. 5, р. 1129 Е). В этом же трактате он упрекает эпикурейцев: «...Тот, кто ввергает самого себя в безвестность, кто закутывается в темноту и хоронит себя живо ($\chiευοταφῶν τὸν βίον$), — похоже, досадует на то, что родился, и отрекается от бытия...» (там же, гл. 6, р. 1130 С).

Житейская практика Плутарха вполне соответствовала этим убеждениям, — по крайней мере, настолько, насколько это зависело от него, а не от условий эпохи. Он исполнял в родном городе не только должность архонта-эпонима («Пиршественные вопросы», кн. 2, 10, 1; там же, кн. 6, 8, 1), но и более скромные магистратуры, причем считал, что следует старинной полисной морали, запечатленной в изречении Эпаминонда: $οὐ μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δεῖκνωσιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἄνθρω$ («не только должность являет человека, но и человек — должность») — «Наставления государственному мужу», гл. 15, р. 811 В—С). Его принципы требовали именно такого поведения: характерно, что

он порицает стоиков за то, что те в теории требовали от мудреца участия в общественной жизни и сочиняли всевозможные доктрины и утопии, но не имели никакого интереса к полисной практике. В полемическом трактате «О противоречиях у стоиков» (гл. 2, р. 1033 В—С) мы встречаем такую инвективу: «В то время, как у самого Зенона, у Клеанта, у Хрисиппа столько написано сочинений о государственном устройстве, о том, как следует повиноваться и приказывать, творить суд и произносить речи,— в их жизнеописаниях ты не встретишь упоминания о том, чтобы кто-нибудь из них исполнял должность стратега, вносил законы, ходил в совет, выступал в судах, сражался за отечество, участвовал в посольстве, устраивал раздачу; вместо этого они проводили... жизнь на чужбине⁶², вкусив, словно некоего лотоса, покоя, среди книг, бесед и прогулок». Итак, Плутарх считает, что философское морализирование на политические темы должно быть подкреплено политической практикой, притом непременно в рамках полисных магистратур и в родном городе: тезис, столь же неоспоримый с точки зрения традиционалистской античной этики, сколь анахронистический с точки зрения реальных условий римской эпохи.

Но если исполнение магистратур архонта-эпонима, телеарха и т. п. в Херонее соответствовало моральным принципам Плутарха и давало удовлетворение его совести, возможностей для настоящей деятельности здесь не было. Остается вопрос: в какой мере Плутарх участвовал в реальной политике своего времени? Очевидно одно: он не имел к ней таких непосредственных и напряженных отношений, не углублялся в кипение страстей вокруг императорского престола с такой увлеченностью, как его современник Дион Хрисостом. В его жизни не было эпизода, который можно было бы сравнить с выступлением Диона в мезийском лагере осенью 96 г. Разницу в общественном поведении Плутарха и Диона — когда ее вообще замечают⁶³— принято объяснять лишь чисто психологическим различием между их индивидуальными характерами⁶⁴. Возражать против этого объяснения нельзя; но есть все основания видеть

здесь все же не только различие темпераментов, но и различие в стиле мышления, и подчеркивать в первую очередь не психологические, но мировоззренческие причины, побудившие Плутарха вести себя именно так, а не иначе. Вложить всего себя в то, что было в римскую эпоху «большой политикой», Плутарху мешало прежде всего свойственное ему повышенно серьезное отношение к идеалам партикулярного полисного патриотизма. Мы только что видели, что человек, поселившийся ἐπὶ ξένης (на чужбине), в глазах Плутарха — праздный обыватель.

Оттенки мировоззренческого стиля Плутарха можно с особой наглядностью проследить как раз там, где между его идеалами и жизнью возникало расхождение. Выше говорилось о черте автобиографической «общительности» у Плутарха, побуждавшей его при всяком удобном случае рассказывать читателю о себе и о своей жизни. И вот оказывается, что кое о чем Плутарх все же умалчивал! Примечательно уже то, что мы никогда не узнали бы из его сочинений о том, что он был римским гражданином и принял в честь своего друга Местрия Флора помен Местрий⁶⁵ (напротив, Дион охотно говорит о том, как его родители получили римское гражданство, см. речь 41, 6). Это умолчание, конечно, никоим образом не может свидетельствовать об оппозиционном отношении Плутарха к Риму; общеизвестно, что он в своих сочинениях не только вполне лояльно отзывался о римском владычестве, но и говорит о своих римских друзьях, о римских «древностях» и т. п. с такой охотой, как едва ли кто-нибудь из греческих авторов его эпохи. Дело не в этом. Упоминание о своем римском гражданстве претило его полисным инстинктам. Для себя самого, для своего читателя, для потомства он хочет быть только гражданином Херонеи.

Полным молчанием Плутарх обходит события своей старости, приблизившие его к «большой политике». К сожалению, все сведения об этих событиях содержатся в поздних и ненадежных источниках и недостаточно ясны. По сообщению Суды, Траян облек Плутарха консульским достоинством и дал ему некое право вето в отношении

всех действий наместника Иллирии. Евсевий Памфил в своих «Хронологических таблицах» помечает против 119 г.: «Херонейский философ Плутарх в старческом возрасте назначен прокуратором Эллады». Оба свидетельства нельзя принимать буквально (во времена Плутарха *praeses* *Thyrgiae* еще не имел никакого отношения к провинции Ахайе, а во главе последней стоял не прокуратор, а пропретор), но они свидетельствуют об устойчивой и распространенной традиции, согласно которой Плутарху при первых Антонинах была предоставлена достаточно широкая возможность вмешиваться в дела римского управления Грецией⁶⁶. Об известной близости Плутарха к эллинофильской политике Адриана свидетельствует и то, что имя его фигурирует на подножии статуи Адриана в Дельфах⁶⁷. И вот тот же самый Плутарх, который с величайшей словоохотливостью повествует о том, как он был в юности послан от херонейской общины с поручением к проконсулу, как он занимался в Херонее надзором за чистотой улиц и о прочих подобных мелочах, ни словом не упоминает те факты, к которым восходят сообщения Евсевия и Суды! Сюда же относится и то, что он никак не информирует читателя и о реальном содержании своих дел в Риме. Что принуждало его к такой скрытности? Стыдиться своей близости к власти имущим он в соответствии со своими принципами не мог: оппозиционный дух эпиктетовского морализма ему чужд, и первейшая обязанность философа, по его убеждению, — «беседовать с правителями»⁶⁸. Можно, разумеется, привлечь для объяснения тактичность, скромность, эстетический такт Плутарха⁶⁹. Все же остается не вполне ясным, почему в его глазах всякое обстоятельное сообщение о своем контакте с римской «большой политикой» было столь уж бестактным и безвкусным: тот же Дион, который во всяком случае не был ординарным карьеристом, говорит о таких предметах гораздо свободнее. Притом же Плутарх отнюдь не умалчивает о своих личных контактах с людьми из непосредственного окружения первых Антонинов, к числу которых принадлежал хотя бы Сосий⁷⁰ Сенецион. Объяснение, по-видимому, состоит в следующем. Скоп-

структурированный Плутархом идеал «философа» и «гражданина», в духе которого он до известной степени стилизовал для читателя свой собственный образ, не только не исключал спожений с влиятельными римлянами, но прямо предполагал эту черту. Однако даже в этом пункте, свидетельствующем о реалистичности мировоззрения Плутарха, его идеал оставался ретроспективным. Только на этот раз Плутарх обращался мыслью не к временам полисной классики, а к временам Полибия, — к недавнему прошлому, но все же к прошлому. Плутарх хотел быть Полибием своего времени (заметим, что последний импонировал ему не столько как историк — чуждый сентиментальности прагматизм Полибиева изложения был Плутарху противопоказан, — сколько как политик, защищавший эллинское дело в Риме⁷¹). Исходя из этих принципов, Плутарх и в Риме, и в качестве консультанта римского правительства должен был представлять себе, что он — не римский, но эллинский государственный деятель и специально посланец греческого полиса, что его дело — не римская, а херонейская и панэллинская политика. Анахронизм таких представлений очевиден, и в какой-то степени их неприложимость к реальным условиям времени, к конкретным ситуациям, возникавшим перед Плутархом во время его пребывания в Риме и позднее, в правление Траяна и Адриана, была, вероятно, ему ясна. Именно поэтому Плутарх не говорит об этих ситуациях; скрывать ему было, скорее всего, нечего, но эстетическая цельность автопортрета была бы нарушена слишком конкретными подробностями.

5. К у л ь т с е м е й н ы х о т н о ш е н и й. Анахроническая полисная гражданственность Плутарха, возникающая из отталкивания от космополитических и абстрактных стандартов цезаристского государства и софистической культуры, в своей ориентации на конкретные, наделенные интимной теплотой ценности закономерно переходит в свою противоположность: в повышенное внимание к приватной сфере человеческого бытия. Этика семьи подменяет собой этику полиса, и здесь Плутарх — вполне сын своего времени, от которого он пытается уйти.

По природе своей семейные отношения особенно легко воспринимаются как область, менее всего затрагиваемая исторической динамикой, наиболее вневременная и традиционалистская. Поэтому здесь создается возможность для иллюзии, состоящей в том, что как раз поведение, субъективно осмысляемое как следование традиции, на деле представляет собой выразительный контраст этой традиции. Именно так было с Плутархом: ему представлялось, что в своем совершенно неклассическом, порой почти христианском культе семьи он возрождает добродетели полисной классики. Между прочим, он оправдывал «семейный» колорит своих диалогов, где, как уже говорилось, постоянно выступают братья Плутарха, ссылаясь на классический пример — на Платона: «... Так и Платон прославил своих братьев, введя их в прекраснейшие из своих сочинений, Главкона и Адиманта — в «Государство», а младшего, Антифонта, — в «Парменида» («О братской любви», гл. 12, ср. 484 E). На деле он бесконечно далек от своего образца. Действительно, Платон увековечил своих братьев, но сделал это с величайшей сдержанностью, с истинно классической суровостью, сквозь которую его отношение к Главкону, Адиманту и Антифону можно скорее угадать⁷², чем увидеть. О них самих мы при этом также, в сущности, ничего не узнаем, в то время как по сочинениям Плутарха можно очень обстоятельно выяснить биографии Лампрія и Тимона⁷³. Достаточно подумать о том, насколько немислимы в «Государстве» или «Пармениде» семейные истории Платона, его объяснения в братской любви кому-либо из братьев (ср. у Плутарха «О братской любви», гл. 16, отношения к жизни и литературе у Плутарха и у его кумира⁷⁴). Контраст между почти безличной жестокостью классики и почти фамильярным благодушием позднеантичной φιλαδελφία поистине разителен. Чтобы продолжить сравнение с Платоном, которое особенно показательно потому, что субъективно Плутарх стремился к сильному подражанию патрону Академии⁷⁵, вспомним суровую сцену из «Федона» (р. 60 A), где Сократ выпроваживает Ксантиспу с ребенком, чтобы провести последние часы только

с учениками в строгой и отрешенной атмосфере философской дискуссии; вспомним общеизвестные места «Государства» (кн. 5, р. 457 Д — 461 Е), требующие полнейшего растворения семьи в безличном укладе абсолютизированного полиса; вспомним, наконец, логически связанное со всем этим третирированием брака и семьи предпочтение однополой мужской любви (например, «Пир», р. 181 С). Нет ничего более чуждого Плутарху. В отмену платоновской теории любви составлен диалог Плутарха «О любви», где он горячо превозносит именно женскую и супружескую любовь как высшую реализацию платоновской «эротики». Если полисная мораль, философски суммированная Платоном, сосредоточивала весь ригоризм своих требований на обязанностях индивида перед коллективом сограждан, а до таких вопросов, как взаимная любовь супругов и верность с мужской стороны, ей просто не было дела (отсюда такие места у Платона, как «Государство», кн. 5, р. 460 Е), то Плутарх с исключительной выразительностью и прочувзованностью говорит как раз о последнем: не знать женщин, кроме своей жены, и притом единственной ⁷⁶, — в его глазах не только добродетель, но и завидное счастье («Катон Старший», гл. 7, 3).

Для воспевания семейных обязанностей и семейного счастья Плутарх использует буквально каждый удобный и неудобный случай. Так, стоит ему упомянуть о том, как Фалес отговаривал Солона от брака («Солон», гл. 6—7), как он считает необходимым разразиться пространнейшей тирадой с обстоятельным опровержением доводов Фалеса. Семейной этике специально посвящен цикл из трех популярно-философских трактатов: «Брачные наставления», «О любви к детям» и «О братской любви». Сюда же примыкают интимно-задушевное по тону «Утешение к супруге», уже упоминавшийся диалог «О любви», который в целом представляет собой настоящее похвальное слово браку, и утраченный трактат «О том, что и женщинам должно давать образование». Бытовые реалии домашней жизни всплывают у Плутарха в самых неожиданных местах: так, он может вдруг завести речь о неопытных хозяйках, кото-

рые портят льняные ткани неумеренной стиркой («Наставление о том, как сохранить здоровье», гл. 22, р. 134 Е). О таких вещах Плутарх всегда говорит охотно. Роль «домашних» мотивов в его творчестве можно отдаленно сравнить с ролью мотива «детской» у Л. Толстого⁷⁷.

Семейную сферу дополняет сливающаяся с ней сфера приватной дружбы. Из сочинений Плутарха мы узнаем несколько десятков имен его друзей и добрых знакомых; некоторые из них (например, благонравный и ученый юноша Диогениан, увлекающийся и немного ограниченный Филин и др.) становятся для читательского восприятия пластичными и живыми образами. Вопросам этики дружбы Плутарх посвятил трактаты «О том, как отличить льстеца от друга» и «О том, хорошо ли иметь много друзей», а также утраченные сочинения: «О дружбе», «Послание о дружбе», «К Битину о дружбе», «Послание к Фаворину о пользовании друзьями» (возможно, что какие-то заглавия в этом перечне относятся к одному и тому же сочинению, но судить об этом с уверенностью невозможно). Ценность дружбы — достаточно традиционный мотив греческой этики и литературы, но дело в том, что у Плутарха и дружба получает необычайно приватный, домашний, семейный характер: чтобы почувствовать это, достаточно прочесть то место из «Пиршественных вопросов», где изображено вмешательство Плутархова друга Соклара в спор между самим Плутархом и его сыновьями.

Строгая полисная этика была настроена настороженно по отношению к приватным привязанностям гражданина именно потому, что в том предпочтении, которое человек отдает своим домашним или личным друзьям перед прочими членами гражданского коллектива, ей виделось некоторое нарушение «справедливости». Именно поэтому Платон стремится в своем идеальном государстве предотвратить самую возможность такого предпочтения. Плутарх, напротив, решительно настаивает на том, что человек вправе и даже обязан именно предпочитать брата — другу («О братской любви», гл. 3), сына — чужому ребенку («Солон», гл. 7) и т. п. Всякая иная точка зрения кажется ему бездушным доктринерством (это по-

стоянно выступает в его антистоической полемике), а все отношения, в основе которых не лежит кровная привязанность,— искусственным суррогатом природы: «...Тот аркадский прорицатель, о котором рассказывает Геродот, лишившись своей ноги, приладил себе деревянную; а такой человек, который находится во вражде со своим братом и приобретает себе друга на агоре или в палестре, делает то же самое, как если бы он по доброй воле отрезал себе состоящую из плоти и сросшуюся с ним часть тела, чтобы приставить и приладить себе чужую...» («О братской любви», гл. 3, р. 479 С). В этом отрывке, как и вообще у Плутарха, слова οἰκεῖος («свой») и ἀλλότριος («чужой») звучат с необычайной выразительностью и наделены усиленным значением. Для Плутарха очень характерна защита всего органически «вырастающего», интимно близкого и «почвенного» против всего, что представляется ему искусственным, «сделанным», неживым. Безусловно, это настроение было бы невысказано без того культа φύσις, который был разработан огромной кинико-стоической традицией⁷⁸; однако оценки у Плутарха резко смещены, и это можно предварительно показать на том, что у него в ранг естественного и органического зачислен прежде всего институт семьи, подвергавшийся в эллинистической философии критике как раз с позиций φύσις. Но на этом поучительном контрасте между этикой Плутарха и морализмом кинического, стоического или эпикурейского толка мы еще остановимся в своем месте. Пока нам важно отметить то значение, какое имеет для Плутарха ничем не опосредованная конкретность и «естественность» частных человеческих отношений. В конце концов создается впечатление, что хороший гражданин, по Плутарху,— это хороший семьянин и хороший друг: подобно тому, как семья незаметно переходит в более широкий кружок друзей как мы это видели на примере отношений между домашними Плутарха и Сокларом), точно так же этот кружок незаметно разрастается до полисного коллектива, до родного городка, в котором все знакомы друг с другом и на который направлен партикулярный патриотизм Плутарха,— а уже из этой сферы

плутарховская *φιλική* разливается на даль-
нейшие концентрические круги.

Мы только что отметили контраст между сенти-
ментальным приватизмом Плутарха и суровой
гражданственностью полисной классики. Но в оп-
ределенном отношении Плутарх все-таки по-на-
стоящему близок этой классике. В самом деле,
в эпоху, когда полисный уклад еще не был затро-
нут распадом, государство не мыслилось как нечто
принципиально отмежеванное от личной жизни
граждан и противостоящее ей в своей абстрактной
безличности (так же как не существовало самой
этой личной жизни в отрыве от общего строя жиз-
ни полиса). Только в эпоху эллинизма и в особен-
ности в Римской империи складывается чинов-
ничество и неразлучное с ним представление о го-
сударстве как совершенно специфической и авто-
номной сфере, внеположной бытию обособивше-
го индивидуума; духовным коррелятом этих
новых отношений стала философская утопия —
если государство отмежевалось от конкретных
связей, сплавивавших коллектив классического
полиса, отмежевалось от быта, обычая и тради-
ции, то уже ничто не мешает заново теоретически
конструировать его на началах отвлеченного умо-
зрения. Но как раз этот социальный опыт Плутарх
прямо-таки отодвигает от себя. Образ жизни
чиновника ему глубоко чужд (достаточно предста-
вить себе его на месте Аппиана, чтобы почувство-
вать контраст), и почти так же чужд ему дух
утопии: мы уже видели, как он отзывается о стои-
ческих проектах идеального государства. В эпоху
полисной классики приватная и гражданская
сферы человеческой жизни находились в органи-
ческом единстве при примате второй; если объек-
тивно это единство к эпохе Плутарха давно
распалось, то в сознании] «херонейского мудреца»
оно вполне сохраняет свою силу, хотя и с возрос-
шим коэффициентом приватизма.

Мы сравнивали выше Плутарха с Платоном,
причем Платон представлял в нашей антитезе
традицию полисной этики. Здесь время сделать
оговорку и сказать, что в определенном отноше-
нии Плутарх больше берет от этой традиции в ее
подлинном, изначальном, не прошедшем через

диалектическое расчленение и конструирование в виде, чем Платон, еще заставший сумерки полисной классики. Дело в том, что Платон, чтобы придать полисной форме государства идеальную завершенность и застраховать ее от всяких изменений, отнимает у нее черты непосредственности и органичности и присваивает ей небывалую абстрактность. Реальный полис никогда (в том числе и в самых архаических, суровых и неуступчивых вариантах, вроде спартанского) не был таким кристаллически холодным и не знал такой отрешенности от конкретного человеческого бытия своих же граждан. Утопия Платона, по субъективным намерениям своего автора ориентированная на консервацию полисной государственности, на деле сигнализирует о конце последней, о приходе общественных форм с более высоким коэффициентом «отчуждения» уже тем самым, что она — утопия и потому предполагает такое отвлеченное понимание государства, которое несовместимо с чисто полисными отношениями. В этом смысле мышление Плутарха, легко отождествляющее частную и общественную сферы и при этом неприязненно относящееся к чиновническому (и, как нам предстоит увидеть, и к любому другому) профессионализму, а равно и к утопии и вообще ко всему искусственному, что в равной степени противостоит в его глазах и полисной гражданственности, и частной непринужденности, — действительно возрождает некоторые черты классической греческой этики, хотя и в достаточно измененном виде.

Здесь не место выяснять со всей обстоятельностью, на какую социальную реальность опирается это запоздалое возрождение полисной психологии. В общих же чертах вопрос этот уже может считаться выясненным ⁷⁹.

ОБЩЕФИЛОСОФСКОЕ ЖИЗНЕОТНОШЕНИЕ ПЛУТАРХА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО МОРАЛИЗМА

Мы незаметно подошли к вопросу об общих мировоззренческих установках Плутарха.

При этом, однако, последние интересуют нас в той мере, в которой их анализ помогает понять,

какое место в своем социально-этическом «космосе» Плутарх отводил литературному творчеству. Поэтому такие важные вопросы, как стиль платоновской эксегесы у Плутарха, как его место в традиции платонизма, структура его эклектизма и т. п., должны выпасть из нашего рассмотрения. Иначе говоря, мы оставляем почти полностью вне нашего внимания трактаты по платоновской эксегесе, пифийские диалоги и т. п. и берем Плутарха прежде всего как автора моралистических «диатриб» и полемических сочинений против эпикуреизма и особенно против Стои. Можно было бы сказать, что мы концентрируем наше внимание на этике Плутарха и проходим мимо его онтологии и космологии, если бы эти сферы не находились у него, как и у всех античных философов, в неразрывной связи.

Действительно, вся этика Плутарха непонятна без его космологического оптимизма, который представлен у него, очень выразительно. Безусловно, этот космологический оптимизм приходится связывать с тем социальным оптимизмом, который мы отмечали для Плутарха как реакцию на иллюзорное возрождение эллинства при первых Антонинах. Здесь можно привлечь прежде всего небольшой трактат «О благорасположении духа» (плохо поддающийся переводу греческий термин εὐθυμία). В нем мы читаем: «...Разве для доброго человека не всякий день есть праздник? И еще какой великолепный, если только мы живем разумно! Ведь мироздание—это храм, преисполненный святости и божественности, и в него-то вступает через рождение человек, дабы созерцать не рукотворные и неподвижные кумиры, но явленные божественным Умом чувственные подобия умопостигаемого, как говорит Платон, наделенные жизнью и движением,—солнце, луну, звезды⁸⁰, реки, вечно изливающие все новую воду, и землю, питающую растения и животных. Коль скоро жизнь есть посвящение в совершеннейшее из таинств⁸¹, необходимо, чтобы она была исполнена благорасположения и веселия...», и т. п. (гл. 20, р. 477 Е сл.). Правда, неоднократно указывалось на то, что в этом трактате Плутарх широко использует более раннюю философскую литературу (в частности, здесь воз-

никает интересная возможность сблизить Плутарха с мироощущением полисной классики, ибо одним из источников трактата, несомненно, послужил трактат Демокрита с тем же названием⁸²). Но как бы мало оригинальным ни был здесь Плутарх, живость и выразительность изложения ручаются за то, что содержание трактата было им если не заново продумано, то во всяком случае заново пережито и прочувствовано⁸³.

Конечно, сами по себе эти космологические восторги — общее место всей греческой философии, независимо от эпох и направления. Даже такой пессимист, как Марк Аврелий, говорит о мировой гармонии, о мировом полисе и т. п.; мистик Плотин настаивает на том, что мир в своей целостности есть совершенство («Энеады», III, 2—3). На первый взгляд может показаться, что у Плутарха здесь можно отметить — в сравнении, например, с Эпиктетом, — разве только незначительные нюансы. Но выводы, которые Плутарх делает из своего космологического оптимизма, уже более примечательны и имеют определенную полемическую заостренность.

Во-первых, плутарховская «эвтимия» предполагает очень ровное, спокойное, благодушное состояние духа, а потому решительно исключает всякую напряженность и ригоризм, будь то ригоризм философский или религиозный. В частности, в религиозной сфере Плутарх, будучи, как известно, глубоко набожным и порой мистически настроенным мыслителем, резко критикует аскезу и суровость («О суеверии», гл. 7—9 и др.); с его точки зрения, если мы приписываем божеству благодать, это устраняет из нашего отношения к нему всякий страх (там же, гл. 2). Вместо того, чтобы угождать божеству постом или половым воздержанием, Плутарх предлагает лучше воздерживаться... от раздражительности («О воздержании от гнева», гл. 16, р. 464 В—С). Таково плутарховское «благодушие», в котором мы вправе видеть не только особенность его темперамента, но и мировоззренческий принцип.

Во-вторых, если материальный мир в целом благ и совершенен, из этого для Плутарха вытекает высокая оценка неморальных ценностей. Этот

вывод направлен специально против стоической аксиологии, относившей материальные блага к категории «безразличного». Плутарх, напротив, очень энергично настаивает на том, что здоровье, удача, сила, красота (а как выясняется из дальнейшего, еще и многодетность — характерный для Плутарха штрих!) суть подлинные блага, необходимые для «благоденствия», хотя и уступающие по рангу нравственным, духовным ценностям («Об общих понятиях против стоиков», гл. 4 и далее). В этом пункте, как и в других, стоический ригоризм кажется Плутарху фразерством, которое может быть посрамлено элементарным здравым смыслом.

Враждебность к теоретическому доктринерству и максимализму, доверие к житейским представлениям и традиционной практике жизни — это весьма характерная черта Плутархова мировоззрения, которую, между прочим, очень чутко уловил во многом конгениальный ему Монтень⁸⁴. Плутарх был моралистом — это истина, которую не приходится доказывать; однако его морализм имеет достаточно специфическую окраску. Со стихией современного ему морализма стоического толка он имеет не так уж много общего. В самом деле, стоицизм, кинизм, эпикуреизм, скептицизм — все эти течения эпохи, к которым можно прибавить и совсем еще молодое христианство, — сильно разнились между собой, но в одном они были едины: житейская практика человечества казалась им непоправимо неразумной, бессмысленной, губительной. Всей этой суете и хаосу противостояло для них одно: спасительное учение. Учение — это то, что выводит человека за пределы жизни, в надежное убежище, дает ему внутреннюю защищенность против реальности. Материалист Лукреций говорил об этом почти такими же словами, какими будут говорить христианские авторы. Этого пафоса напряженнейшего дуалистического противопоставления бессмысленной житейской практики и абсолютно истинного учения для Плутарха не существует. В этом он ближе к мыслителям греческой классики, нежели к своим современникам вроде Эпиктета⁸⁵. Конечно, и для Плутарха моралистическая философия есть единственный путь к

нравственному усовершенствованию личности и общества (ср. диатрибу «К непросвещенному властителю», где Плутарх, развернув программу «хорошего царствования», прибавляет само собой разумеющееся для него замечание: «Такого образа мыслей не может дать ничто, кроме как слово философии» — см. гл. 5, р. 782 А). Однако философское «учение» Плутарх понимает достаточно широко: в конце концов оказывается, что «философия», «мудрость» есть для него не что иное, как своего рода духовная квинтэссенция традиционной греческой жизни с ее общественным полисным духом, с ее открытостью и общительностью, наконец, с ее тактом в житейских мелочах (ср. хотя бы трактат «О ложном стыде», где огромное внимание уделено как раз внешней культуре поведения). При этом в частности Плутарх любит настаивать на авторитете исповедуемого им платонизма (что почти гротескно проявляется в «Пиршественных вопросах», кн. 7, 1, р. 693 А—700 В⁸⁶), но в целом от платоновского ригоризма у него ничего не остается; очень часто роль противоядия от последнего для Плутарха играет гораздо более прагматический перипатетизм⁸⁷ с его вкусом к житейской психологии. Кроме того, Плутарх принимает в свое мировоззрение элементы скепсиса (в этом отношении наиболее выразительное место — «О позднем возмездии божества», гл. 4, р. 549 Г), назначая им совершенно определенную функцию: противодействовать любым тенденциям прямолинейного теоретизирующего доктринерства⁸⁸. Отвлеченное умозрение, уверенное в себе и из себя самого извлекающее непреклонные предписания для жизни людей, — такой идеал был Плутарху антипатичен.

Мало того, он очень часто берется защищать против притязаний и критики моралистов как раз «жизнь», иначе говоря, — исторически сложившиеся данности общественного и частного быта.

Выше говорилось о том, с какой энергией Плутарх отстаивает реалии полисного уклада не только против эпикурейского абсентеизма, но и против стоического теоретизирования. Совершенно так же он защищает традиционное эллинское богопочитание в его консервативных формах.

Здесь не место подробно анализировать отношение Плутарха к религии, которое явно эволюционировало от просвещенческих настроений молодости к мистицизму старости. Важно, однако, подчеркнуть, что для Плутарха на всем протяжении его жизни были безусловно неприемлемы два типа отношения к религии. С одной стороны, это рационалистическая критика эпикурейского типа, которая не терпит никакого пиетета к религиозной традиции («О том, что по предписаниям Эпикура невозможно даже приятно жить», гл. 20—31 и др.); здесь позиции Плутарха достаточно известны⁸⁹. Другая нетерпимая для Плутарха крайность — это усвоение восточного, «неклассического» стиля религиозности, характерное для всего греко-римского декаданса и завершившееся победой христианства; гротескная экзотичность восточного ритуала («О суеверии», *passim*), «беззаконные и варварские» мифы Египта («Об Исиде и Осирисе», гл. 20, р. 358 E) и особенно иудаизм со своим почитанием Яхве-Ревнителя (по мнению Плутарха, иудеи прямо-таки считают божество злым — ср. «О противоречиях у стойков», гл. 38, р. 1051 E) — все это решительно не укладывалось в рамки классицистической плутарховской «эвтимии». Хотя Плутарх и составил для мистически настроенной дельфийской жрицы Клеи трактат «Об Исиде и Осирисе»⁹⁰, в целом тоска по восточной мудрости, которая гонит Аполлония Тианского у Филострата к индийским «гимнософистам» и которая на самом деле побудила болезненного Плотина отправиться на Восток с войском Гордиана III, остается ему глубоко чуждой. Он даже бранит Геродота за идеализацию египетского благочестия и недостаточно почтительное отношение к эллинской старине («О злокозненности Геродота», гл. 12, р. 857 B—C). Христианство Плутарх нигде не называет по имени, однако нельзя сомневаться, что если бы он знал что-нибудь о новой религии, она должна была его отталкивать и как восточное «суеверие», и как претенциозно-ригористическое моральное учение, ставящее себе абсурдную с точки зрения традиционалиста Плутарха цель — заново организовать все человеческое существование. В «Брачных наставлениях» Плутарх выра-

зительно внушает жене, чтобы она удовлетворялась традиционным семейным культом в исконно-эллинском стиле и не простирала своих исканий дальше (гл. 19, р. 140 Е); вполне возможно, что он здесь предостерегает греческую женщину специально против христианства ⁹¹.

Но Плутарх защищает против философской критики и реформаторских доктрин не только такие данности, как полисный строй или традиционная религия, но и более элементарные реалии устоявшегося быта («О противоречиях у стоиков», *passim*). Характерен самый стиль его аргументации. Отстаивая против стоической аксиологии реальную ценность материальных благ, он ссылается на общее обыкновение, присвоившее богам эпитеты 'Επιχάρπιος, Γενέθλιος, Παίαν и Μαντεύς («Податель плодов», «Родильный», «Целитель», «Гадатель»), которые были бы абсурдными, если бы обилие плодов, рождение детей, здоровье и прорицание, консультирующее человека относительно практических нужд его жизни, относились бы к «безразличному» («Об общих понятиях против стоиков», 32, р. 1075 Г). Собственно говоря, с точки зрения философского доктринаризма такая апелляция к житейскому здравому смыслу ничего не доказывает, кроме того, что понятия толпы вздорны: ни Эпиктета, ни Сенеку ⁹² такой ход мысли ни в чем не убедил бы, но для Плутарха он глубоко органичен.

Такая позиция давала Плутарху немало преимуществ, и в первую очередь — уравновешенное отношение к миру, совершенно исключаящее всякую напряженность и неестественность, всякий фанатизм. Конечно, у медали была своя обратная сторона. Уравновешенность и терпимость Плутарха покупались ценой решительного отказа додумать хотя бы одну мысль до ее последних логических выводов, ценой неразборчивой готовности принимать с почтением «ценности» самого разного толка и ранга. Душевный мир этого писателя имел, безусловно, по-своему четкий стиль, но весьма расплывчатую структуру. Зато этот мир был как бы открытым, незамкнутым: никакие жесткие доктринерские предпосылки и предрассудки не мешали Плутарху с симпатией оценивать, живо

воспринимать, пластично изображать такие идеи, эмоции, душевные состояния — в том числе и подлинный героический пафос былых времен, — на которые сам он был решительно неспособен. Каким бы «филистерским» ни представлялось нам плутарховское преклонение перед здравым смыслом, — те черты его мировоззрения, которые ориентировали его на живое, непредубежденное любопытство к реальному человеческому существованию, оказались весьма конструктивными для него как писателя. Сам он хотел быть только философом, но для этого ему не доставало пафоса абстракции: его сила была в конкретном. Здесь — внутренняя закономерность того, что он от позиции учителя жизни постоянно переходит к позиции изобразителя жизни, повествователя о ней.

- ¹ По меткому замечанию Евнация (во введении к «Жизнеописаниям философов и софистов», р. 454), «божественный Плутарх излагает свое жизнеописание в разрозненном виде в своих сочинениях». В пределах «Параллельных жизнеописаний» можно указать на следующие автобиографические замечания: «Фемистокл», гл. 32 (о товарище Плутарха по годам учения у Аммония, афинянина Фемистокле, который возводил свой род к знаменитому тезке); «Демосфен», гл. 6 (Плутарх объясняет, почему он остался жить в Херонее, жалуется на то, как трудно раздобыть в маленьком городке необходимые для работы источники, и вспоминает, как он в Италии изучал латинский язык) и гл. 31 (афинский анекдот о ставге Демосфена, который Плутарх слышал на месте юношей); «Антоний», гл. 28 (рассказы деда Ламприя о враче Филоте) и гл. 68 (рассказы прадеда Никарха о притеснениях, учиненных херонейцам людьми Антония). В биографии Отона Плутарх вспоминает, как он во время своего посещения Италии вместе с Местрием Флором проезжал через Бедриак («Отон», гл. 14). Вот еще несколько примеров из «Моралий». В «Наставлениях государственному мужу» (*Πολιτικά παραγγέλματα*, гл. 20, р. 816 E) подробно рассказано, как Плутарх еще юношей был делегирован вместе с другим гражданином к проконсулу, но его коллега не смог отправиться в поездку, и Плутарху пришлось исполнить свою миссию единолично; отец по возвращении молодого посланца посоветовал ему участвовать в своем отчете дело так, как если бы в посольстве участвовал и его товарищ. Там же (гл. 15, р. 811 B — C) он в поучение читателю говорит о том, с какой охотой исполнял скромные магистратуры в родном полисе. Воспоминаниями об обстоятельствах женитьбы Плу-

- тарха полны первые главы диалога «О любви» (Ἐρωτικός). Как и понятно, наиболее сильную биографическую окраску имеет «Утешение к супруге», сочетающее в себе философский трактат и приватное письмо.
- ² Особенно «семейный» характер имеют «Пиршественные вопросы»; их действующими лицами выступают дед Плутарха Ламприй (кн. 5, гл. 5, 6, 8, 9; ср. также кн. 4, 4 и кн. 9, 2), отец Плутарха — о его имени см. К. Циглер, № 177, стлб. 644 (кн. 1, 2; кн. 2, 8; кн. 3, 7—8; кн. 5, 5), братья автора Ламприй (кн. 1, 8; кн. 2, 2 и 10; кн. 4, 4; кн. 9, 5) и Тимон (кн. 1, 2 и кн. 2, 5), его сын Автобул (кн. 8, 2 и 10) и его друзья — перенявший у молодого Плутарха вегетарианские убеждения и затем сопровождавший его в Рим «наш Филин» (кн. 4, 1 и кн. 8, 7, где он и назван Φιλίνος ὁ ἡμέτερος, также кн. 2, 4; кн. 1, 6; кн. 5, 10), поэт Сарацион, фигурирующий также в дельфийских диалогах (кн. 1, 10), и Соклар, судя по всему, близкий друг всей семьи (кн. 2, 6; кн. 3, 6; кн. 5, 7; кн. 6, 8; кн. 8, 6).
- ³ См. ниже примеч. 8 к главе IV.
- ⁴ См. № 177, стлб. 639—640.
- ⁵ Нерон был в провинции с осени 66 до начала 68 г. Провозглашение свободы Греции состоялось, как явствует из знаменитой «акрефийской» надписи, в 67 г. (*W. Dittenberger. Sylloge inscr. Graec., ed. 2, 370. См. № 250, стр. 84—91; № 253, стр. 225; № 255, стр. 221; № 251 и № 252, стр. 125—126*).
- ⁶ Такое же отношение к эллинофильству Нерона мы встречаем еще у Филострата («Жизнеописание Аполлония», кн. 5, гл. 41), где события излагаются следующим образом: «Нерон даровал Элладе свободу, оказавшись в этом отношении мудрее самого себя, и города вернулись к дорическим и аттическим нравам; все ожило при взаимном согласии городов (№: явная полемика с версией Веспасиана! — *С. А.*), чего не было с Элладой даже в старые времена. Но явился Веспасиан и отнял у нее свободу, выставляя в качестве предлога смуты и другие вещи, не заслуживающие такого гнева». Далее приводятся три письма Аполлония к Веспасиану, где он резко выговаривает императору за его поступок, сравнивая его с поработителем Эллады Ксерксом.
- ⁷ Эти датировки с большой убедительностью предложены К. Циглером (№ 177, стр. 655—657).
- ⁸ Достаточно вспомнить панегирики гражданскому миру, которые наполняют последние главы «Наставлений государственному мужу» (особенно главу 32, ср. также гл. 10). В трактате «Следует ли старику заниматься государственными делами» (гл. 3, р. 784 D) мы встречаем прочувствованное замечание: «Наше поколение наслаждается тем, что в нашей государственной жизни (ἐν πολιτείαις) нет места ни для тирании, ни для какой бы то ни было войны...» Эти слова, которые имеют в виду прежде всего бытие греческих полисов (πολιτεῖαι!), но в то же время, безусловно, и обще-

имперскую ситуацию, приложимы только к эпохе, начавшейся после прихода к власти Веспасиана.

- ⁹ Как известно, Адриан уделял весьма много внимания созданному им на основе ахейской лиги (κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν) панэллинскому союзу (κοινὸν τῶν Πανελλήνων). О его основании рассказывает Дион Кассий (кн. 69, гл. 16). Связь замысла плутарховского биографического цикла с идеями, кристаллизировавшимися в этих актах Адриана, нащупывает О. В. Кудрявцев, № 252, стр. 241. Существование панэллинского союза засвидетельствовано еще для 248 г. (см. № 255, стр. 225), но уже при ближайших преемниках Адриана теряет всякую связь с серьезной политикой (№ 252, стр. 243).
- ¹⁰ По словам того же Филостата (там же, кн. 2, 9), Элий Аристид отказался отправиться засвидетельствовать почтение прибывшему в Смирну императору Марку на том основании, что был занят отработкой очередной речи. Император только одобрил независимое поведение знаменитого ратора. Лукиан рассказывает, как еще один римский проконсул, подвергшийся злейшим публичным оскорблениям со стороны какого-то киника, вынужден был удовлетвориться разъяснениями о традиционном праве киников на свободу слова, а под конец в полном сознании бессилия проглотить злую колкость и от самого Демонакта (*Лукиан*, «Демонакт», гл. 51).
- ¹¹ Плутарх при своем вошедшем в плоть и кровь классицизме не мог интересоваться иудейской литературой и едва ли имел конкретное представление о самом ее существовании. В двух разделах «Пиршественных вопросов» (кн. 4, вопросы 5 и 6) заходит речь об иудейской религии. Уровень этих изысканий чрезвычайно низок. Плутарх кое-что знает об иудейских культовых реалиях (без сомнения, из ходовых греческих сочинений типа трактата Апиона), но и не подозревает о существовании Библии или грекоязычных литературных памятников иудейского мира.
- По-видимому, первой половине I в. н. э. принадлежит такой шедевр, как анонимный трактат так называемого Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Впрочем, не исключено, что он возник и в более позднее время; во всяком случае, Плутарх о нем ничего не знал. Интересно, что и этот трактат, по-видимому, был создан в культурной сфере эллинизированного иудаизма или, по крайней мере, под ее воздействием. Не говоря уже о знаменитой цитате из книги Бытия, приведенной в самом лестном для иудейского монотеизма контексте (9, 9), трактат обнаруживает в ряде моментов поразительную близость к высказываниям Филона. По гипотезе Э. Нордена, автор трактата был лично близок к Филону и вывел его под именем «философа» (см.: *E. Norden. Das Genesiszitat in der Schrift vom Erhabenen.*—«Abhandl. der Deutsch. Akademie zu Berlin», 1954).

¹³ По сообщению Тацита («Истории», кн. 2, 8), широкий отклик получило в Ахайе восстание лже-Нерона, укрепившегося на острове Китне. Павсаний («Описание Эллады», кн. 7, гл. 17, 4) и Филострат (см. выше примеч. 6) также говорят о какой-то «смуте» (στάσις — об этом понятии см.: *Н. А. Машкин*. Принципат Августа. М.—Л., 1949, стр. 487), послужившей непосредственным предлогом отмены дарованной Нероном «свободы». Византийский хронист XII в. Зонара, широко использовавший утраченные для нас сочинения историков римской эпохи, говорит об этих событиях так: «Некто, выдавая себя за Нерона на основании сходства с ним, привлек на свою сторону почти всю Элладу» (см. № 250, стр. 91—93; № 252, стр. 221).

¹⁴ Ср. выше примеч. 8. Переход от династии Юлиев — Клавдиев к династии Флавиев — последний общеимперский политический кризис, при котором Греция еще пыталась проявить серьезную активность; при дальнейших кризисных ситуациях такого рода она остается пассивной.

Когда Кудрявцев (№ 252, стр. 222) утверждает что в Греции и после эпохи Флавиев «сохранилась, по-видимому, почва для возникновения антиримских движений ... в которых, возможно, принимали участие и некоторые круги местных рабовладельцев», то с этим, пожалуй, можно и согласиться, коль скоро любые беспорядки в городах, связанные с перебоями в доставке хлеба (ср.: *Филострат*, «Жизнеописания софистов», кн. 1, 23), с соперничеством между полисами и т. п., так или иначе приводили к столкновению с римской администрацией, отнюдь не пользовавшейся популярностью. Но важно уяснить себе, что иной уровень возмущения против римского владычества стал для Греции этой эпохи невозможным. Кудрявцев говорит о «загадочном восстании в Ахайе» в царствование Антонина Пия; единственный источник для такого утверждения — весьма отрывочное и неясное замечание в биографии этого императора, дошедшей под именем Капитолина. Как известно, SHA — весьма недостоверный источник (см. № 181, где дана подробная библиография, и № 182, особенно стр. 241 и 244—245). Даже принимая сообщение Капитолина, едва ли возможно видеть в отсутствии указаний на то, в каком полисе мятежи имели место, надежное доказательство общегреческого характера волнений. Весь тон Капитолина заставляет предполагать с его стороны простую небрежность.

¹⁵ По известному замечанию Тацита, провинции ничего не имели против нового государственного строя (*Annal.*, I, 2: *neque provinciae illum rerum statum abnuentant*). О причинах монархических настроений провинциалов см.: *Н. А. Машкин*. Принципат Августа. М.—Л., 1949, стр. 496—500 и др. Характерны цезарианские симпатии Аппиана и Диона Кассия (ср.: *Е. М. Штаерман*. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., Изд-во АН СССР,

1957, стр. 294—297). С другой стороны, ряд представителей грекоязычной литературы и моралистической философии болезненно воспринимал императорский контроль над духовной жизнью. Так, мудрый Филон неоднократно называет «демократию» (в словоупотреблении этого времени — обозначение республиканского строя) лучшим и прекраснейшим видом государства («О неизменяемости божества», 176, ср. также «О справедливости», 14). В «Жизнеописании Моисея» он использует описание библейского Египта фараонов для острой критики монархии как таковой (I, 10). По утверждению Филона, деспотические режимы (αὶ δεσποταῖα) «пользы не приносят» («О земледелии», гл. 47). Вред монархии усматривается прежде всего в том, что она делает невозможным «свободоречие» («Об Иосифе», 17); между тем без «свободоречия» невозможно благородство — εὐγένεια («О том, что всякий честный человек свободен», 99; «Посольство к Гаю», 63). Почти в таких же выражениях мысль о давящем воздействии цезаризма на духовную жизнь высказана в трактате Псевдо-Лонгина «О возвышенном» (гл. 44), где власть императоров именуется «узаконенным рабством». Оппозиционный характер носило творчество историка Тимагена Александрийского, современника Августа, которого Сенека Старший именует «не в меру вольнолюбивым» и «злоречивым» (фрагменты и свидетельства см. № 63, II А, 88, стр. 318—323).

Что касается Плутарха, то его теоретическое отношение к монархии сформулировано, как известно, в отрывке «О монархии, демократии и олигархии» (гл. 4, р. 827 В); он более или менее дословно приводит суждение Платона («Политик», р. 302 Е, ср. также р. 303 В), согласно которому монархической форме правления следует отдать преимущество перед всеми другими, поскольку монарх имеет возможность проводить правильную политику, не будучи от нее отклоняем ни насильем, ни необходимостью угождать народу. В целом отрывок носит чисто академический характер и не касается конкретных отношений эпохи Плутарха; доктринерская ссылка на школьный авторитет также оставляет впечатление некоторой неубедительности. Более важны для понимания взглядов Плутарха на современную ему политическую действительность такие места из «Моралий», где он, не упоминая специально о монархии, с удовлетворением отмечает наступление всеобщего покоя и прекращение «смут» (см. выше примеч. 8, а также: «О счастье римлян», 2, р. 317 А — С; «О душевном спокойствии», 9, р. 469). При этом молчаливо подразумевается, что гарантом мирного состояния общества является императорский режим; но Плутарх не спешит назвать последний по имени. В «Параллельных жизнеописаниях» Плутарх с исключительной симпатией и почтением выписывает образы тиранноборцев Катона Младшего и Брута, но искусно подчеркивает их обреченность; их антагонист Цезарь гораздо меньше импо-

нирует нравственному чувству Плутарха («Цезарь», гл. 14, 30 и др.), но за ним, по убеждению автора, стоит необходимость (гл. 38, 49 и др.). Итак, отношение Плутарха к новому строю характеризуется искренней лояльностью, но чуждается верноподданнического пафоса; здесь уместно вспомнить справедливое замечание Энгельса о том, что моральной основой власти цезарей было «всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или другой император, то все же основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью» (№ 1, стр. 154).

- ¹⁶ Последний случай, когда в Риме хоть сколько-нибудь серьезно думали о ликвидации императорского режима, приблизительно совпал с временем рождения Плутарха: когда 24 января 41 г. Гай Каллигула пал жертвой заговора, собравшийся на Капитолии сенат пытался провозгласить «всеобщую свободу» (*Светоний*, «Клавдий», 10, 4). Эта попытка окончилась весьма бесславно (*Иосиф Флавий*, «Иудейские древности», гл. 19, 3—4): сенат, никем в городе не поддержанный и раздираемый отсутствием единства в собственных рядах, делегировал к Клавдию трибунов Верания и Брокка; когда последние увидели, какое множество солдат окружает Клавдия, они поспешили отступить от своих республиканских требований и стали просить нового императора хотя бы принять власть из рук сената. Во время кризиса 68—69 гг. ничего подобного не произошло; лишь после самоубийства Отона получил распространение ни на чем не основанный слух, будто Отон намеревался восстановить республику (*Светоний*, «Отон», гл. 12, 2).
- ¹⁷ Для характеристики официозных настроений Элия Аристид особенно важна знаменитая речь XIV. Восхваляя римскую державу в целом, Аристид постепенно переходит (начиная с гл. 40) к новому положению Греции; он вспоминает междоусобное соперничество Афин, Фив и Спарты, истощавшее греческие полисы в прежние времена (гл. 43—51), а затем перечисляет блага «римского мира», при котором эллины «наслаждаются приятнейшим покоем, уподобляясь тихо текущей воде»; по его словам, «города, как бы уже лежавшие на погребальном костре ...внезапно ожили».
- ¹⁸ В «Нигрине» мирная и просвещенная жизнь Греции не только не поставлена в заслугу римскому владычеству, как это сделал бы автор типа Элия Аристид, но с большой остротой противопоставлена римскому образу жизни с его развратом и грубостью. Трактат «О том, как следует писать историю» высмеивает официозную грекоязычную историографию второй Парфянской войны. Еще важнее то, что все сочинения Лукиана, где подвергнуты осмеянию современные сатирику философы, грамматик, риторы и т. п., в своей совокупности складываются в критическую оценку всей культурной ситуации «греческого Возрождения».
- ¹⁹ Упрек в недалекости не является искажением исторической перспективы: и в поколении Плутарха

находились умы, в большей степени наделенные мрачной смелостью мысли и много суровее оценивавшие положение Греции. К их числу можно причислить Диона Хрисостома, который в своей 31 речи обращается к родосцам с такими словами: «...Вот каково теперь ваше положение относительно Эллады. Не думайте, что вы занимаете в ней первое место, господа родосцы, не думайте этого, ведь занимать первое место можно лишь среди живых людей, которые способны ощущать разницу между честью и бесчестьем,— между тем как дела эллинов ухудшаются и всеми путями идут к постыдному и жалостному упадку. Уже невозможно представить себе величие былых поколений, славу того, что они свершили и претерпели, глядя на их нынешних потомков. Камни, и те скорее свидетельствуют о значительности и величии Эллады, а равно и развалины строений,— тех же, кто в них селится и составляет гражданство городов, никто не счел бы даже потомками мисийцев! Право же, по моему мнению, городам лучше было бы окончательно вымереть, чем быть населенными таким образом» («Родосская речь», гл. 159—160). Это гневное и притом далеко не чуждое риторической взвинченности обличение современников заставляет вспомнить один эпизод из диалога Плутарха «Об упадке оракулов»: в главе 7 выведен весьма иронически изображенный киник Плантедиад, который начинает патетическую декламацию о всеобщей порочности («Стукнув палкой о землю дважды или трижды, завопил: «Ох уж, ох уж... сколько же развелось скверны!..»); его обрывает на полуслове другой участник диалога, в большой степени представляющий мнение самого автора,— дед Плутарха Ламприй. Мрачного пафоса, который господствует в «Родосской речи» Диона, Плутарх не понимал и не одобрял. Впрочем, и сам Дион не кончает свою речь суровым пожеланием гибели греческим городам, но предлагает позитивную программу культурно-нравственного возрождения для эллинов. Таким образом, и этот современник Плутарха не столь уж невосприимчив к иллюзиям века Антонинов.

- ²⁰ В этом отношении чрезвычайно характерна глава 3 «Наставлений государственному мужу», где Плутарх на многих конкретных примерах показывает, что политический деятель обязан возможно более четко представить себе моральное состояние управляемого им народа и считаться с ним как с данностью, ни в коем случае не пытаясь быстро изменять его по своему произволу (р. 799 В). Положение о том, что поступки правителя или законодателя не могут быть правильным образом оценены в отвлечении от конкретных условий, их вызвавших, очень четко сформулировано в ряде плутарховских «синкрисисов». Так, в сопоставлении Ликурга и Нумы («Нума», гл. 24, 1) мы читаем: «Различающиеся между собой прирожденные особенности и навыки тех народов, которыми каждому из них пришлось управлять, и мер потребовали различных...» Ср,

также: «Солон», гл. 16, 1—2 (о различии в условиях Солоновой и Ликурговой реформ); «Фабий Максим», гл. 28, 1; «Катон Старший», гл. 28; «Тит Фламиний», гл. 23, 2 (о качестве войск, которые были в распоряжении Филопмена и Тита); «Сулла», 39, 1; «Красс», 36; «Гай Гракх», 10, 1—2; «Брут», гл. 4—5.

²¹ В этом отношении особенно характерна речь 49, относящаяся к последнему периоду жизни Диона (см. № 257, стр. 396). Ее тема — долг философа перед общественной жизнью; подлинное призвание мудреца, по Диону, — «править людьми»: так он с наибольшей полнотой сможет принести пользу человечеству. Сами монархи обязаны повиноваться советам философа и принимать от него «царственную науку», а ему следует идти в этом им навстречу (ср. трактат Плутарха «О том, что философу надлежит вступать в беседы прежде всего с правителями»). Социально-этические мотивы преобладают во всем позднем периоде творчества Диона (ср. речи 38, 40, 41 и др.); то, что этот общественный пафос не был для Диона пустой фразой, он доказал своей смелой речью перед мезийскими легионами в сентябре 96 г. О связи его дальнейшей писательской деятельности с конкретными установками правительства Траяна см. № 257, стр. 324, 329, 385, 395—397, 437 и др., и № 247.

²² Как известно, в IV в. церковь перенимает функции и отчасти стиль работы органов полисного самоуправления (ср.: *Г. Л. Курбатов*, Ранневизантийский город. Антиохия в IV веке. Изд-во ЛГУ, 1962, гл. 7 и др.). Примечательно, что как раз наиболее видные представители церковной жизни того времени обращаются к творчеству Плутарха, по-видимому, усматривая в его социально-этических установках и практическом интересе к человеческой психологии нечто созвучное своим потребностям. Известно, что в основу сочинения Василия Кесарийского «О том, как молодые люди могут получить пользу от языческих книг» лег трактат Плутарха «О том, как юноше читать поэтов»; деловитый дух плутарховской педагогики, враждебный чистому эстетизму, хорошо соответствовал строго практическому мышлению знаменитого епископа. Диатриба Плутарха «О том, что не следует делать долгов», направленная против ростовщичества как социального зла, подрывающего внутреннее равновесие греческих полисов, внимательно изучается, перерабатывается и используется крупнейшими проповедниками патристической эпохи (гомиллии *κατά τοκιστών* Василия Кесарийского, Григория Нисского и Иоанна Златоуста; см. также № 177, стр. 948—949). В V в. большой интерес к сочинениям Плутарха проявляет Феодорит Киррский, о котором мы как раз знаем, что он был энергичнейшим практическим деятелем того же типа, что и Василий Кесарийский, много усилий отдававшим полисному благоустройству (см.: *Н. Н. Глубоковский*, Бл. Феодорит, епископ Киррский, т. I. М., 1890, стр. 33; *Г. Л. Курбатов*, Указ. соч., стр. 96—97).

²³ № 253, стр. 235—236.

- ²⁴ В этом отношении характерен юмористически поданный эпизод с киником Дидимом из диалога «Об упадке оракулов» (см. выше примеч. 7). Надо думать, что к сатире Лукиана (не случайно окрашенной в кинические тона — ср.: *И. М. Нахов*. Лукиан и киники (дисс.). М., 1954) Плутарх отнесся бы не иначе, чем к своему Дидиму.
- ²⁵ См. № 125, стр. 5; № 177, стр. 641.
- ²⁶ См., напр., «Очерки римской литературной критики». М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 39.
- ²⁷ Ср. № 253, стр. 240—241.
- ²⁸ Ряд характерных мест перечислен выше в примеч. 1 и 2. Биографию Арата Плутарх посвятил некоему Поликрату, который считал себя потомком знаменитого вождя Ахейского союза; во вступлении к этой биографии мы читаем: «Но если в ком ...высказывает себя прирожденное благородство отцов», по Пиндару, — как, например, в тебе, устрояющем свою жизнь по самому прекрасному из домашних образцов, — для того было бы подлинным счастьем вспомнить о доблестных предках, постоянно слушая о них и рассказывая самому. («Арат», I, 1). Плутарх придавал большое значение родовой, унаследованной от предков ἀρετή (ср. «О том, почему божество медлит с возмездием», гл. 19, р. 561 С — F; «О братской любви», гл. 8, р. 482 А). Пороки и даже внешние события жизни своих героев Плутарх любит объяснять ссылкой на нравы и судьбы их отцов (замечание о Гилиппе в 22 главе «Перикла» и о ксантийцах в 31 главе «Брута»). Все это предполагает особый «генеалогический» стиль мышления.
- ²⁹ Ср. № 177, стр. 641—642.
- ³⁰ Социальный контраст между благополучным херонейским гражданином и бывшим рабом Эпафродита был сознательно обыгран в одном диалоге Фаворина (упомянутом у Галена, кн. I, 41 К), действующими лицами которого были Эпиктет и раб Плутарха Онесим. Если учесть враждебное отношение философствующего софиста Фаворина к моралистической философии эпиктетовского типа, то «подтекст» подбора действующих лиц становится очевидным: свободнорожденному Плутарху просто не пристало вступать в диспут с Эпиктетом, и только его раб — достойный оппонент никопольского мудреца. Сам Плутарх (по крайней мере, в дошедших сочинениях) ни разу не упоминает своего знаменитого современника.
- ³¹ По утверждению Филострата («Жизнеописания софистов», кн. 2, 1, 1), Герод Аттик возводил свой род к Эакидам и считал своими предками Мильтиада и Кимона.
- ³² См. № 252, стр. 164—165 и 172—182. Полное имя софиста звучало как Тиберий Клавдий Аппий Атилиус Брадуа Регилл Аттик, и он был римским патрицием.
- ³³ См. № 255, стр. 220, 238 и др.
- ³⁴ Ср.: *G.-F. Hertzberg*. Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer. Halle, 1866, S. 292.

³⁵ Плутарх («О том, что не надо делать долгов», гл. 4, р. 829 А — В) сравнивает богачей-ростовщиков с персидскими полководцами времен нашествия Дария: «Дарий послал некогда Датиса и Артаферна с цепями и веревками для пленных в руках; вот так и они таскают с собой ящички с расписками и договорами — настоящие цепи для Эллады! От города к городу странствуют они и всюду сеют... зловецкие, плодovitые, цепкие корни долгов, которые удушают... целые города».

³⁶ Эврикл был крупным политическим авантюристом, вмешавшимся и в интриги двора Ирода Великого (*Иосиф Флавий*, «Иудейские древности», 16, 10, 1; «Иудейская война», 1, 26, 1—4), и в борьбу Октавиана и Антония (*Плутарх*, «Антоний», 67). В самой Греции он, по словам своих обвинителей, «грабил города» («Иудейская война», 1, 26, 4). Как и другие представители греческой плутократии этой эпохи, он соединял за хищническими операциями «эвергесии»: в Спарте он построил на свои деньги гимнасий, а в Коринфе — купальни (*Павсаний*, «Описание Эллады», кн. 3, 14, 16 и кн. 2, 3, 4).

³⁷ По рассказу Филострата («Жизнеописание софистов», 2, 1, 6), отец Герода завещал выдавать ежегодно каждому гражданину Афин по одной мине; Герод по договоренности с согражданами заменил это единовременной раздачей по пяти мин каждому, но когда те явились за деньгами, им были предъявлены их старые долговые обязательства семье Герода, так что большинство осталось ни с чем. Ср. также № 252, стр. 184—190.

³⁸ Ср. «О том, что не надо делать долгов», гл. 6, р. 829 Е.

³⁹ Ср. «Наставления государственному мужу», гл. 31. Эпиграфический материал (включая известный дистих на постаменте статуи Плутарха в Дельфах) также не содержит никаких сообщений об эвергесиях Плутарха.

⁴⁰ Род Диона был весьма богатым, но уже его дед работал на эвергесии свое состояние и вынужден был заново наживать его преподаванием риторики и придворной службой, в чем преуспел (*Дион*, речь 46, 3). Такой же была судьба отца Диона, Пасикрата; после его смерти на его наследниках лежал долг в 400 000 драхм (речь 46, 5), хотя, впрочем, покончив дела с кредиторами, они оказались достаточно состоятельными людьми, чтобы продолжать честолюбивые траты, к чему их обязывала семейная традиция (речь 45, 6). Настоящую нужду Дион узнал позднее — в изгнании; однако его имение в Прусе не было конфисковано и дождалось своего владельца, который тем временем зарабатывал себе пропитание физическим трудом и киническим нищенством (*Филострат*, «Жизнеописание софистов», кн. 1, 7). Эти резкие контрасты гордого богатства и суровой нужды очень своеобразно окрашивают жизненный опыт Диона и воздействуют на его социальное мышление, не меняя его основ (которые, в общем, те же, что и у Плутарха), но придавая ему такую остроту, страстно сть, тяготение к широковещательным пре-

- тезиям на реформаторство, которые совершенно чужды «херонейскому мудрецу».
- ⁴¹ *Плутарх*, «Демосфен», 2, 2.
- ⁴² *Плутарх*, «Кимон», 1, 1.
- ⁴³ *Плутарх*, «Римские вопросы», 16, р. 267 Е.
- ⁴⁴ По другой теории, ныне оставленной, Павсаний был уроженцем Сирии. Историю вопроса о происхождении Павсания см. у Кудрявцева, № 252, примеч. 1 и 2 к стр. 274.
- ⁴⁵ Πρώτος τῶν Ἑλλήνων («первый среди эллинов») — называет его ритор Фриних Аравий (р. 260).
- ⁴⁶ *Филострат*, «Жизнеописания софистов», кн. 2, 31, 1.
- ⁴⁷ *Элиан*, «Пестрые истории», кн. 2, 9.
- ⁴⁸ *Филострат*, «Жизнеописания софистов», кн. 1, 23, 1.
- ⁴⁹ Ср. знаменитое письмо Плиния Младшего к Максиму: «Помысли о том, что ты послан в провинцию Ахайю, в ту самую подлинную и беспримесную Грецию (illam veram et meam Graeciam), где, как верят, впервые изобретены образованность, словесность, даже хлебопашество...» и т. д. (кн. 8, 24, 2).
- ⁵⁰ Разумеется, лучше всего Плутарх знал Беотию: он жил в Танагре («Утешение к супруге», гл. 1, р. 608 В), в Теспиях и на Геликоне («О любви», гл. 2, р. 749 В); Дельфы были для него второй родиной. В Афинах он учился в молодости и регулярно посещал там Академию в зрелом возрасте («Пиршественные вопросы», 1, 1 и др.), равно как и места всеэллинских празднеств — Олимпию (там же, 4, 2) и Истмию (5, 3 и 8, 4). В Спарте он своими глазами наблюдал бичевание эфебов («Ликиург», гл. 18, 2). Как можно судить по отдельным упоминаниям в биографиях и в «Пиршественных вопросах», он бывал также в Фермопилах, в Платеях, на Халкиде, в Патрах и т. п.
- ⁵¹ «Демосфен», гл. 2, 1.
- ⁵² Ср. описание статуи Лисандра («Лисандр», 1) и Филопемена («Филопемени», 2) в Дельфах, описание портретов Арата, из которого явствует, что Плутарх видел их во всяком случае более одного («Арат», гл. 3), упоминание статуэтки Фемистокла, которая «еще в наше время» находилась в одном афинском храме («Фемистокл», гл. 22), копьё Агесилая в Спарте («Агесилай», 19), статуи Демосфена — в Афинах («Демосфен», гл. 31) и Фламинина — в Риме, «прямо напротив цирка, рядом с большой статуей Аполлона» («Тит», гл. 1), и т. п.
- ⁵³ В этом трактате Плутарх эффектно прерывает свое изложение: «Вы видите эту огромную и пеструю толпу? Она сошлась... не для того, чтобы принести Зенсу Аскрейскому лидийцев начатки плодов...» Во всяком случае, это отступление явно указывает на обстановку публичной речи. Два сочинения Плутарха — «Наставления государственному мужу» и «Об изгнании» — посвящены сардийским друзьям Плутарха (возможно, одному и тому же лицу).
- ^{53а} Ср.: *Плутарх*, «О любви к себе», гл. 15, р. 522 D.
- ⁵⁴ См.: *Лукиан*, «Евнух», гл. 3.

- ⁵⁵ Ср.: «Жизнеописание Аполлония Тианского», кн. 6, гл. 27, р. 242; «Жизнеописание софистов», кн. 1, 21, 2; «Письма», 70. Вопрос осложняется, правда, тем, что распределение литературной продукции между членами семейства Филостратов далеко не выяснено.
- ⁵⁶ Христианский писатель Евсевий Памфил («Против речей Гирокла об Аполлонии Тианском», р. 371, 13; р. 373, 5; р. 406, 29) трижды называет составителя биографии Аполлония «афинянином Филостратом». Рукописи писем Филострата также именуют его «афинянин».
- ⁵⁷ См. № 257, стр. 392 сл.
- ⁵⁸ Об этой индивидуальной особенности плутарховского стиля, способной иногда повести к недоразумениям, ср. № 177, стлб. 643, примеч. 1.
- ⁵⁹ См. там же, стлб. 653.
- ⁶⁰ Об особом характере этой школы в точных выражениях говорит Гирцель (№ 124, стр. 33—38). Тем не менее это был именно филиал Академии, где точно так же, как в Афинах, торжественно праздновался день рождения Платона («Пиршественные вопросы», кн. 8, 1, 1, р. 717).
- ⁶¹ Плутарх не может назвать более высокого примера гражданской добродетели, чем освобождение Фив («О том, что по предписаниям Эпикура невозможно жить даже приятно», гл. 17, р. 1099 С). Перед его беотийским патриотизмом отступает его антипатия к кинизму: ему принадлежала биография фиванского киника Кратета. Кроме того, Плутарх составил ныне утраченные жизнеописания фиванского героя Геракла, беотийских поэтов Гесиода и Пиндара, а также героя Даифанта, который почитался в соседнем с Херонеей Гиамполе; Гесиоду Плутарх посвятил обстоятельные комментарии, широко использованные позднейшими комментаторами Гесиода (Проклом. Цецем и др.), а Пиндара цитирует в своих сочинениях свыше 100 раз (по подсчетам Циглера, см. № 177, стлб. 917). Прокл (Схолии на «Труды и дни», 218) именует Плутарха «беотийствующим» автором (βεωτιάζων).
- ⁶² Как характерно это замечание! Какой еще автор римской эпохи был бы способен увидеть в том, что стоические философы жили вне родных полисов, нечто ненормальное?
- ⁶³ Так, для Арнима (№ 257, стр. 160, 312 и др.) Плутарх и Дион — однородные явления. Более проникательно судил Виламовиц, впрочем, никак не поясняя своего противопоставления обоих авторов друг другу.
- ⁶⁴ Ср. № 177, стлб. 657 и др.
- ⁶⁵ Это известно лишь из дельфийской надписи (SIG 1713 = Dytt. 3, 842).
- ⁶⁶ Ср. полемику против гиперкритического отношения к этим известиям у Циглера, № 177, стлб. 658 и к нему примеч. 1.
- ⁶⁷ Речь идет о той же надписи, что и в примеч. 65.
- ⁶⁸ Плутарху принадлежит особый трактат «О том, что философу надлежит беседовать прежде всего с правителями».

- ⁶⁹ Ср. № 177, стлб. 658. Менее убедительно другое объяснение, предложенное Циглером: Плутарх в последние годы жизни будто бы настолько ушел в политическую деятельность, что просто не имел времени для литературных занятий, а следовательно, и случая упомянуть о своих новых делах. При всей неясности хронологии трудов Плутарха все же очевидно, что достаточно значительную их часть приходится датировать как раз последними годами жизни автора (ср. № 177, стлб. 708—716 и др.).
- ⁷⁰ Сам Плутарх везде пишет Σόσσιος; там, где речь об этом лице заходит в связи с упоминанием его имени в «Параллельных жизнеописаниях», мы придерживаемся орфографии Плутарха.
- ⁷¹ Ср.: «О том, следует ли старику заниматься государственными делами», гл. 12, р. 791 А (Полибий назван как образец хорошего политического деятеля, сумевшего научиться своему делу у Филомена); «Наставления государственному мужу», гл. 18, р. 814 С (Полибий сумел употребить дружбу со Сципионом во благо своей родине). Можно еще привести место в том же духе из «Изречений царей и полководцев» («Изречения Сципиона Младшего», 2, р. 200 А), хотя принадлежность этого сборника Плутарху сомнительна.
- ⁷² Старый русский переводчик Платона делает к упоминанию в тексте «Государства» имен Главкона и Адиманта наивное примечание: «Судя по тому, как в этой книге изображаются нравственные их свойства, надобно полагать, что Платон любил их...» («Сочинения Платона», переведенные с греческого и объясненные проф. Карповым, ч. III. Изд. 2. СПб., 1863, стр. 51, примеч. 1). Более определенно не позволил себе выразиться даже этот простодушный комментатор.
- ⁷³ Ср. № 177, стлб. 645—646.
- ⁷⁴ Между тем Плутарх удостоил литературного памятника не только своих братьев, деда, отца и сыновей, но также и свою жену Тимоксену. Два сочинения Плутарха («О подвигах женщин» и «Об Исиде и Осирисе») посвящены знакомой матроне — жрице Клее. Что мог бы сказать об этом человек эпохи Платона? Плутарх откровенно полемизирует со взглядами греческой классики, когда оспаривает известную сентенцию Фукидида (вложенную в уста Перикла) о том, что лучше всего, когда женщина не подает повода ни хулить, ни хвалить себя («О подвигах женщин», вступление, р. 243 А).
- ⁷⁵ Плутарх часто именует Платона «божественным» ὁ θεῖος Πλάτων (напр., «О том, как можно извлекать пользу из врагов», гл. 8, р. 90 С). Поведение Платона постоянно выставляется как пример для подражания («О воздержании от гнева», гл. 16, р. 463—464; «О позднем возмездии божества», гл. 5, р. 551 А; «Против Колота», гл. 2, р. 1108 А; «О слушании», гл. 6, р. 40 С; «О том, как можно извлекать пользу из врагов», гл. 5, р. 88 Е и др.).

⁷⁶ Требование, чтобы человек состоял только в одном супружестве на протяжении всей своей жизни, т. е. осуждение не только двоеженства, но и брака после вдовства, известно в языческой греческой литературе лишь в применении к женщине (напр., *Павсаний*, «Описание Эллады», кн. 2, гл. 21, 7, со ссылкой на обычаи старины). Напротив, в раннехристианской литературе (например, в так называемых «пастырских» посланиях апостола Павла) заповедь «быть мужем единственной жены» обращена к мужчине.

⁷⁷ Сопоставление с Толстым в большей степени историко-литературно обосновано, чем это может показаться на первый взгляд. Толстой воспринял традицию плутарховской интимности из рук таких «плутархианцев», как Монтень и особенно Руссо. Роль Руссо в духовном и литературном формировании Толстого общеизвестна; между тем Руссо не только восхищался героическим пафосом «Параллельных жизнеописаний», но с особенным интересом относился к их бытовой детализации. В «Эмиле» (т. 3, кн. 4) мы читаем: «...Плутарх бесподобен как раз в таких подробностях, в которые мы не отваживаемся входить. Есть неподражаемая грация в том, как он рисует великих людей через малое... Агесилай верхом на палке заставляет меня полюбить победителя царя персов...; природа (*le naturel*) раскрывается именно в безделках...» Это замечание очень наглядно показывает, в чем именно Руссо опирался на литературный опыт Плутарха. Плутарх, Руссо и Толстой (о месте «мысли семейной» в творчестве последнего см.: *В. Кирпотин*. Типология русского романа.— «Вопросы литературы», 1965, № 7, стр. 104—129) в различных историко-литературных ситуациях работали над аналогичной задачей обновления литературы за счет внедрения сгущенно интимного, «домашнего» материала. При этом, если Плутарх был отдаленным предшественником для Монтеня, Руссо и Толстого, то сам он имел предшественника в лице горячо любимого им Менандра (ср. «Сопоставление Аристофана и Менандра» и отрывок «О любви», дошедший у Стобея, 43, 34). Об интенсивном использовании семейно-бытового материала у Менандра см.: *А. А. Тахо-Годи*. О некоторых особенностях языка и жанра комедии Менандра «Дискол» («Ненавистник»).— В кн.: «Вопросы классической филологии», вып. I, МГУ, 1965, стр. 68—70).

⁷⁸ Ср.: *E. Grumach*. *Physis und Agathon in der alten Stoa*. Berlin, 1932; *H. und M. Simon*. *Die alte Stoa und ihr Naturbegriff*. Berlin, 1956. При этом важно отметить, что для Плутарха идеал естественности не включал в себя никаких реформаторско-опростительских тенденций, столь важных для Диона Хрисостома («диогеновские» речи 6, 8, 9, 10; «Эвбейская» речь 7 и др.).

⁷⁹ См. № 252, стр. 118—136; Штаерман (*Е. М. Штаерман*). Кризис рабовладельческого строя в провинциях Римской империи в III веке. М., 1957, стр. 258 сл. и 384 сл.) убедительно показывает, сколь практически

жизненной была проповедь полисной солидарности еще во времена Филострата («Жизнеописание Аполлония Тианского», кн. 1, гл. 15, кн. 6, гл. 2 и др.) и Апулея (кн. 2, «О Платоновом учении»).

- ⁸⁰ Это место заставляет вспомнить однородный по настроению отрывок из комедии Менандра «Подкидыш» (фрагм. 416—482 по изданию Керте). Предлагаем этот фрагмент в нашем переводе:

Ах, Парменон, вот счастье несравненное:
Уйти из мира, наглядевшись досыта
На милые стихии: Солнце, милое
Всему живому! Звезды, реки, неба свод,
Огони! Живет ли человек столетие
Иль малый срок — он эти знает радости,
А ничего святее не увидит он.

- ⁸¹ В подлиннике игра слов: *τλευτήν τελειοτάτην*.
- ⁸² См. Дильс, А 166 и 167, В 2^с и 3, С 7. Сам Плутарх ссылается на Демокрита в начале 2^й главы трактата (р. 465 Е). Вообще говоря, Плутарх относится к Демокриту с немалым почтением и симпатией (ср. «Против Колота», гл. 3, р. 1108 Е, где говорится, что от Демокрита исходили «прекрасные и пристойные назидания»). О демокритовской концепции «эвтимии» см.: А. Ф. Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, стр. 473—479.
- ⁸³ К этому надо добавить, что все попытки видеть в трактате Плутарха механический пересказ одного источника, будь то Панетий, Бион, Аристон Хиосский или философы эпикурейской школы, обнаружили свою несостоятельность (ср. № 177, стлб. 787—788, где дана и библиография вопроса). Не подлежит сомнению, что Плутарх переработал целый ряд сочинений на эту популярную в античной моралистической литературе тему, фигурирующую, в частности, у Сенеки.
- ⁸⁴ Монтеню принадлежит, между прочим, очень содержательное сопоставление различных типов морализма у Плутарха и Сенеки, которое до сих пор не утратило своей поучительности (II, 10): «Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества, Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких» (*М. Монтень*. Опыты, кн. 2, под ред. Ф. А. Когана-Бернштейна. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 101).
- ⁸⁵ Такой близкий к Плутарху современник, как Фаворин (о дружбе между Фаворином и Плутархом см. № 177, стлб. 675), видел в нем прямого оппонента Эпиктета (ср. примеч. 30).
- ⁸⁶ Речь заходит о доктрине Платона («Тимей», р. 91 А), согласно которой вышита человеком влага идет не по пищеварительному тракту, а через легкие. Это мнение было давно опровергнуто греческой медициной, что не мешает Плутарху резонерским тоном заметить: «Не следовало бы так самоуверенно спорить с философом,

первенствующим по славе и силе мысли, относительно неясного предмета...» (р. 700 В). Такой же платонический догматизм мы встречаем и в диалоге «Об «Е» в Дельфах», гл. 15, р. 391 С.

- ⁸⁷ Заметим, что Плутарх при всем своем благоговении перед Платоном не может удержаться от неодобрительных замечаний в адрес его нежизненного ригоризма. В декламации «Об удаче или доблести Александра», 1, гл. 5, р. 328 С — 329 А идет речь о том, что законы Платона служат только предметом чтения в узком кругу его почитателей, в то время как социальное реформаторство Александра принесло практические плоды.

О знакомстве Плутарха с перипатетической литературой см. № 177, стлб. 922. «Ламприев перечень» называет под № 56 комментарием на топику Аристотеля, составленный Плутархом в 8 книгах, и под № 53 — экзегетический трактат «О «Политике» Феофраста». В перипатетической обработке воспринял Плутарх платоновскую психологию, которую он энергично противопоставляет стоической прямолинейности (ср. «О нравственной добродетели», особенно гл. 12). Сильнейшее влияние психологических штудий Аристотеля («Никомахова этика», кн. 2, 1108 А, 27; 8, р. 1159 В, 12) и Феофраста («О дружбе») давно установлено для трактатов Плутарха «О том, как отличить льстеца от друга» и «О том, следует ли иметь много друзей» (ср. № 177, стлб. 802—803, где, впрочем, смысл этого факта несколько недооценен). Совершенно особая проблема — влияние перипатетической этики и психологии на внутреннюю структуру «Параллельных жизнеописаний», показанное А. Диле и К. Бергеном (о чем шла речь во введении).

- ⁸⁸ Ср. № 287, стр. 175—218; № 117; № 177, стлб. 939—940.

- ⁸⁹ Маркс отмечает по этому поводу, что полемика Плутарха против эпикуровского вольнодумства «не является чем-то единичным, но характерна для определенного направления, очень отчетливо выражая отношение теологизирующего рассудка к философии». См. № 2, стр. 24.

- ⁹⁰ Вообще говоря, египетская религия была для эллино-традиционалиста эпохи Плутарха более близкой и приемлемой, нежели прочие «варварские» религии Востока. Это остро чувствуется у Павсания, который охотно говорит о египетских мифологемах. Такое явление легко понять: Амону греки поклонялись еще во времена Пиндара, о египетских богах писал еще Геродот, еще Платон беседовал с саисскими и гелиопольскими жрецами. Но интересен другой момент, на который, насколько нам известно, исследователи не обращали внимания. Трактат «Об Исиде и Осирисе» написан дельфийским жрецом по просьбе дельфийской же жрицы. Это наводит на мысль о той дельфийско-египетской полярной структуре, которая присуща религиозному миру «Эфиопик» Гелиодора, где героиня изображается

как ипостась одновременно Артемиды и Исиды (начиная с главы 2 книги I), где египетский жрец Каласирид совершает некое паломничество в Дельфы (кн. 2, гл. 26) и т. п. (мы обязаны указанием на соотношение Дельф и Египта у Гелиодора Н. П. Зембатовой, которая разрабатывает эту тему в своей диссертации). Может быть, в эпоху Римской империи между дельфийскими и египетскими жрецами действительно существовал некий особый контакт? Это могло бы относиться не ко всему храмовому сообществу Дельф в целом, но к каким-то кружкам с религиозно-философскими интересами, конституировавшимся в рамках дельфийских культовых организаций (такого рода «богоискателей» нетрудно представить себе по «пифийским» диалогам Плутарха, и к ним, без сомнения, принадлежала Клея). Ср. № 147; № 160.

⁹¹ О соотношении между Плутархом и новозаветным христианством см. № 99 (эта книга — образцовое собрание материалов, не претендующее на выявление общего стиля плутарховского и христианского мировоззрений). Ср. также № 177, стр. 944—945.

⁹² Ср. такие антитрадиционалистские места у Сенеки, как «Письма», 95, 47; 41, 1 (специально критика культа); 95, 50; 88, 37 (порицание антикварных штудий), фрагменты 121, 123 и др.

ГЛАВА II

ПОДХОД ПЛУТАРХА К ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

ПЛУТАРХ МЕЖДУ МОРАЛИЗМОМ СТОИЧЕСКОГО ТИПА И ВТОРОЙ СОФИСТИКОЙ

Итак, мировосприятие Плутарха уже по самой своей внутренней специфике не могло до конца и с достаточной адекватностью выразить себя одними только средствами философствования, будь то философствование умозрительное или моралистическое. Для своего полного раскрытия оно нуждалось и в ином средстве: в том, что мы в настоящее время называем литературным творчеством. Дополнять философское объяснение жизни пластичным изображением жизни Плутарха побуждала внутренняя необходимость. Здесь дело не просто в том, что Плутарх был наделен личной литературной одаренностью, которая искала для себя выход: она могла бы найти этот выход в пределах моралистической паренезы, не обращаясь к нарративным формам (как это произошло в случае Сенеки, которому ведь тоже нельзя отказать в большом литературном таланте). Мы еще раз повторяем, что само мышление Плутарха со своими характерными особенностями — недостаточной абстрактной четкостью и в то же время приверженностью к историческим или житейским данностям — толкало его к повествовательной «беллетристике». В той мере, в которой у Плутарха действительно есть по-настоящему своя философия, своя картина мира, она раскрывается в «Параллельных жизнеописаниях» не в меньшей (если не в большей) степени, чем в его специальных трактатах, и определяется это имманентными свойствами самой этой философии — ведь нельзя же представить себе, чтобы учение современника Плутарха Эпиктета или того же Сенеки могло выразить себя через исторический материал, в эпически-благодушной

повествовательной форме. Если устремление к утопии исключает любовь к истории, а ригористическая проповедь плохо вяжется со спокойным любобпытством к делам человеческим и к жизни, какова она есть, то для морализма Плутарха определяющими оказываются как раз эти, противоположенные для стоического морализма, черты, поэтому он не может в полной мере реализовать себя без исторической тематики и нарративного к ней подхода.

Во французской моралистической прозе XVI—XVII вв., во многом изоморфной соответствующим формам позднеантичной литературы, некоторой аналогией плутарховскому типу писателя является Монтень, а параллелью ригористам-стоикам — Паскаль¹. Как часто Монтень теряет нить своего рассуждения и углубляется в непринужденное нанизывание рассказов, которые отнюдь не подводят читателя к какому бы то ни было окончательному выводу, но все же в своей совокупности обогащают и углубляют контроверзу². Напротив, атмосфера «Мыслей» Паскаля, где дело все время идет о немедленных и притом окончательных ответах на кардинальные вопросы человеческого бытия, — эта страстная и напряженная атмосфера безусловно исключает подобную щедрость на повествование³.

Так или иначе, однако, ситуация Плутарха, приведенного логикой своего творческого пути к нарративным формам, в некотором отношении оказалась двойственной. По собственному жизненному самоопределению (четкость которого была, правда, существенно ослаблена тем отращением Плутарха ко всякому профессионализму, о котором говорилось выше) он был философом, представителем определенной школы. Разумеется, в античном словоупотреблении термин *φιλόσοφος* имел достаточно широкое значение⁴, так что работа Плутарха над естественнонаучными или историко-антикварными сочинениями (типа «О лике, видимом в диске луны», «О первом холоде» и «Физических причин» — с одной стороны, «Греческих причин», «Римских причин» и «Пиршественных вопросов» — с другой) не вносила существенных осложняющих нюансов в его общест-

венный статус. Впрочем, отношения между чистой моралистической философией и антикварно-филологической ученостью были в первые века нашей эры не особенно гармоничными (достаточно вспомнить колоритную ссору Кинулка и Миртила у Афиняя, XIII, 610 А и далее). Но это было еще не так серьезно. С повествовательными сочинениями дело обстояло сложнее; здесь в игру вступала старая отчужденность между философией и *риторикой*.

Как известно, античное мышление, не знавшее твердых границ между беллетристикой и научной прозой, не выработало понятия, которое точно соответствовало бы нашему термину «художественная литература». Если речь шла о тексте, для которого недостаточны узко утилитарные критерии, во главу угла неизменно клалось понятие риторики: художественная проза — это проза риторическая. Отсюда характерный для античной литературной теории тезис о том, что историография — это риторический жанр (по мнению Цицерона, даже «наиболее риторический» — *genus maxime oratorium*). При этом историографию прикрепляли специально к практике риторической «диэгесы» (*διήγησις*); в этом отношении показательно замечание Феона («Прогимназмы», 1⁵), что история есть «не что иное, как сочетание диэгес» (*σύνθεμα τῶν διηγημάτων*), что поэтому ритор, набивший себе руку на судебных делах, без малейшего труда справится и с историческим сочинением. Все прогимнастики, равно как и теоретики типа Цицерона или Квинтилиана, единодушно рассматривают историческое сочинение как нечто без остатка сводимое на сумму риторических элементов ⁶ и закономерно подпадающее под риторические же критерии оценки ⁷. Такой взгляд в достаточной степени отвечает реальной практике античной историографии; даже Фукидид, среди всех ее представителей в наибольшей степени соответствующий нашему представлению о «научном» подходе, был в то же время блистательным мастером риторического изложения, отнюдь не по недоразумению снискавшим восторженный энтузиазм инициаторов аттицистского движения во времена Дионисия Галикарнасского ⁸, а позднее — симпатии такого

ритора до мозга костей, как Либаний⁹. Потребность вывести историческую прозу из сферы риторики возникла лишь у немногих, причем это были люди, сознательно шедшие против течения (излишне говорить, что в их руках историческая проза переставала быть не только риторической, но и художественной). Но даже если обратиться к самому видному и последовательному представителю этой линии, а именно к Полибию, которого тот же Дионисий Галикарнасский считает нужным пренебрежительно третировать¹⁰, то очевидно, что инерция риторического подхода сохраняла свою власть даже над ним; в этом отношении особенно показательно даже не то, что он вопреки своим же собственным декларациям (XII, 25) вводит в изложение речи действующих лиц (например, XXXI, 7), но прежде всего чисто риторическая теория экскурса, которую он выводит из формального принципа *τοιμλία* в полном единодушии с прогимнастической литературой (XXXIX, 1—2).

Таким образом, когда Плутарх создавал свои повествовательные беллетристические сочинения (среди которых, помимо «Параллельных жизнеописаний», следует отметить прежде всего «Подвиги женщин»¹¹), он, согласно понятиям своей эпохи, вступил, оставаясь философом-моралистом, в домен риторики.

Отношения между философией и риторикой в рамках греческой культуры никогда не были мирными; их спор о первенстве восходит к эпохе Исократа, с одной стороны, Платона и Аристотеля — с другой¹². Какими стали эти отношения к эпохе Плутарха?

В специальной литературе достаточно распространена точка зрения, согласно которой именно в эту эпоху — иначе говоря, в период зарождения и распространения так называемой второй софистики — всякое напряжение между философией и риторикой якобы снимается¹³. Аргументом здесь служит тот известный факт, что в движении второй софистики сама риторика осваивает для себя философско-моралистическую топику и проблематику. Чтобы отвести этот аргумент, достаточно вспомнить положение в IV в. до н. э.; ведь никто

не станет отрицать, что в эту эпоху, как раз и положившую начало всем позднейшим столкновениям философов и «софистов», положение было весьма острым. Однако мы видим, что Исократ, отстаивая риторический идеал духовной культуры (*παιδεία*), выставляет претензии на то, что его риторика и есть истинная *φιλοσοφία*, универсальная система «мудрости» и этики¹⁴. Равным образом, те самые философы, которые были инициаторами борьбы — т. е. Платон (как автор «Федра» и «Горгия», на значении которых для всей последующей критики феномена риторики мы еще остановимся ниже) и особенно Аристотель, — самым серьезным образом работали над теоретическим конструированием «истинной» риторики¹⁵. Очевидно, что ни в случае Исократа, ни в случае Платона и Аристотеля такая тактика отнюдь не знаменовала собой шага к примирению; напротив, дело шло о том, чтобы дать врагу бой в его собственных пределах. Подобная позиция характерна для поборников риторики и позднее; так, Дионисий Галикарнасский именует риторическое искусство *πολιτικὴ φιλοσοφία* (в характерном заглавии утраченного полемического трактата «В защиту политической философии против несправедливо нападающих на нее»¹⁶). Вообще говоря, было бы наивно представлять себе борьбу греческой философии и греческой риторики всего лишь как столкновение двух профессиональных групп, которым достаточно было бы преодолеть цеховую узость и замкнутость, чтобы причины для конфликта отпали сами собой; напротив, вся серьезность и напряженность этой борьбы как раз тем и определялись, что в спор вступили две универсальные концепции духовной культуры, стремившиеся все освоить и подчинить себе. Именно потому, что риторика хотела быть в то же время «истинной» философией, а философия — «истинной» теорией красноречия, они не могли примириться друг с другом иначе, как перед лицом некоторого третьего принципа, первенство которого они обе согласились бы признать; пример этого случая — Юлиан Отступник, который на исходе классической древности мог быть адептом одновременно и философии, и риторики, ибо в его сознании

обе эти сферы были в равной мере соподчинены некоей более общей религиозно-культурной идее «эллинизма» (Ἑλληνισμός). Но сам по себе факт узурпации «софистами» исконных тем моралистической философии еще не создавал предпосылок для примирения, а скорее переводил спор в новую плоскость.

Перейдем от общих соображений к конкретным документам, характеризующим взаимоотношения философии и риторики в первые два столетия нашей эры. Начнем с философии. Достаточно известно, что моралисты стоического типа развивают в эту эпоху (особенно в I в. н. э.) огромную пропагандистскую активность и в своих «протрептических» выступлениях систематически вступают в конкуренцию с декламациями раторов; философия становится эксотеричной и борется за успех у широкой публики, а в лице Сенеки ассимилирует рафинированнейшую литературную технику. Но приближает ли это ее к риторике, если брать последнюю не как набор приемов, но как целостную систему *paidéia* (применительно к античной риторике только такой подход и правомерен)? Тот же Сенека находит нужным в самых энергичных выражениях отмежевываться от той комбинации эстетизма и энциклопедического полигисторства, которые составляют самую суть грекоримской «софистики»¹⁷; в этом смысле особо показательно его 88-е письмо к Луцилию, носящее в изданиях подзаголовок «О том, что свободные искусства не суть благо и нисколько не способствуют добродетели». Но еще более наглядна и бескомпромиссна позиция того современника Плуларха, которому удалось выразить дух позднестоического морализма в его наиболее законченном варианте—Эпиктета. Среди записей Арриана¹⁸ мы встречаем диатрибу, специально озаглавленную «К тем, кто выступает с публичными чтениями и рассуждениями» («Πρὸς τοὺς ἀναγιγνώσκοντας καὶ διαλεγόμενους ἐπίδεικτικῶς», Diss. III, 23). Эпиктет зло вышучивает профессиональный тип виртуоза элоквенции с его тщеславием, нервностью, легкомыслием (9—12) и готовностью льстить власть имущим (13—16); он особенно настаивает на том, что красноречие не есть благо (т. е. нрав-

ственное благо), но всего лишь *ἀδιάφορον* — «безразличное» (23—24). Ирония никопольского моралиста подчас приобретает агрессивный характер: «И в самом деле, милое занятые — подбирать словечки, складывать их в сочетания, красиво читать или произносить рассуждение, а когда читает другой, перебивать его выкриками...» (26). И все же Эпиктет готов допустить существование риторики как сугубо замкнутой профессии, аналогичной практическому занятию музыкой (25). То, против чего он выступает с абсолютной категоричностью, — это как раз философские претензии «софистов»; философствующая риторика для него смертельный враг философии. Он протестует против универсалистских тенденций «софистики», с плебейской резкостью ставя в пример тем, которые хотели быть риториками и философами одновременно, столь презираемый ими профессионализм ремесленника: «Если ты плотник, у тебя одни навыки, если кузнец — другие... Если ты музыкант — будь музыкантом; если плотник — будь плотником; если философ — философом; если ритор — ритором» (там же, 3 и 5). Никаких возможностей для синтеза философии и софистики Эпиктет не видит и не желает¹⁹. И он не одинок в этих своих настроениях; он уверенно ссылается не только на старые авторитеты вроде Сократа, Зенона и Клеанфа (там же, 32), но и на Мусония Руфа, т. е. на представителя той самой волны морализма, которая выдвинула и его самого (там же, 29). У Эпиктета были не только предшественники, но и последователи; до тех пор, пока еще жив был тот специфический стиль философствования, представителем которого он был, сохранялась и ригористическая нетерпимость по отношению к риторическому эстетизму. Марк Аврелий считает необходимым поблагодарить Рустика за то, что тот внушил ему пренебрежение к «софистическому честолюбию» (*ζήλος σοφιστικός*), научил «держаться подалее от риторики, поэтики и красноречия» и не вдаваться в эпистолярные ухищрения («К самому себе», I, 7). *Σοφιστής* и *σχολαστικός* — для него худшие ругательства (I, 16, 17, ср. также I, 17, 22; VI, 30, 8; VII, 66, 2). Его главный литературный принцип, внутренне со-

отнесенный со всем строем его этики, — «не украшать свою мысль внешним изяществом» («К самому себе», III, 5, 1). В этом последователь Эпиктета вполне верен своему образцу. Это же специфическое недоверие к словесной эlegantности мы встречаем и у более поздних представителей философской литературы²⁰.

Что касается риториков, то и они не оставались в долгу. Уже само название литературного течения «вторая софистика» (или «новая софистика»), фигурирующее у Филострата (*vitae soph.*, p. 2), но, очевидно, распространенное и до него²¹, говорит о многом. После всего, что сделал Платон для дискредитации таких столпов «древней» софистики, как Горгий, Гипсий и т. п., употребив для этого всю весомость своего авторитета и всю силу своего литературного гения, представители второй софистики демонстративно объявляют себя наследниками именно этих авторов. Геродотти канонизирует такую одиозную фигуру, как Критий. Филострат предпринимает систематическую реабилитацию Горгия, причем следует в этом отношении устойчивым традициям того литературного течения, к которому он принадлежал; его собственный учитель Прокл из Навкратиса ἰπλιάζοντι τε ἐφχει καὶ γοργιάζοντι («смахивал на гиппианствующего и горгианствующего» — «Жизнеописания софистов», II, 10, 6) исповедовал культ Горгия и Скопелиан (там же, I, 21, 5). Платону Филострат мстит по-своему, зачислив и его в ряд подражателей Горгия (Письма, 73); трудно было бы вести себя по отношению к философским авторитетам более вызывающе. Отметим для дальнейшего, что в ходе этих споров об оценке наследства Горгия Филострат нападает, между прочим, специально на *Плутарха*. «Убеди же, о царица, — обращается он к своей покровительнице Юлии Домне в том же 73 письме, — Плутарха, наглейшего из эллинов, не враждовать с софистами и не клеветать на Горгия; если же тебе не удастся его убедить, ты сама при твоей мудрости знаешь, какого имени он заслуживает, а я и назвать его по достоинству не умею!»²²

Демонстративный пересмотр унаследованных от Платона оценок характеризует все течение вто-

рой софистики в целом. Элий Аристид посвятил такому пересмотру две свои речи, необычные по своему объему и по своей горячности²³: «В защиту четырех против Платона»²⁴ и «О риторике»²⁵. В первой из этих речей опротестована платоновская оценка четырех вождей демократии (Мильтиада, Кимона, Фемистокла, Перикла), во второй — платоновская оценка красноречия; пафос обеих речей — в утверждении неспособности философии правильно судить о вещах и в прославлении риторики как истинной *φιλοσοφία*, способной сполна удовлетворить те запросы, которым идет навстречу философский морализм. Столь умный и тонкий читатель, как Синесий, видел в этих речах не простое упражнение в элоквенции, но серьезный документ вражды к философии и философам, некую параллель к «Лягушкам» Аристофана²⁶.

Однако эта полемика, по внешности продолжающая споры IV в. до н. э., отличается такой горячностью и серьезностью, что заставляет предпологать в качестве своей подоплеки столкновение взаимоисключающих точек зрения по иным, более злободневным вопросам. Конечно, не следует забывать того, что профессиональные столкновения философов и риториков диктовались самой структурой греческой *παιδεία*. С другой стороны, так называемое греческое Возрождение первых веков н. э. принадлежало к таким эпохам, когда самые актуальные декларации делаются лишь как бы «по поводу» освященных традицией тем. Платон и Горгий, как весьма репрезентативные фигуры, прекрасно подходили для того, чтобы служить объектами разного рода демонстраций; однако трудно представить себе, что разгоравшиеся вокруг их имен страсти до конца, однозначно относились к ним самим. Едва ли также нападки из «софистического» лагеря метили в первую очередь в философию «вообще», в философию как таковую. В конце концов, для подавляющего большинства представителей второй софистики характерны более или менее серьезные философские интересы; даже такие риторы, как Элий Аристид и Филострат²⁷, не были чужды им. По-видимому, подлинным врагом второй софистики была не философия, не Платон, но специально

тот особый тип моралистического философствования, который связав с именами Мусония Руфа, Эпиктета и других представителей стоического движения I в. Так, современник и соперник Плутарха Дион Хрисостом до своего «обращения» к философии внес существенный вклад в софистическую полемику двумя своими речами, написанными, по уверению читавшего их Синесия (до нас они не дошли), не только с полной серьезностью, но и достаточно агрессивно (*Synes., Dio, I, 9*)²⁸; если одна из этих речей имеет заголовок более или менее общего характера — «Против философов» («*Κατὰ τῶν φιλοσόφων*»), а не «*Κατὰ τῆς φιλοσοφίας*»), что и здесь заставляет предполагать конкретных адресатов Дионовой инвективы, то другая озаглавлена «Против Мусония» («*Πρὸς Μουσώνιον*»). Но и ученик Диона Фаворин, с гораздо большим пиететом относившийся к философии, чем его учитель в пору создания упомянутых выше речей, и сам занимавшийся серьезными философскими штудиями в духе академического скепсиса²⁹, тоже написал памфлет против Эпиктета в диалогической форме (ответом на этот ныне утраченный диалог служило также утраченное сочинение Галена «В защиту Эпиктета против Фаворина»³⁰). Описанные Лукианом в его «Демонакте» столкновения между знаменитым киником и Фаворином также свидетельствуют о враждебности, существовавшей между стоико-киническим миром и миром философствующей софистики³¹. Выпады против Эпиктета мы закономерно встречаем и у Филострата (*Epist., XXII, XXIII*).

В общей перспективе социальных судеб ранней империи причины, по которым выкристаллизовались и стали в оппозицию друг к другу «эпиктетовский» и «филостратовский» типы духовной культуры, оказываются достаточно прозрачными. Напряженные моралистические искания, захватившие в I в. н. э. самые различные слои общества — от сенатской аристократии, для которой разрабатывал свои поучения Сенека, до низов, составлявших аудиторию уличных проповедников стоицизма или кинизма, — были порождены кризисной общественной ситуацией становления цезаризма. Новые политические отношения почти

повсюду вызывали пассивное недовольство; но даже для тех умов, которые им служили (как Сенека), они были не само собой разумеющейся данностью, но проблемой. Если угодно, цезаризм вплоть до эпохи Антонинов был проблемой для самого себя, чем объясняется многообразие кровопролитных политических экспериментов от Тиберия до Домициана. В этой обстановке скольконибудь серьезный морализм должен был принять сугубо критическую позицию в отношении жизненной реальности. Мыслитель беретя *судить* мир, судить строго и нелицеприятно, готовясь засвидетельствовать эту нелицеприятность мученичеством. Вопрос о том, πῶς ἔχειν δεῖ πρὸς τοὺς τυράννους («как следует вести себя перед лицом тиранна»), волновал в I в. не одного Эпиктета, и сочинение мужественных сентенций на случай разговора с «тиранном» стало на некоторое время основным занятием философских школ (традиция была настолько устойчивой, что античных критиков христианства всерьез возмущало отсутствие подобных фраз в евангельском рассказе о поведении Иисуса перед лицом Пилата — ведь мудрецу именно в такой ситуации следует наглядно продемонстрировать свою мудрость³²). В эту эпоху любой, даже вполне лояльно настроенный философ чувствовал себя призванным к суду над действительностью просто в силу своей профессии. По-своему это признавали и власти, усматривая для себя опасность не в деятельности определенных мыслителей или школ, но в самом существовании философской пропаганды как таковой; поэтому и репрессивные меры могли, как известно, распространяться на всю категорию «философов» в целом.

Тип стоического философствования, культивировавшийся на протяжении всего I в. н. э., предопределен этой общественной ситуацией. Мыслящим людям греко-римского мира в эту эпоху безусловно важным представляется одно: заново обрести правильную линию человеческого поведения в условиях развала всех этико-социальных норм и ценностей. Долг сделать это, «рассудить» запутавшееся в безнадежных ошибках человечество возложен на философа; в это одинаково верит

и он сам, и его аудитория. При этом сфера философии оказывается суженной и обедненной; ни спекулятивная диалектика, достигшая вершины в эпоху полисной классики, ни эмпирический энциклопедизм, процветавший в условиях эллинизма, никому не imponируют. Философия сама сводит себя к чистому морализму, и притом морализму весьма жесткому, доктринерскому, императивному; терпимость или широта плохо согласовывались бы с позицией сурового и непреклонного судьи своего века (по характерному заявлению Эпиктета, слушатель должен выходить с лекции философа в глубоком сокрушении о собственной гнусности³³). Но ценой такой редукции философии удается на время повысить свою социальную жизненность: для эпохи первых цезарей философ-моралист — подлинный властитель дум (достаточно представить себе общественный резонанс, который получала деятельность людей типа Мусония). Моралистическая философия властно становится в центре духовной жизни и прежде всего подчиняет своим установкам литературу. В книге читатель этой эпохи ищет прежде всего моральных прописей; чем обнаженнее ему преподносится дидактическое содержание, тем лучше.

Этот дух времени определяет и формальный облик литературной продукции. Пересекая жанровые перегородки, по всей литературе эпохи ранней империи проходит влияние так называемой диатрибы (*διατριβή, ὀμιλία*)³⁴. Форма диатрибы, вышедшая из рук киников (особая роль в ее разработке принадлежит Биону Борисфенитскому³⁵) и ставшая к этому времени универсальной формой популярного моралистического философствования, оказывается надолго важнейшим ферментом всего литературного развития в целом; ареал усвоения приемов диатрибы простирается от римской сатиры³⁶ до раннехристианской проповеди³⁷. Родовые черты диатрибы — установка на критическое отношение к миру, стремление к острой постановке радикальных этических вопросов и к бескомпромиссному их решению, перевес откровенной дидактичности над прочими элементами литературного целого (т. е. прежде всего над описанием и повествованием), напряженная и суховатая, но в то же

время живая и раскованная интонация, обыгрывание живого «присутствия» оппонировавшего автору слушателя (читателя) — все это в своей совокупности определяет лицо целой историко-литературной эпохи, приходящейся на время правления двух первых династий императорского Рима³⁸.

К эпохе Антонинов ситуация существенно меняется. Новый режим перестает быть проблемой; иных условий никто себе и не мыслит. Экономическая стабилизация и политическая либерализация способствуют тому, что общественное мнение правящего класса — по крайней мере, в целом — окончательно примиряется с цезаризмом³⁹; если время от времени какой-нибудь странствующий философ стойко-кинического типа еще вдохновляется примерами Мусония и Эпиктета и играет в готовность к политическому мученичеству (ср. описание соответствующих жестов Перегринана у Лукиана «О кончине Перегринана», гл. 18), это остается безобидной позой. Эпиктетовский пафос сурового суда над жизнью перестал быть для кого-либо опасным и как раз поэтому уже почти ни для кого не был интересен: конечно, находились люди типа Марка Аврелия, но для них стоический морализм служил не суду над миром, а уходу от мира, с которым у них больше нет взаимопонимания. Философия внешне оказывается в самых благоприятных условиях, но стремительно утрачивает популярность и жизненность: ее почитают, но ею не живут. Случившееся в корне меняет облик и строй греко-римской литературы: ее камертоном становится не популярная философия, а риторика. Это вполне понятно: если общественное мнение требовало от литературы не суда над действительностью, а прославления действительности, не критических, а апологетических установок, то на этом поприще философия не могла конкурировать с риторикой, для которой поверхностность в решении жизненных проблем и самоуверенность в провозглашении результатов были сознательными принципами⁴⁰. Риторическая традиция, разумеется, культивировалась на протяжении всего I в. (современник Нерона Никита из Смирны, ученик Никиты Скопелиан и др.), но теперь она выходит из софистических школ

в «большую литературу», — как раз тогда, когда философия возвращается в школы. Как это всегда происходит при подобных литературных переворотах, вырвавшееся к гегемонии писательское направление сводит счеты с былыми властителями умов: отсюда те нападки на эпиктетовский тип морализма, на стоическую назидательную литературу, которые во множестве исходили из сферы второй софистики и уже были рассмотрены выше. Оказалось, что философские учителя жизни не понимают жизни (постоянный мотив нападок на философию у Элия Аристиды), что они запутывают себя самих и своих учеников в бесплодных умствованиях ⁴¹, что они суть *μισόλογοι* («словоненавистники»), неспособные понять красоту элегантно красноречия и усвоить его, что они напоминают рабов мрачным недовольством и отсутствием внешнего лоска (так Фаворин обыгрывает в своем диалоге рабское происхождение Эпиктета — см. выше). Мы видим, что как бы отвлеченно ни звучали для современного уха постоянные выпады философов против риторики и декламации риторов против философии, — в конкретной перспективе литературной борьбы I—II вв. н. э. они приобретают достаточно злободневный смысл.

В этой борьбе позиция таких людей, как Мусоний Руф, с одной стороны, и Элий Аристид — с другой, была недвусмысленной. Но деятельность поколения греческих писателей, родившихся в 40—50-е годы I в., пришлась как раз на рубеж между двумя эпохами историко-литературного развития, которые можно было бы условно обозначить как «философско-моралистическую» и «риторико-софистическую», между тем это поколение выдвинуло двух таких влиятельных авторов, как Плутарх и Дион Хрисостом. Разумеется, к нему принадлежал и Эпиктет, но деятельность никопольского моралиста по всему своему смыслу примыкает к предыдущей эпохе, служа ее завершением и увенчанием. Напротив, Дион и Плутарх в полной мере отразили промежуточный характер историко-литературного периода, к которому они принадлежали. Но сделали они это по-разному.

Путь, избранный Дионом, сравнительно легко поддается однозначной характеристике. В течение

всей своей жизни этот автор с жадностью, представляющей резкий контраст благодушному «провинциализму» Плутарха, стремился оказаться в самом центре литературной и прежде всего политической жизни своего времени. (см. сравнительную характеристику Диона и Плутарха в главе I настоящей работы). Уже в первый период творчества Диона, т. е. до изгнания, политические интересы писателя выявляются достаточно четко: о них свидетельствует и проблематика двух его речей «О законе и обычае» (75 и 76), и речь «О чтении» (18), где важнейшим критерием для оценки литературных произведений оказываются нужды политической практики. Но на этом этапе его ориентация остается наивно официозной: способный молодой литератор из Прусы, приехавший в Рим делать карьеру, инстинктивно тянется к тем кругам, которые творят общеимперскую политику. Такая позиция совершенно закономерно приводит его в лагерь второй софистики, по природе своей более склонной к официозности, нежели философско-моралистическое литературное направление. Дион со свойственной ему горячностью включается в антифилософскую полемику: выше уже говорилось о его речах «Против философов» и «Против Мусония Руфа». Раз вступив в контакт с риторической традицией, молодой писатель спешит усвоить ее на самом высоком уровне профессиональности, воспринимая характерную для риторики культуру читательского смакования шедевров классической литературы (ср. его речь 52, где он сопоставляет Софоклова «Филоктета» с трагедиями Эсхила и Эврипида, использующими тот же миф), практикуя чисто софистическую виртуозную игру словом в ее наиболее вызывающих формах (ему принадлежали парадоксальные энкомии «Похвала попугаю» и «Похвала кудрям»). Таким образом, его писательская манера формировалась на риторических упражнениях высокого класса. Когда личная катастрофа разбила его иллюзии относительно домициановского режима, он одновременно естественным образом должен был разочароваться и в риторике как системе жизнеотношения — при этом отнюдь не утрачивая привязанности к риторической технике —

и обратиться к философии, которая была для образованного грека или римлянина его эпохи универсальной формой пассивного духовного оппозиционерства. Но если перед этим Дион воспринимал риторическую традицию в ее наиболее злободневно-ярких и выразительных проявлениях, то не иначе ведет он себя и по отношению к философии: в период изгнания ему импонируют самые резкие, самые радикальные стойко-кинические течения, и притом специально в их социально-критическом аспекте (диалоги 8—10, 14—15, 62—71). Он не останавливается даже на чистом стоицизме, но предпочитает кинизм с его скандальной остротой (заметим, впрочем, что и у Эпиктета многократно были отмечены кинические мотивы). Естественным образом он воспринимает в период изгнания технику диатрибы, которой пользуется прежде всего в устных беседах со случайными встречными⁴², а затем и в собственно литературной продукции; однако приемы диатрибы принимают у Диона как бы очищенный, облагороженный вид, выступая на общем фоне риторической элегантности. Так подготавливается синтез риторики и философии, окончательно осуществленный в позднем творчестве Диона и построенный на равновесии обоих противоборствующих элементов и в то же время на их простом и ясном функциональном размежевании. Философский морализм, со временем утрачивающий ряд кинических черт и приходящий к просветительству умеренно стоического типа, определяет содержание — риторическая техника организует форму; коэффициент философичности делает произведение серьезным, коэффициент риторичности — доходчивым. Идея такого синтеза крайне элементарна и была для второй софистики общим местом, но для того, чтобы она стала реальностью, был необходим ряд предпосылок. К этим предпосылкам принадлежат не только личная одаренность Диона или его необычная судьба, отучившая модного ритора от поверхностного подхода к вещам и открывшая ему глаза на серьезные проблемы человеческого существования, но прежде всего единственная в своем роде ситуация эпохи первых Антонинов. Как уже говорилось

снованные, но вначале глубоко искренние надежды на возможность общественного жизнестроительства по принципам философской этики. Коль скоро греческий литератор серьезно относился к этой утопии, если он верил в нее, то эта вера обязывала его с самой горячей заинтересованностью трудиться над популяризацией нравственных начал философии, — но не той аскетически-суровой, плебейской популяризацией, которую осуществляли оппозиционные проповедники стойко-кинической мудрости в предыдущую эпоху; нет, теперь философия должна была получить репрезентативное риторическое оформление, которое отвечало бы ее новой, официально признанной роли в государстве. С исчезновением этих политических иллюзий идея синтеза философии и красноречия потеряла свой живой смысл: вырождение этой идеи в следующих поколениях греческих литераторов можно наблюдать, в частности, на примере Фаворина, который был учеником Диона и две речи которого дошли среди сочинений его учителя⁴³. У Фаворина от философско-софистического синтеза остается только резонерская поза и некоторое количество механически внедренного в литературное целое квази-философского материала; общие установки не имеют решительно ничего общего с пафосом моралистической проповеди и всецело остаются в русле виртуозного формализма (по утверждению Филострата, *Vitae sophist.*, I, 8, Фаворин очаровывал римлян, не знавших греческого языка и никак не воспринимавших содержание его декламаций, одной только эфонией своих периодов)⁴⁴. Таким образом, каким бы распространенным ни был в сфере второй софистики лозунг соединения философски организованной мысли и риторически организованной речи, — реальностью этот лозунг мог стать только на основе вполне определенной политической идеи, которая была живой для поколения Диона (и Плутарха), но умерла для последующих поколений⁴⁵. Подводя итоги сказанному о случае Диона, важно напомнить, что все три составные части его писательского мира — политика, риторика, философия — взяты им в наиболее острой, характерной, злободневной и специфической для эпохи форме:

если политика — то актуальные дела общеимперского масштаба и стоявшая в центре событий проблема трансформации цезаризма; если риторика — так школьная виртуозная техника софистического типа, оказавшаяся столь перспективной для всей поздней античности вплоть до времен Либания и Гимерия; если философия — так острая стоицистическая критика общества в том ее виде, в котором она процветала в I в. Со всеми необходимыми оговорками, относящимися к особенностям античных условий, можно было бы сказать, что Дион относится и к риторике, и к философии, и к политике «профессионально».

Вот этого-то не было и не могло быть у Плутарха.

Существенный антипрофессионализм Плутарха очевиден уже априорно, до анализа его писательской практики: право на эту констатацию нам дает социологический анализ его жизненного стиля, осуществленный в главе I настоящей работы. Но задача состоит в том, чтобы с возможной конкретностью выяснить, как эти общие предпосылки реализованы в собственно *литературной* позиции Плутарха — и как эта последняя вписывается в общую историко-культурную ситуацию борьбы между морализмом эпиктетовского стиля и второй софистикой.

Как относился Плутарх к литературным проблемам своего времени? Казалось бы, ответить на этот вопрос крайне легко: достаточно посмотреть, что он сам говорил о риторике, об отношении последней к философии и т. п. — тем более, что высказывался он на подобные темы много и охотно, а материал его авторских деклараций давно обработан в ряде специальных исследований⁴⁶. Но все это обстоит не так просто. Просмотрев одну из новейших работ, где декларации Плутарха в их полном объеме инвентаризированы и разнесены по тематическим рубрикам, нельзя не испытать глубокого разочарования: кажется, что Плутарх говорил на эту тему только общие места и что его позицию — по крайней мере, в ее субъективном аспекте, т. е. в той мере, как она осознавалась самим Плутархом, — безнадежно трудно отделить от взглядов любого философствующего беллетриста второй софистики. По счастью, это не совсем

так. Дело в том, что применительно к Плутарху, который действительно страдал склонностью к многословному изложению вещей самоочевидных, целесообразно прежде всякой иной рубрикации разделить его высказывания по различным уровням конкретности и оригинальности. При таком способе рассмотрения прежде всего отойдет на задний план множество высказываний Плутарха, содержащих критику риторики в плоскости ходовых противопоставлений смысла — форме, мысли — слову: здесь Плутарх почти исключительно пересказывает общие места философской антириторической полемики или специально воспроизводит суждения своего кумира — Платона⁴⁷. Иногда образы, к которым прибегает Плутарх, останавливают своей свежестью и живостью, — таково постоянно цитируемое место из IX главы трактата «О слушании», р. 42, где ортодоксальный аттицист, который отказывается слушать дельные речи, если они изложены посредством неаттических вокабул, уподоблен упрямому больному, отвергающему необходимое лекарство, ибо оно предложено в чаше из глины, добытой за пределами Аттики, а затем говорится о «тонком» плаще Лисиевых речений, который не греет зимой; — но содержание этих рассуждений по большей части ничего не дает, кроме уяснения того факта, что Плутарх в целом разделял антириторические настроения своих коллег-философов. Показательно и количество таких мест; важно учитывать их массу в целом, но входить в анализ каждого из них — предприятие неблагодарное. Но времена в этих обличениях «софистов» проскальзывают собственно плутарховские нотки, которые были бы невозможны у Эпиктета или у Марка Аврелия.

Если мы видели, что для Эпиктета риторика находит оправдание как узкопрофессиональное занятие, аналогичное делу музыканта, но достойна всяческого осуждения за этими профессиональными границами (ср. выше), то у Плутарха вызывает живейшую антипатию как раз софистический профессионализм, «ремесленный» дух риторских школ. Для Эпиктета риторы невыносимы постольку, поскольку они дилетанты, для Плутарха — поскольку они специалисты. Любопытно, что если

Платон в своей критике риторики настаивал на том, что последняя не есть τέχνη («искусство»), то Плутарх (и при этом в контексте, отнюдь не всегда лестном для риторики) неоднократно признает за ней право на это спорное обозначение, хотя всегда в косвенной форме: словосочетания *ῥητορικὴ τέχνη* («риторическое искусство») во всех дошедших текстах Плутарха не появляется ни разу⁴⁸. Отступление Плутарха от тезиса главы Академии само по себе крайне необычно; Йевкенс усматривает здесь проявление плутарховского примирительного настроения и главным образом воздействие всеобщего узуса времен второй софистики⁴⁹, что само по себе вполне убедительно, но в общем контексте мировоззрения Плутарха само слово τέχνη представляется скорее уничижительным, чем похвальным. Тέχνη — это дело ремесленников-профессионалов, это выучка и педантизм. Технические проблемы риторики Плутарх демонстративно исключает из круга своих интересов, столь открытого для прочих материй. Замечательно, что в «Пиршественных вопросах», где речь заходит о всех возможных и невозможных предметах — от достаточно серьезных контроверз историко-антикварного, естественнонаучного и даже философского порядка до споров о порядке попойки, — только риторической τεχνολογία не уделено ни единого «вопроса». Дело идет о сознательной и, возможно, не до конца искренней демонстрации; если Эпиктет или Марк Аврелий абсолютно чистосердечно видели ценность исключительно в содержании и никоим образом не в форме, то Плутарх, как это можно было бы представить себе уже априорно, далеко не был лишен интереса к формальной красоте выражения: достаточно вспомнить тот раздел в «Платоновских вопросах» (кн. X, гл. 4, р. 1011 А), где он с увлечением обсуждает преимущества бессоюзной конструкции, выписывая в подтверждение пассажи из Гомера и из Демосфена⁵⁰. Но ему важно сохранить свои писательские интересы свободными от компрометирующего налета школьного профессионализма. Характерно, что даже только что цитированное место из «Платоновских вопросов», по своему содержанию идущее в русле риториче-

ской науки о стиле, завершается выпадом против педантов (*ἄγαν νόμιμοι*), которые излишним вниманием к правилам отнимают у речи ее энергию⁵¹. Этот выпад — не отголосок старых споров на тему *ingenium-ars*, но защита свободного дилетантизма против любых слишком обязательных требований школьной методики.

Здесь пролегал еще одно различие между Эпиктетом и Плутархом. Если для Эпиктета риторика и философия суть различные профессии, соотносящиеся между собой в своем качестве профессий примерно так, как занятия плотника и кузнеца (разумеется, с той оговоркой, что «ремесло» философа жизненно необходимо для страждущего человечества, а «ремесло» ритора — нет), то риторическая методика слова представляется ему не обязательной лишь по сопоставлению с философской методикой мысли и дела; но и в сфере философии мы находим типичную школьную методику — этика Эпиктета вся построена как свод указаний, как следует вести себя в таком-то случае. В этом отношении Эпиктет есть всецело порождение позднеантичной цивилизации; идея сквозной профессионализации общества, при которой каждый его член, будь то плотник, ритор, монарх или философ, обязан считаться со сводом профессиональных правил, не внушает ему ни малейшего отвращения. Напротив, для Плутарха свободный гражданин должен прежде всего быть человеком и сочленом своей полисной общины; обязательны для него только законы общечеловеческой этики и обычаи родины, принимать же слишком всерьез профессиональные правила — унижительное педанство. Как говорил Пиндар, любимый поэт Плутарха, выучка обезьяны хороша на ребяческий вкус (Пиф., 2 ст. 132—134). Для глубоко анахронистических по своей социальной сути взглядов Плутарха характерно его словоупотребление. Термин *πολιτικός ἀνὴρ* (или просто *ὁ πολιτικός*) когда-то имел значение «политически активный и опытный гражданин», — в так называемых «Платоновых определениях» он так и расшифрован — *πολιτικός ἐπιστήμων πόλεως κατασκευῆς* («разумеющий дела полиса») (р. 415 С), мы часто встречаем его в таком смысле у Платона

(«Горгий», р. 513 В, «Эвтидем», р. 305 С и др.), у Ксенофонта (напр., «Киропедия», II, 2, 14) и у других классических авторов. Но ко времени Плутарха этот термин был узурпирован риторам; у Дионисия Галикарнасского и прогимнастиков за ним прочно закреплено значение «ритор-профессионал» — изменение смысла, хорошо отражающее судьбу греческой παιδεία, от полисно-всенародных масштабов перешедшей к масштабам риторской школы. Плутарх решительно возвращается к исконному словоупотреблению: для него οἱ πολιτικοί — это те граждане, ἐξῆς которых составляют «находчивость, рассудительность, справедливость, а в придачу к этому опытом добытое знание, когда что сделать и когда что сказать» («Следует ли старику заниматься государственными делами», гл. 16, р. 792). Именно такой πολιτικός, чуждый всякой цеховой узости и соединяющий житейскую опытность с философской образованностью, противостоит в глазах Плутарха «софисту»⁵². По контрасту с этим идеалом в «софисте» выявляются отрицательные черты, не вполне совпадающие с теми, которые вызывали инвективы стоических моралистов. Если глаз Эпиктета прежде всего замечает в «софисте» такие пороки, которые вытекают из отсутствия философской самоуглубленности (тщеславие, поверхностность, нервная непоследовательность), то Плутарху в этом же «софисте» бросаются в глаза черты, уродующие его с общечеловеческой и гражданской точки зрения: профессиональная узость, педантская мелочность и неспособность к подлинным, достойным «мужа» деяниям. Еще одно различие: для Эпиктета одиозны публичные выступления раторов, ибо это суета, отвлекающая человека от самоуглубленности, — для Плутарха особенно антипатично «кабинетное» существование писателя-стилиста, который трудится в тиши и уединении над сочетаниями слов (это важно, между прочим, и потому, что непосредственно связывает антириторические выпады Плутарха с его собственно писательской позицией, в то время как отказ от публичных декламаций сам по себе есть бытовая позиция). В этом отношении очень показательны одно место из раннего сочинения Плу-

тарха «Чем больше прославились афиняне: бранными подвигами или мудростью?»; этот пассаж отмечен юношеской запальчивостью и специально относится к Исократу, чиновнику риторического стилизаторства, которого в эпоху второй софистики было принято чтить не только за его творчество, но и за его стиль жизни (ср. Павсаний, «Описание Эллады», I, гл. 18, 8). Вот эти слова Плутарха: «И ведь не за оттачиванием меча, не за заостриванием копья, не за начищением шлема, не в пеших и морских походах состарился этот человек! Нет, он склеивал и складывал антистетические, или подобные, или оканчивающиеся на одну падежную форму члены периода (*ἀντίθετα καὶ πάρισα καὶ ὁμοίωπτα*), и только что не долотами и скребками полировал и прилаживал периоды! Так куда уж было человеку (*ἄνθρωπος* вместо обычного *ἄνθρω* явно в уничижительном смысле) не страшиться шума доспехов и сшибки фаланг, если он страшился, как бы не столкнулись гласный с гласным и как бы исоколон не оказался на один слог изувеченным? В самом деле, Мильтиад, отправясь в Марафон, на следующий день вернулся в город с войском как победитель, а Перикл, в девять месяцев одолев самосцев, хвалился, что превзошел Агамемнона, на десятый год взявшего Трою; а Исократ истратил без малого три олимпиады на составление «Панегирика», и за все это время не участвовал ни в едином походе, ни в едином посольстве... пока Тимофей освобождал Элладу, Хабрий вел суда на Наксос, Ификрат громил под Лехеем лакедемонскую морю, и народ, восстановив свободу во всем государстве, добивался согласия с собой всей Эллады, — он сидел сиднем дома и мастерил из слов книжечку, на что истратил столько же времени, сколько понадобилось Периклу на постройку Пропилей и Гекатомпедона... Полюбуйся-ка на софистическую мелочность (*μικροφροσύνη*), которая способна погубить девятую часть человеческой жизни, чтобы сделать одну речь!» («Чем больше прославились афиняне...», гл. 8, р. 350D — 351 A).

Эта тирада говорит сама за себя. Карикатурный образ дряхлеющего в своей рабочей комнате Исократа — это и есть точное выражение того, чем 115

Плутарх *не* хотел быть и от чего он отталкивался в своей литературной позиции; в свете подобных заявлений делается понятнее его извиняющийся тон во вступлении к «Подвигам женщин», когда он оговаривает свое право на введение некоторых словесных красот (р. 243 А: «Мое рассуждение не отвергнет помощи, предлагаемой прелестью рассказа, и не убоится «на помощь Музам сладостных Харит призвать!..»). Если для Эпиктета лейтмотив его нападок на софистический культ стиля и подчиненный этому культу образ жизни — обвинение в тщеславии и поверхностности, то для Плутарха такую же роль играет обвинение в немужественности и бездеятельности. Плутарх охотно чувствует себя по ту сторону профессиональной ссоры философских и риторских школ: важно то, что *жить* надо «не в безвестности и не в бездеятельности» («Катон Старший», гл. I), а так, как принадлежит гражданину, чуждаясь всякого рабства, в том числе и профессионалистической *περιεργία*, а прочее приложится.

Легко заметить, что в полемике философского морализма и софистического литературства топика плутарховских антириторических выпадов легко могла быть повернута и против философов. В самом деле, философское самоуглубление тоже можно обозначить на языке анахронистически-полисной фразеологии Плутарха как *ἀπραξία*. Положим, крайне выразительный памфлет против эпикурейского абсентеизма, озаглавленный «Хорошо ли сказано «живи незаметно»?», прямо не затрагивает моралистов стойко-кинического типа, но вот как Плутарх говорит о характерной для всего философского морализма I в. в целом практикѣ частного врачевания душ: «...Слово философа охватит своим воздействием какого-нибудь одного частного человека, который любит бездеятельность и ограничивает себя, точно обведя круг геометрическим циркулем, нуждами собственного тела...» («О том, что философу надлежит беседовать прежде всего с государственными людьми», гл. I, р. 776 F). Самоуглубленные любители философских раздумий оказываются в таком контексте всего-навсего *οἰκοφροί* и *ἀπρακτοί* («домоседы» и «празднолюбцы»). Собственно гово-

ря, в этом пункте Плутарх временами неожиданно близок к оппонентам Эпиктета из лагеря второй софистики: последние ведь также провозглашали в отмену идеи самоценного (и потому всегда более или менее оппозиционного, ибо провозглашающего независимость своих законов от законов действительности) философствования более уступчивый, более оппортунистический и потому более «открытый» идеал философствующего беллетриста. Этот беллетрист не замыкается в пределы философской школы, но через апелляцию к добрым чувствам власть имущих осуществляет политική φιλοσοφία (словосочетание, со времен Дионисия Галикарнасского служившее во всех литературных битвах лозунгом риторического лагеря и выплывающее у Плутарха — ср. «Катон Младший», гл. 4, — хотя все же в существенно ином употреблении). Становится понятным, как Фаворин мог видеть в Плутархе своего союзника в борьбе за утверждение второй софистики и против эпиктетовских традиций⁵³. Это имеет свое обоснование и в том, что общественное мировоззрение Плутарха, как оно проявляется в его писательских интонациях, как бы занимает промежуточное место между критицизмом стоической оппозиции и апологетизмом второй софистики. В целом же писательская позиция херонейского философа, столь последовательная, если ее рассматривать, исходя из нее же самой — иначе говоря, из плутарховского идеала гражданина-дилетанта, — при переводе на язык понятий современной Плутарху литературной борьбы оказывается до такой степени противоречивой, что для Филострата этот автор оказывается злым врагом⁵⁴, а для Фаворина — рассудительным другом второй софистики.

Между тем суть дела для самого Плутарха состояла в том, что противоречие между философией и софистической беллетристикой для него было отодвинуто (не преодолено через синтез, как для Диона, а именно отодвинуто) перед лицом более существенного в его глазах противоречия: дух философских школ и дух риторских школ для него в определенном отношении брались в одни скобки, как проявления одного и того же

педантизма (περιεργία) и в совокупности противопоставлялись тому, что он считал подлинной философской культурой и что на деле было воспоминанием о прежнем, не школьном, а «почвенном» эллинизме. Это должно было заставить его с большой (временами, пожалуй, даже нарочитой) непринужденностью относиться к злободневной литературной и общекультурной проблематике и в этом он — не собрат, а антипод Диона. Если философские интересы последнего осуществляются в актуальной форме стойко-кинических тенденций, то Плутарху явно претят резкость, ригоризм, интеллектуальная «напористость» этой еще относительно молодой и недавно пережившей обновление школы; сам он — платоник, приверженец старого и почтенного направления, которое от ригоризма и накопило традиции скепсиса (характерно, что и в сфере римской культуры исповедание своей принадлежности к академикам служило Цицерону для того, чтобы, не сближаясь с нереспектабельными школами вроде эпикурейской, добыть себе независимость от стоического ригоризма, — независимость, которая была так нужна автору речи «За Мурену»⁵⁵). Равным образом, если Дион воспринимает риторическую технику на уровне современных ему профессиональных критериев, то представления Плутарха о красоте стиля очевидным образом являются для его времени достаточно устаревшими. Теоретико-литературные сочинения Дионисия Галикарнасского, по-видимому, оставались ему неизвестны⁵⁶; его представления об аттицистском идеале характерны скорее для той волны аттицизма, с которой в свое время столкнулся Цицерон и которая характеризовалась культом Лисия, нежели для последионисиевских аттицистов, клявшихся Демосфеном: он определяет «истинный аттицизм» («подлинный аттицизм») как *το σαφές καὶ λιτόν* («ясность и отсутствие украшений», ср. *frgm.* 138). Ближе всего к профессиональной риторике он был по видимости в своих ранних сочинениях («Об удаче римлян», «Об удаче или доблести Александра»)⁵⁷, но как раз они обнаруживают близость к эллинистической традиции; в дальнейшем работа Плутарха над стилем

сводится к все более тщательному исключению зияния⁵⁸, никак не обнаруживая контакта со специфическими особенностями вкуса второй софистики. Кумиры последней, т. е. представители «первой» софистики, ему глубоко антипатичны⁵⁹.

Такова литературная позиция Плутарха, с трудом поддающаяся однозначной характеристике, но заметно своеобразная и отделяющая его от всех других писателей «греческого Возрождения». Совершенно понятно, почему компромисс между «философом» и «беллетристом» в нем должен был состояться на почве философски-поучительных повествований на историко-биографическом материале: если уж невозможно в жизни быть «великим мужем» в старополисном стиле, то нужно по крайности этих «великих мужей» описывать, и для того чтобы решить эту задачу возможно более адекватно, позволительно пренебрегать педантскими ограничениями и философского, и литературного порядка. Так возникла непринужденная проза Плутарховых биографий, характер которой необходимо понять в двояком контексте эпохи и авторской позиции.

ОБЩИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ХАРАКТЕР «ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ»

Все, что мы знаем о литературном строе греческой биографии на ее путях от Аристоксена Тарентского (IV в. до н. э.) до Евнапия (IV в. н. э.) или Марина (V в. н. э.), позволяет выделить в ней два типа.

Один тип — это βίος в точном смысле античного словоупотребления: возможно более полная справка о происхождении героя, о его телосложении и здоровье, добродетелях и пороках, симпатиях и антипатиях, частных вкусах и привычках, с возможной краткостью — о событиях жизни, более подробно — о роде смерти⁶⁰; ко всему этому прилагается перечень анекдотов и «достопамятных изречений». Справочный характер решительно преобладает над повествовательностью, «информация» — над «рассказом». В качестве примера можно назвать труд Диогена Лаэрт-

ского или те жизнеописания поэтов, риторов и грамматиков, которые обычно предваряют в рукописях тексты сочинений последних⁶¹. В целом описанный тип биографии близок к той литературной форме, которую греки называли *ἰστορικὴ*, а потому в дальнейшем мы иногда будем обозначать его (в противоположность прочим) как *гипомнематический* тип. Но несмотря на присущий ему «информационный» характер, его едва ли целесообразно определять вслед за Ф. Лео⁶² как «научную» разновидность биографии в противовес «художественной» плутарховской. Наши понятия научной и художественной прозы ничего не могут объяснить в мире античной литературы. Вероятно, были читатели, для которых и Плутарх был недостаточно «художественным», иными словами недостаточно стилистически (риторически) выдержанным; с другой стороны, достаточно было придать самому сухому перечню черт характера героев пуристическую чистоту лексики, выправить его слог по школьным правилам — и он уже попадал для автора и читателей в категорию «изящной словесности»⁶³ (здесь уместен именно этот старомодный термин — реликт теоретико-литературного мышления, в определенных своих чертах изоморфного античному).

Гипомнематическая биография, как и любая справка (вплоть до современной анкеты!), тяготеет к рубрицированной структуре. Правда, в только что упоминавшихся жизнеописаниях философов у Диогена Лаэртского царит, как известно, такой беспорядок, что ни о каких рубриках и думать не приходится. Но как только биография справочного типа начинает искать формальной отработанности, она неминуемо приходит к распорядку логических рубрик, весьма дробных и жестких. Самый наглядный и наилучше изученный образец такого членения лежит за пределами греческой литературы: это — «Двенадцать цезарей» Светония⁶⁴. Но для него была давняя греческая традиция; уже Ксенофонов «Агесилай» построен именно так⁶⁵. Заметим, что рубрицированная структура не только не стояла в противоречии с риторическими тенденциями (как казалось тому же Лео), но и прямо ими стимулировалась. Гре-

Ческая риторика стремилась, как известно, учить не только изящной, но и убедительной речи — это делало ее своего рода прикладной логикой⁶⁶, и притом весьма педантичной; поэтому она была очень привержена к дотошному расчленению материала на темы и подтемы. Так, «Прогимназмы» Афтония в главе 8 рекомендуют дробить рубрику «происхождение» (γένος) на подразделы «народ», «отечество», «предки» и «родители» и трактовать каждый раздел обособленно; соответственно в рубрике «деяния» (πράξεις) должны быть вычленены подтемы «душа», «тело» и «судьба», в первой из них в свою очередь отдельные добродетели, во второй — отдельные телесные качества и т. д. до бесконечности.

Таким образом, влияние риторики на гипомнематический тип биографии было достаточно широким. И все-таки оно остается по сути своей случайным, необязательным: raison d'être этой разновидности состоит не в изящной отделке, но в сумме полезных или развлекательных сообщений. Биографический цикл того же Диогена лишен всякой отделки.

Иначе обстоит дело с другим типом греко-римской биографии, который мы назовем *риторическим* типом. Строго говоря, это не «биография» (βίος); в сфере риторики биографический материал непременно проходит эмоционально-оценочный отбор, и поэтому мы имеем перед собой либо «похвальное слово» (энкомий), либо его противоположность, т. е. «поношение» (псогос). Образцы первого — «Эвагор» Исократы, уже упоминавшийся «Агесилай» Ксенофонта, «Агрикола» Тацита, «Жизнь Константина» Евсевия Памфила, речи Либания об императоре Юлиане (например, речь XVIII). Отличное представление о типе псогоса дают сочинения Лукиана — «Александр, или Лжепророк» и «Лжец, или Что значит ἀποφράς» (менее четкую биографическую структуру имеет его памфлет «О кончине Перегрин»). Для риторического типа характерны: отбор материала, исключаяющий не только эмоционально диссонирующие, но и эмоционально нейтральные сведения, и равномерно поддерживаемая напряженность интонации.

Разделение всей биографической литературы на гипомнематическую и риторическую надолго пережило античность. Мы встречаем его и в византийской агиографии: безыскусственная справка о времени, обстоятельствах и образе жизни святого — это βίος καὶ πολιτεία; изысканная и патетичная переработка такой справки — ἐγκώμιον⁶⁷. Разумеется, черты этих типов могли смешиваться в одном произведении (такой промежуточный тип представляет хотя бы Лукианова «Жизнь Демонакта»), но случаи такого типологического синкретизма не отрицают, а подтверждают общезначимость описанных двух возможностей для античного биографического жанра.

Тем более важно отметить: «Параллельные жизнеописания» — едва ли не единственный известный нам образец греко-римской биографии, который, безусловно, не принадлежит ни к гипомнематическому, ни к риторическому типу.

Характерное для первого типа коллекционирование материала ради него самого, ради его познавательной ценности или развлекательности Плутарх решительно отвергает («Перикл», I; «Никий», I; «О любопытстве», II, — обстоятельный разбор этих авторских деклараций см. в главе III). Есть все основания полагать, что Плутарх подвергал материал для своих биографий достаточно тщательному отбору, что, между прочим, прямо следует из его собственных слов во вступлении к «Александрю» («Мы не будем перечислять все и не будем останавливаться на подробностях, но большую часть сократим...») ⁶⁸. Но с риторическим типом биографии его жизнеописания имеют, пожалуй, еще меньше общего: это во всяком случае подлинные βίοι («жизнеописания»), а никак не ἐγκώμια («похвальные слова»). Вообще говоря, мы видели, что отношения Плутарха с риторикой были весьма сложными и никоим образом не однозначно негативными; хорошо известно, что он широко использовал риторическую технику даже в своем позднем творчестве. Но здесь важно не это: не следует смешивать риторику «вообще» с такой конкретной вещью, как риторический тип биографии. Последнему присущи некоторые вполне обязательные черты, в число которых входят:

совершенно однозначная (положительная в энкомии, отрицательная в псогосе) оценка героя и в связи с этим полное единство эмоциональной атмосферы произведения;

соответствующая этому и строго выдерживаемая от начала и до конца равномерная напряженность интонации (заметим, что слово *μονοτονία* в словоупотреблении греческих прогимнастиков — частый термин, не содержащий ни малейшего оттенка порицания; и в самом деле, такой блестящий образец энкомия, как Тацитов «Агрикола», безусловно «монотонен»);

такая же однородность риторической отделки слога.

У Плутарха мы не находим ни первого, ни второго, ни третьего. При определенной установке на идеализацию (постоянно цитируемое место из вступления к «Кимону», гл. 2), Плутарх никогда не откажется упрекнуть самого добродетельного героя («Перикл», 31; «Брут», 56, и множество других примеров) и похвалить самого порочного («Деметрий», 3, 4, 6; «Антоний», 4, 17). Вполне двойственно его эмоциональное отношение к таким героям, как Алкивиад, Кориолан, Никий, Красс, Фемистокл и Цицерон; он как будто уже в процессе работы над их биографиями решает для себя самого, хорошие или дурные это были люди.

Между тем мы видели, что, по мнению Флавия Филострата (введение к «Жизнеописаниям софистов»), тон полной и безапелляционной уверенности так же обязателен для ратора («софиста»), как тон сократовского сомнения — для философа. Плутарх в этом пункте глубоко чужд духу «софистики»: он очень часто с доверительной интонацией делится с читателем своими сомнениями, приводит доводы в пользу противоположных суждений и часто так и кончает неуверенностью (это можно наблюдать на большей части «синкрисисов»). Ему неясно, как оценить поступок сыноубийцы Брута — как предел героизма или как предел бессердечия («Попликола», гл. 6); он в затруднении, можно ли видеть в рассказах о сношениях богов и людей простые басни, или в них заложен сокровенный смысл («Нума», 4). Этот тон колебания, взвешива-

ния, раздумья резко контрастирует с аподиктивом «похвальных слов» и «поношений».

Далее, вместо монотонности энкомия в «Параллельных жизнеописаниях» выступает сильнейшая интонационная пестрота (ποικιλία); драматичные сцены, эмоционально нейтральные сообщения, неторопливые раздумья свободно сменяют друг друга. Эта особенность биографий Плутарха была давно замечена, и ее нет надобности особо доказывать; для всякого очевидно, что анекдот о встрече Солона с Фалесом в главе 6 «Солона» изложено совершенно иначе, чем размышления о важности семейной жизни в следующей главе той же биографии, а словесная ткань обоих этих кусков непохожа на стилистику изложения законов Солона в главах 16—25. Неизменной чертой интонационного потока в «Параллельных жизнеописаниях» остается только сама эта гибкость перехода от одной интонации к другой⁶⁹.

В соответствии с этим находится и то, что хотя Плутарх широко применяет риторические приемы (особенно в «синкрисисах»), требование *выдержанности слога* он игнорирует. Если можно так выразиться, коэффициент риторичности в его биографиях постоянно колеблется. Плутарх может писать так: ... οὐδὲ γὰρ τῆ Κίμωνος τραπέζῃ τὴν Λευκόλλου [ἄξιον] παραβαλεῖν, τῆ δημοκρατικῆ καὶ φιλοφρόνῳ τὴν πολυτελεῆ καὶ σατραπικὴν. ἡ μὲν γὰρ ἀπὸ μικρᾶς δαπάνης πολλοὺς καθ' ἡμέραν διέτρεφεν, ἡ δ' εἰς ὀλίγους τρυφῶντας ἀπὸ πολλῶν παρεσκευάζετο χρημάτων... («Нельзя сравнивать обеды Кимона, демократичные и человеколюбивые, с обедами Лукулла, роскошными и сатраповскими: стол Кимона ценой немногих издержек ежедневно питал многих сотрапезников, стол Лукулла со многими затратами угощался ради немногих любителей роскоши...») («Лукулл», 44). Но он может начать биографию без всякого декоративного прооимия с такой деловой фразы: Δίδυμος ὁ γραμματικὸς ἐν τῆ περὶ τῶν ἀξίων τῶν Σόλωνος ἀντιγραφῇ πρὸς Ἀσκληπιάδῃ Φιλοκλέους τινὸς τέθεικε λέξιν, ἐν ἣ τὸν Σόλωνα πατρὸς Εὐφορίωνος ἀποφρίνει παρὰ τὴν τῶν ἄλλων δόξαν ὅσοι μὲνηται Σόλωνος... («Грамматик Дидим в своем возращении Асклепиаду относительно Солоновых таблиц ссылается на некоего Филокла, который

вопреки мнению всех авторов, упоминающих о Солоне, называет его сыном Евфориона...») («Солон», I).

Таким образом, все три признака риторического типа биографии у Плутарха отсутствуют.

Как мы уже говорили, Плутарх отказывается видеть цель своих биографий в самом материале, в «информации». Между тем гипомнематическая биография оправдывала свое существование именно этим (что отчетливо проступает, между прочим, во введении к биографическому труду Корнелия Непота, как это будет показано в главе III). Но еще более определенно Плутарх заявляет о том, что его сочинения созданы не с риторико-стилистическими целями, «не для услаждения слуха». Декларация, которую мы имеем в виду прежде всего, содержится, правда, во вступлении к «Подвигам женщин» (об этом вступлении уже шла речь на стр. 116), но смело может быть отнесена и к «Параллельным жизнеописаниям»⁷⁰. Автор выражает опасение, что из-за того изящества, которое присуще самим его сюжетам, в его сочинениях смогут усмотреть нежелательный перевес риторической эффектности над моралистско-философским содержанием (ὡς τοῦ χαρίζεσθαι καὶ ψυχραγωγεῖν μᾶλλον ἢ τοῦ καίθειν στοχαζομένοις scil. ἡμῖν)⁷¹. Он многословно заверяет, что хотя по ходу дела не будет чураться картинных сцен (οὐ φεύγει χάριν ἀποδείξεως ὁ λόγος), на общий, мы бы сказали — жанровый, характер произведения это не повлияет; он просит подходить к нему с критериями не риторико-софистической, но популярно-философской литературы. Подобные декларации приходится принимать *cum grano salis*, но недооценивать их серьезности не следует⁷².

Возвращаясь от деклараций к художественной практике Плутарха в «Параллельных жизнеописаниях», можно в этой связи прибавить, что у него почти отсутствуют речи действующих лиц (единственное существенное исключение — «Нума», 5 и 6). Между тем для энкомиастической биографии такие речи крайне характерны (можно ли представить себе Тацитова «Агриколу» без речей Калгака и самого героя в главах 30—32 и 33—34?).

Итак, Плутарх поставил рядом с биографией как принадлежностью фактографической гипомнематики и биографией как видом эпидейктического красноречия новый тип биографии — моралистико-психологический этюд. Он завоевал биографию для популярно-философской литературы, и это было *жанровой новацией*.

Но популярная философия уже имела свои традиционные жанры. К ним прежде всего принадлежали: освященный сократической традицией диалог и та литературная форма, которую принято обозначать как диатрибу и о которой уже шла речь на страницах 104—108 настоящей работы. Диатриба — это тоже «риторика», но принципиально иного порядка, чем эпидейктическое красноречие энкомия: она стремится не *ornare* («украшать») и *delectare* («услаждать»), но *moovere* («трогать») и *monere* («увещевать»). Соблюдение школьных правил ей ни к чему; ее главные установки — свободное движение мысли, перескакивающей от одной темы к другой, и живость интонации. Диатриба — и притом не только как устная проповедь, но и как литературное произведение — всячески обыгрывает живое присутствие слушателя или читателя; автор все время перебывает себя, делая себе возражения от лица воображаемого противника и отвечая на них. Эта черта, как и приверженность к ассоциативным тематическим переходам, сближает ее с диалогом. Но диатриба менее академична: она живее, демократичнее, непритязательнее диалога. Вот несколько примеров характерной для жанра диатрибы словесной ткани; эти примеры взяты из сочинения самого Плутарха «О том, что не надо делать долгов».

«...Не подумайте, что я говорю все это потому, что у меня война с ростовщиками... я только хочу показать тем, кто не бережется долгов, с каким бесчестьем, с каким рабством это сопряжено, так что идти к ростовщику — признак крайнего неразумия и слабодушия. У тебя есть средства? Так не занимай без нужды. А у тебя ничего нет? Так не занимай, коль скоро все равно не сможешь отдать...

— Как же мне прокормить себя? — И ты это спрашиваешь, располагая руками, ногами, голо-

сом, будучи человеком, которому дано любить и быть любимым, оказывать услуги и с благодарностью их принимать? Учи грамоте, наймись дядькой, привратником, моряком, лодочником: ничто из этого не может быть ни постыднее, ни горше, чем выслушивать слова: «Отдавай долг!» (гл. 6, р. 829 E — 830 B).

«...Теперь моя речь обращается уже к тем состоятельным и бесхарактерным людям, которые говорят: «Что же мне, жить без рабов, без очага, без крова?» Так мог бы сказать врачу раздувшийся от водянки больной: «Что же прикажешь мне исхудать?» — А почему бы и нет, если это необходимо для выздоровления? Так и ты: откажись от рабов, чтобы самому не стать рабом; распродай вещи, чтобы не продали тебя самого...

— Клянусь Зевсом, это поле оставил мне отец! — Но ведь он тебе завещал также и свободу и честь, которые ты должен ценить еще выше» (гл. 8, р. 831 B—C).

Приведенные примеры не только иллюстрируют литературную специфику диатрибы; одновременно они показывают, сколь органичными интонации диатрибы были для Плутарха. Очевидно, что для понимания жанровой своеобразности «Параллельных жизнеописаний» весьма существенно помнить, на каких жанрах изначально сформировались писательские навыки их автора. По расчетам К. Циглера⁷³, 45% общего объема «Моралий» занимают диалоги, 32% — диатрибы. Остающиеся 23% — отчасти сочинения по философской экзегезе (типа «Платоновских вопросов») и по антикварным проблемам (типа «Римских причин» и «Греческих причин»), отличающиеся чисто деловым стилем и стоящие за пределами художественной прозы, отчасти юношеские декламации («Об удаче римлян» и т. п.); при всей незрелости последних они не чужды популярно-философской проблематики и достаточно близки той же диатрибе⁷⁴. Таким образом, все собственно *литературное* творчество Плутарха, за вычетом биографий, в большей или меньшей степени стоит под знаком жанров диатрибы и диалога, нередко переходящих один в другой («Наставления о здоровье», «О сдерживании гнева»)⁷⁵. Хронология плутар-

ховских сочинений, как известно, не вполне ясна ⁷⁶; все же большие диалоги (три дельфийских диалога, а также «О любви» и «О позднем возмездии божества») заведомо приходятся на поздний период и создавались примерно в одно время с «Параллельными жизнеописаниями» ⁷⁷. Напротив, такие характерные образцы диатрибы, как «О суеверии» ⁷⁸ или только что цитированная «О том, что не надо делать долгов» ⁷⁹, принадлежат еще 70—80-м годам I в. Но эти рано сформировавшиеся навыки «диатрибного» подхода к материалу отнюдь не чужды и позднему Плутарху: доказательство тому — такие трактаты, как «Следует ли старику заниматься государственными делами» ⁸⁰ и «Об изгнании» ⁸¹.

К биографическому жанру Плутарх перешел едва ли ранее последнего десятилетия I в. или первого десятилетия II в. ⁸² Во всяком случае, он был к этому времени вполне сложившимся писателем, составившим себе имя популярно-философскими сочинениями, нашедшим свой стиль работы и своих читателей. Конечно, писатель может по тем или иным причинам менять свою литературную позицию: мы знаем, например, что Лукиан начинал в русле второй софистики, затем перешел к философским и сатирическим установкам, а к концу жизни вернулся к чистой риторике; подобным же образом обращение к философии раскалывает надвое творчество Диона Хрисостома (ср. выше). Здесь ничего подобного не было: осваивая новый жанр, Плутарх менее всего намеревался менять общие установки своего писательского труда. Его биографии преследуют те же моралистические цели, предполагают тот же тип читателя и ту же манеру чтения, что и его популярно-философские трактаты в форме диатрибы или диалога.

Такова конкретная ситуация творческого пути Плутарха. Заметим, что в свете ее необходимо по-новому прочитать те общеизвестные авторские декларации в «Параллельных жизнеописаниях» (например, «Перикл», 1—2, «Эмилий Павел», 1 и др.), без цитирования которых не обходится ни один общий курс истории греческой литературы. По сути дела, Плутарху не было особой

надобности разъяснить читателю, что биография имеет свой специфический материал и тематику — античный биографический жанр всегда стоял на этом (ср. ниже главу III). Но этот жанр обычно принадлежал либо антикварному энциклопедизму, либо чистой риторике, а с моралистической точки зрения котировался невысоко (опять-таки см. ниже главу III). Когда писатель-моралист обращается к этому жанру, он может ожидать со стороны своих друзей, коллег, учеников и читателей некоторое недоумение. Плутарх спешит предупредить это недоумение: ни чистая фактография, ни чистая развлекательность, ни стилистические упражнения нисколько его не привлекают (вступление к «Никию!»), и он пользуется биографической формой лишь потому, что нашел в ней доселе не использованные возможности раскрыть все ту же популярно-философскую, моралистическую, психологическую проблематику, которая стояла в центре его предшествующего творчества. Почему сама эта проблематика в плутарховском ее понимании требовала разработки именно на историко-биографическом материале, мы стремились показать в главе I и в первом разделе главы II.

Вернемся, однако, к вопросам стилистики.

Если известно, что к моменту начала работы над биографической формой за плечами Плутарха был уже совершенно определенный писательский опыт и при этом общие установки его литературной работы принципиальных изменений не претерпели, мы вправе априорно предположить, что биография в его руках должна была сильно приблизиться к жанрам, более типичным для популярно-философской литературы. Нам предстоит проверить это предположение.

Начнем с *композиции*. Когда в начале нашего века Лео предпринял попытку генеральной классификации всей античной биографической литературы⁸³, он поставил во главу угла как раз метод композиционной организации материала (само по себе это оправданно, ибо биография, в отличие, скажем, от поэтических жанров, не имеет специфических языковых примет, и потому ее конструирование происходит прежде всего в сфере компо-

зиции). При этом немецкий исследователь увидел лишь две принципиальные возможности: так называемый «естественный» хронологический порядок (на деле совершенно нетипичный для греко-римской биографии ⁸⁴) и уже описанное выше логическое рубрицирование. «Параллельные жизнеописания», по Лео, — столь же законченная реализация первого принципа, как «Цезари» Светония — второго: Плутарх только «рассказывает», Светоний только «описывает» ⁸⁵. Позднее уточнить концепцию Лео взялся А. Вайцеккер (подробнее см. выше, введение). Но ни Лео, ни Вайцеккер поразительным образом не заметили главного: дихотомическая альтернатива «хронология — логические рубрики» не имеет для Плутарха силы. Была еще третья возможность, к которой Плутарх постоянно прибегал и которая, как мы увидим, имела в арсенале его приемов особое значение: речь идет о свободных ассоциативных переходах от темы к теме. То, что это явление, живо воспринимаемое при простом чтении «Параллельных жизнеописаний», не бросилось в глаза немецким филологам, трудно объяснить; тем не менее, случилось именно так.

В каком соотношении ассоциативный порядок находится с другими способами организации материала?

Прежде всего, в ряде случаев Плутарх решительно не имел возможности прибегнуть к «хронографическому» (термин Вайцеккера) изложению. Здесь следует назвать прежде всего «Ликурга» и «Нуму»; ввиду почти полного отсутствия собственно биографических (хотя бы и сколь угодно легендарных) сведений о героях этих жизнеописаний большая часть каждой из них сводится к изложению законов, что понятным образом не оставляет места для повременного изложения. Тем более замечательно, что Плутарх старательно избегает логического диспониования ⁸⁶ и жестких рубрик даже здесь. Сделаем оговорку: самые свободные ассоциативные переходы хотя бы в минимальной степени опираются на логику, и в конечном счете под плутарховским изложением можно прощупать некоторый план, если угодно, не столь уж отличающийся от диспозиции светониевского

типа. Но именно — в конечном счете, т. е. при отвлечении от такого существенного фактора, как интонационная ткань изложения; на деле же разница огромна. Светоний охотно выявляет логический костяк своих биографий, в частности, подчеркивая конец одного раздела и начало другого (по типу: «...до сих пор я говорил о том-то, а теперь начинаю говорить о том-то...»). Вот несколько примеров: *hactenus quasi de principe, reliqua ut de monstro narranda sunt...* («До сих пор речь шла о правителе, далее придется говорить о чудовище» — пер. М. Л. Гаспарова) (Calig., XXI); «...haec laude digna in unum contuli, ut *secernerem* a probis ac sceleribus eius de quibus *dehinc* dicam...» («Все эти его поступки... достойны немалой похвалы; я собрал их вместе, чтобы отделить от его пороков и преступлений, о которых буду говорить дальше» — пер. его же) (Nero, XIX). Достаточно вспомнить, как решает Плутарх аналогичную задачу — изобразить отвратительного деспота, природные задатки которого, однако, не столь уж дурны, — как он показывает *постепенную* нравственную деградацию своего Деметрия («Деметрий», гл. 9, 13, 14, 18, 24), чтобы контраст с проводимым у Светония размежеванием света и тени стал очевидным. Важно и то, что у Светония, как отмечает советский исследователь, «каждая рубрика и подрубрика обычно начинается ключевым словом, как в словаре»⁸⁷. Вот для примера начальные слова нескольких глав из биографии Цезаря: «*Vini parcissimum ne inimici quidem negaverunt...*» (53); «*Abstinentiam neque in imperiis neque magistratibus praestitit...*» (54); «*Eloquentia militarique re aut aequavit praestantissimorum gloriam aut excessit...*» (55); «*Armorum et equitandi peritissimus...*» (57).

Напротив, Плутарх делает все, чтобы спутать, замаскировать, перебить слишком рассудочное расчленение материала, подчинить его непринужденному движению мысли; он поддерживает интонацию плавной непрерывности, и притом не только между разделами одной биографии, но, как мы увидим в главе IV, и между двумя биографиями, составляющими одну пару (здесь на Плутарха работали особенности греческого языка, столь

богатого частицами, назначение которых — как раз в фиксации связи между различными высказываниями). Течение рассказа как бы *переливается* из одного раздела в другой, из одной биографии в другую. Место императива четкости у Плутарха заступает императив непринужденности, логику заменяет психология или, лучше сказать, «психагогия», стремление к живому воздействию на эмоции читателя — исконная стихия диатрибы и диалога.

Проследим, как Плутарх строит переходы между тематическими разделами в тех случаях, когда хронологический порядок безусловно исключен существом предмета.

Только что говорилось о том, сколь большое место занимают в жизнеописаниях Ликурга и Нумы изложения их законодательств. Сразу же отметим, что эта часть биографии в обоих случаях (к которым можно добавить и третий, а именно раздел о Солоновых законах в главах 16—25 «Солон») никоим образом *не вычленена* из биографического повествования, для которого она по сути дела представляет собой инородное приложение. Плутарх нигде не делает заявления, которое счел бы нужным ввести не только деловитый Светоний, но и автор любого биографического энциклопедического словаря: «А теперь я буду говорить о...» Ничего подобного нет: в «Ликурге» рассказ о деятельности спартанского законодателя и о радикальном характере, который постепенно приобретала эта деятельность, незаметно подводится к фразе (гл. V, 9): «Нововведений Ликург учинил много, а первым по времени и по значению был институт геронтов», — а затем нить разматывается дальше, Плутарх переходит к другому, третьему, четвертому установлению Ликурга, и весь материал оказывается изложенным. Еще выразительнее пример «Нумы»: биографическое повествование постепенно замирает (к середине 8-й главы), и все та же нить ассоциативной связи, не обрываясь, протягивается к началу раздела о законодательстве (перед этим Плутарх описывал положение в Риме и прием, оказанный гражданами новому царю, затем он мотивирует этой ситуацией «пифагорейское» поведение Нумы, от чего естественно

перейти к наиболее «пифагорейским» его законам: *ἔστι γὰρ καὶ τὰ περὶ τῶν ἀφιδρυμάτων νομοθετήματῃ παντάπασιν ἀδελφὰ τῶν Πυθαγόρου δογμάτων*, — и так идет дальше). Совершенно так же плавно характеристика установлений Нумы снова переходит в 20-й главе в характеристику его личности, и биографическое повествование снова вступает в свои права. Сходную структуру можно отметить и для «Солона».

Само изложение законодательства во всех трех случаях построено таким же образом. В «Ликурге» мысль о том значении, которое спартанские законы придают браку, по свободной ассоциации заставляет автора перейти к процессиям девиц и к гордым апофтегмам лаконских женщин (гл. 14) — на том основании, что весь этот уклад можно истолковать как особо способствующий вступлению в брак, что с оглядкой на предыдущее сообщается в 15 главе (*ἦν μὲν οὖν καὶ ταῦτα παρорμητικὰ πρὸς γάμον*). Перечисление «достопамятных изречений» спартанских юношей, возникающее в главе 20-й из характеристики Ликурговой системы воспитания, вызывает переход к военным обычаям Спарты, в связи с чем изложение законов на время вообще прерывается, чтобы уступить место рассказу о полководческих деяниях самого Ликурга (гл. 23), но после этого автор снова возвращается к теме воспитания (начало главы 24: *ἡ δὲ κχιδία μέχρι τῶν ἐνηλίκων διέτεινε*). Что касается «Нумы», то здесь картина еще примечательнее. Стоит Плутарху завести речь о «пифагореизме» римского законодателя, и он говорит подряд о самых различных предметах (о теократических претензиях Нумы, об имени богини Такиты, об отсутствии у римлян в начальные времена статуй богов и т. п.), решительно ничем между собой не связанных, кроме того, что все они так или иначе напоминали ему о Пифагоре. Эти темы вводятся примерно таким образом: «Вот и установления (Нумы) относительно статуй богов совершенно родственны учениям Пифагора» (гл. 8, греческий текст см. в начале страницы). Само за себя говорит то, что рассказ о погребальных обрядах римлян: о культе Либитины, о продолжительности траура и т. п. (гл. 12) — включен в перечисление

жреческих коллегий — лишь на том основании что Плутарху представилось удобным сделать следующий переход: «Те же понтифики отвечают и на запросы относительно отеческих обрядов, связанных с погребением...» Если бы членение на логические species хоть сколько-нибудь соответствовало установкам Плутарха, он только упомянул бы, что погребальные обряды — одна из сфер компетенции понтификов, о самих же этих обрядах рассказал бы в своем месте (так Светоний о войнах Цезаря рассказывает в главах 24—36 «Божественного Юлия», но о его поведении как полководца во время этих войн — в главах 60—70); но тогда от непринужденности изложения ничего не осталось бы.

Таким же образом организован повествовательный материал и в других биографиях, среди которых можно назвать не только «Солона» с его изложением законов, но и жизнеописания Фокиона, обоих Катонов и Цицерона: эти последние в огромной степени состоят из апофтем и анекдотов, которые сами по себе, разумеется, «повествовательны», но не поддаются соединению в непрерывную цепь хронологически организованного повествования. Поучительно для примера рассмотреть, как построен «Фокион».

Ассоциативная организация материала проявляется уже в самом начале биографии; в качестве аргумента в пользу версии об аристократическом происхождении героя «к слову» вводится характеристика его манеры вести себя, перерастающая в довольно обстоятельное описание $\gamma\theta\sigma\alpha$ (главы 4—5). Здесь, как и на десятках других примеров⁸⁸, можно убедиться, как тесно связано с ассоциативной манерой Плутарха его постоянное стремление привести сохраненные традицией черты героя во взаимообусловленное единство, увидеть за механической суммой «добродетелей» и «пороков», «деяний» и «речений» некоторое органическое целое. Представителям гипомнематической биографии такое стремление принципиально чуждо: их дело — расставить рядом в возможном порядке все найденные ими сведения, как бы по одному «отсчитать» их читателю, заканчивая на этом контакт с последним. «Россыпь фактов вместо

связи событий», — так описывает метод Светония советский исследователь⁸⁹, но это применимо и к Корнелию Непоту, и к Диогену Лаэртскому, не говоря уже о беспритязательных авторах анонимных жизнеописаний поэтов и т. п. Характерно, что Непот в главе I биографии того же Фокиона рисует героя как зеркало добродетели, а в следующей главе — как черного предателя в политике и в личных отношениях, причем не испытывает ни малейшей потребности как-то объяснить это читателю. Сам порядок обычного биографического изложения толкал автора на то, чтобы рассматривать каждое сообщение как замкнутый в себе атом информации, имеющий с другими подобными «атомами» чисто паратактические отношения: они поставлены рядом, только и всего. Плутарх своей иной, более открытой интонацией *разговора с читателем о герое биографии* уже как бы ставит себя в необходимость не только излагать, но также и объяснять; а с этим связана такая важная черта «Параллельных жизнеописаний», как прославленная «цельность», «выпуклость», «пластичность» характеристик. Но эта авторская позиция Плутарха подготовлена, как мы видели, культурой популярно-философской беседы.

Продолжаем анализ структуры «Фокиона». Рассуждения о выдержке и *σχυρότης* («суровости») героя, спровоцированные, как мы видели, вопросом о его происхождении, сами сцеплены с одной из апофтегм Фокиона (гл. 5), которая в свою очередь вызывает характеристику его ораторского стиля. Но лучше всего рассмотреть манеру Плутарха вводить апофтегмы (что для представителей гипомнематической биографии вообще не представляло технической проблемы — апофтегмы просто перечислялись в особом разделе сочинения, в лучшем случае пройдя перед этим распределение по темам) можно на примере главы 9. Здесь рассказ о том, что Фокион не угождал народу, иллюстрируется четырнадцатью «достопамятными изречениями», но это никоим образом не рубрика апофтегм, а живое развертывание тезиса о суровости и неуступчивости афинского государственного мужа, причем внутри *этого раздела есть движение*: сначала дается просто заявление Фокиона о том,

что он не намерен льстить согражданам, затем сравнительно невинная перепалка с толпой по вопросу о деньгах, после чего идут уже более резкие ответы, а затем и личные инвективы — и все это увенчивается бранью по адресу «хромого мерзавца» Аристогитона (гл. 10). После этого обсуждается вопрос, как возможно, что такой суровый человек получил прозвище «Добрый»; эта апория представляет примечательную аналогию вопросам воображаемого оппонента в диатрибе, хотя ее решение стилистически гораздо спокойнее, чем примеры слога диатрибы, приведенные на страницах 126—127 настоящей работы.

Чисто ассоциативный переход имеет место между главами 18 и 19; что, казалось бы, общего между отношениями Фокиона с Македонией и его двумя браками? Но первая тема заставляет Плутарха подробно остановиться на бескорыстии своего героя (в связи с чем введены соответствующие изречения), по этому поводу заходит речь о скудости обстановки Фокионова дома, который «до сих пор показывают в Мелите» (гл. 18,2), а слово «дом» немедленно провоцирует переход рассказа на семейные дела. Конечно, Плутарх не так прост и знает, что делает, ведя читателя таким случайным по видимости путем; он знает, что у него в запасе сообщение о том, что вторая жена Фокиона отличалась и сама великой ἀφέλεια («непритязательностью») (гл. 19,1). Так за внешней случайностью скрывается продуманность; перед нами не хаос отрывочных сообщений, как у Диогена Лаэртского, а осмысленная свобода изложения.

На примерах «Ликурга», «Нумы», «Солона» и «Фокиона» мы рассматривали такие случаи, когда Плутарху приходилось выбирать только между логическим и ассоциативным построением. В тех случаях, когда оказывалось возможным излагать события в хронологическом порядке, Плутарх обычно делал это, хотя достаточно нестрого. Это легко понять: повествование не только увлекательнее, но и поучительнее рубрицированного описания, ибо наглядно представляет причинно-следственную связь между подвигом и наградой, между ошибкой и расплатой. При антипатии Плутарха к рубрикам ему не было ни малейшей надоб-

ности делать то, что часто делал Светоний, совершенно сознательно подменявший временную последовательность перехода героя от зла к добру (Тит) или от добра ко злу (Калигула, Нерон) логической последовательностью перечисления «добродетелей» и «пороков»⁹⁰. Но если иметь в виду, что хронологическая последовательность в целом устраивала Плутарха, тем более показательны случаи, когда он и хронологической последовательности предпочитает ассоциативную.

Вот два примера.

В I главе «Лукулла» заходит речь о просвещенных занятиях героя и его образованности. Заодно Плутарх не упускает возможности рассказать об истории Марсийской войны, которую сочинил на греческом языке Лукулл. Между тем об участии его в самой этой войне речь идет только в дальнейшем. Далее, по ходу рассказа о молодости Лукулла естественно заговорить и о его братских чувствах (тем более, что перед этим говорится о том, как Лукулл доказал свою сыновнюю верность, отомстив за отца), — и уже «к слову» Плутарх рассказывает, как Лукулл вместе с братом Марком выдвинул свою кандидатуру в эдилы. Все это при чтении воспринимается очень естественно и стройно и не обращает на себя особого внимания, но дело в том, что описанный инцидент имел место уже в 79 г. до н. э., между тем как ниже еще долго (гл. 2—4) речь будет идти о много более ранних событиях 90 и 80-х годов до н. э. (т. е. Марсийской и Митридатовой войн); временное соотношение не могло не быть известным Плутарху, и все же он расположил материал именно так.

Второй случай особенно интересен тем, что Плутарх сам отмечает произведенное им смещение в хронологическом порядке событий. В 24-й главе «Катона Младшего» по ходу изложения перипетий знаменитого сенатского заседания 5 декабря 63 г. до н. э. приходится упомянуть о любовной записке Сервилии (сестры Катона), которую прямо в сенате передали Цезарю. Попутно отметим, что Плутарх извиняется перед читателем за введение такой подробности («Если и впрямь не следует опускать даже маловажные проявления нрава» и т. п.) и что это извинение дает еще раз почув-

ствовать отмеченное выше различие между обычной греческой биографией гипомнематического типа и Плутарховыми жизнеописаниями: жанр в целом ориентируется на *полноту* информации (будь то научная информация или информация сплетни) — моралистические задачи Плутарха диктуют необходимость отбора материала. Но сейчас нам важно то, что упомянутый эпизод служит Плутарху поводом здесь же ввести материал, относящийся не только к сестрам, но заодно и к женам Катона (те и другие объединены в понятии τοῦ Κάτωνος γυναικωνίτις — «женская половина Катона дома»). Подробнейший и красочный рассказ о том, как Катон уступил Гортенсию свою Марцию (глава 25) завершается такими словами: «Раз уж я заговорил про женщин, мне показалось уместным рассказать и об этом, хотя по времени это случилось позднее».

При поверхностном взгляде может показаться, что хронологический порядок здесь нарушен во имя все той же логической рубрикации светониевского типа: в «Лукулле» Плутарх выделяет тематические разделы ο παιδεία и φιλαδελφία, в «Катоне Младшем» — ο γυναικωνίτις своего героя. На деле здесь выступает такой контраст со структурой «Двенадцати цезарей», какой только можно себе представить. Вместо того чтобы по примеру своих предшественников, начиная еще с Ксенофонта (выше говорилось о его «Агесилае»), дробить материал на замкнутые смысловые единицы и распределять его по ящичкам рубрик и подрубрик, Плутарх предоставляет одной мысли, одной фразе вести за собой другую. Тематические разделы сцепляются один с другим по видимости «как придется». Но если сопоставление с Ксенофонтом или Светонием заставляет остро ощутить непринужденность плутарховского изложения, то сопоставление с композиционно необработанными образцами античной биографии, вроде Диогеновых жизнеописаний, выявляет его стройность и продуманность. Стоит привести несколько образцов того, как строит свое изложение Диоген. Он начинает свою биографию Солона (кн. I, 2, 45) с рассказа о «сейсахфии», после чего следует заявление: «Затем он издал прочие законы, но изла-

гать их было бы долго...» Тем не менее после нескольких разделов он совершенно неожиданно возвращается к законодательству (там же, 55): «Как кажется, некоторые из его законов в высшей степени хороши...» Приведя письмо (подложное) Писистрата к Солону, Диоген с полным пренебрежением к логике заключает: «Так писал Писистрат; а у Солона, чтобы к нему вернуться, есть изречение, что семьдесят лет — предел человеческой жизни» (там же, 54). Нельзя не видеть контраста, который представляет рядом с такой бессвязностью гибкая ассоциативная техника Плутарха. Мастерство херонейского биографа приходится ценить тем выше, что прием ассоциативного сцепления двух мыслей по сути своей факультативен и однократен; если распорядок рубрик в ряде биографий может воспроизводить один и тот же раз и навсегда выработанный шаблон, то здесь все решается неповторимой ситуацией данного контекста. Нельзя не видеть, что даже в самых неожиданных и непринужденных тематических переходах Плутарха мы имеем перед собой не случайность, не следствие небрежности, но последовательную и сознательную литературную технику.

Техника эта, как уже говорилось выше, очевидным образом связана с той имитацией непринужденного движения и переплетения мыслей в живой беседе, которая искони была характерна для жанров диалога и диатрибы. Для литературного облика «Параллельных жизнеописаний» эта «диатрибная» особенность — только звено в цепи многих других. Возьмем хотя бы технику плутарховских экскурсов. В целом эта техника хорошо изучена⁹¹, что устраняет необходимость заново описывать ее и приводить примеры. Но никогда не было отмечено, что и эта сторона биографической манеры Плутарха в конечном счете определяется и оправдывается все тем же ассоциативным принципом: если что-то поучительное или занимательное можно рассказать «к слову», то такую возможность необходимо использовать, не смущаясь никакими отступлениями от жесткой диспозиции — на этом всегда стояли диатриба и тем более диалог сократического типа (самый колоритный пример может представить Платонов

«Тимей», где весь рассказ Тимея о мироздании, начинающийся р. 27 и продолжающийся до конца диалога, оказывается формально лишь гигантским экскурсом к рассуждениям об идеальном государственном устройстве). Конечно, и в историографии была своя традиция введения экскурсов, и Плутарх не мог не иметь ее в виду, но приемы, при посредстве которых плутарховский экскурс вводится в изложение, ближе к диатрибе: здесь слишком большую роль играет свободное сцепление мыслей и фраз (ср., например, «Ромул», 28: ...ἔοικε μὲν οὖν τήτις τοῖς ἕφ' Ἑλλήνων περὶ τ' Ἀριστέου τοῦ Προκωννησίου καὶ Κλεομήδους τοῦ Ἀστυπαλαίειος μυθολογουμένοις κτλ — «Так вот, все это похоже на эллинские сказания об Аристее Проконнеском и Клеомеде Астипалейском»). Исторический же экскурс, как правило, более четко вычленен из основного повествования (за исключением разве Геродота, у которого «основное повествование» вообще едва прощупывается сквозь λόγος⁹²).

«Диатрибность» биографий Плутарха очень ярко проявляется также в специфической манере этого автора строить начало жизнеописания в таком, например, роде: «Подобно тому, Соссий Сенецион, как историки в своих описаниях Земли, оттеснив все ускользящее от их знания к самым краям карты, подписывают в виде объяснения...» («Тесей», I); «Богатые иностранцы носили в Риме за пазухой щенят и обезьянок и ласкали их; это увидел, если не ошибаюсь, Цезарь и спросил...» («Перикл», 1); «Тот, кто написал Алкивиаду по случаю победы на конских бегах во время олимпийских игр похвальную песнь, будь то Еврипид, как утверждает большинство, или кто другой, — он утверждает, о Соссий Сенекион, что первое условие благоденствия таково...» («Демосфен»). Непринужденное введение, издали подводящее речь к настоящей теме сочинения, имеют и другие Плутарховы жизнеописания («Камилл», «Эмилиий Павел», «Пелопид», «Кимон», «Никий», «Серторий», «Помпей», «Фокион», «Агид», «Деметрий», «Дион», а за пределами цикла «Параллельных жизнеописаний» — биография Арата). Особенно характерен для Плутарха зачин, отгалкивающийся от цитаты (как мы это видели во всех трех приве-

денных на предыдущей странице примерах) и построенный примерно так: «Если у такого-то автора сказано (вариант: когда такого-то спросили, он сказал)... то мы сказали бы...» Но именно такие зачины мы встречаем и в небиографическом творчестве Плутарха, т. е. в его более или менее стоящих под знаком диатрибы трактатах. Вот несколько образцов: «Если и правда, Марк Седатий, что самое вкусное мясо — это не мясо и самая вкусная рыба — не рыба, как сказал поэт Филоксен...» («Как молодому человеку надлежит слушать сочинения поэтов», 1, р. 14, С); «В том, что касается женской добродетели, Клея, я не согласен с Фукидидом, заявившим, что наилучшая женщина — это та, о которой менее всего говорят чужие, будь то в порицание или в похвалу...» («О подвигах женщин», 1, р. 243 Д); «Киренцы звали к себе Платона, чтобы тот дал им законы и упорядочил их государство, но Платон отказался, заявив, что трудно быть законодателем у киренцев, покуда они пребывают в таком благополучии...» («К непросвещенному правителю», 1, р. 779 Д); «Платон в своих «Законах» воспрещает просить воду у соседа, за вычетом случая, когда ты уже копал на своей земле вплоть до так называемого глиняного слоя и все-таки не обнаружил родника — ведь этот глиняный слой по своей жирности и плотности имеет свойство задерживать воду; подобает, стало быть, чтобы у другого брал только тот, кто не может найти необходимое у себя самого...» («О том, что не надо делать долгов», 1, р. 827 Д). Это не просто сходство, но *полное тождество* приема сравнительно с образцами, приведенными на странице 140. Между тем в античной биографической литературе мы нигде за пределами творчества Плутарха такого начала не найдем. Вводные фразы гипомнематической биографии имеют чисто деловой характер (как правило, в них сообщаются генеалогические данные о герое), а обязательное вступление к риторической биографии-энкомии подчинено строго традиционной топике (важность темы, величие героя, невозможность восхвалить его по достоинству и т. п. — эта устойчивая система общих мест, теоретически обоснованная прогимнастатиками, удер-

живается и в агиографическом энкомии христианской эпохи). В обоих случаях *исключен элемент неожиданности*. Это позволяет в данном отношении сблизить оба традиционных типа биографии и противопоставить их в совокупности плутарховскому типу, где как раз *неожиданность становится объектом продуманной игры*, рассчитанной на «завлечение» читателя в глубь биографии (прочел одну фразу — прочтет и следующую!). Это станет вполне понятным, когда мы перейдем от чисто технических моментов литературной формы биографий Плутарха к тем внутренним ее аспектам, которые связаны с ее социальным функционированием. Плутарх пишет не для дотошного *σχολαστικός* а («педанта»), который станет рыться в его труде для того, чтобы пополнить свою ученость, и еще того меньше — для любителя риторических красот, которому важнее всего строгая выправленность слога; но он имеет в виду и не такого читателя, которому можно преподносить развлекательный материал в сколь угодно бесформенном изложении. Публику Плутарха мы можем представить себе по его родным и друзьям, которых он так охотно изображал в своих диалогах; среди этих людей он прожил жизнь, для них он и писал. Читатель Плутарха — образованный дилетант; он (вполне в духе поздней античности) хочет, чтобы ему помогли в его нравственных исканиях, но не терпит слишком аподиктических поучений; он способен проявить подчас подлинный интерес к серьезным вопросам, но с одним условием — чтобы его не отпугнули педантизмом, будь то педантизм моралистический, ученый или риторский. Он легко простит своему наставнику непродуманную мысль и нестрого построенную фразу, но не простит скванности и вымученности. Его нужно суметь увлечь, завладеть его вниманием и воображением; техника диатрибы, выкристаллизовавшаяся в живом опыте философской беседы и проповеди, здесь как нельзя более уместна.

Для этого читателя у Плутарха есть особая интонация: тон дружеской, почти фамильярной доверительности. Здесь писательская позиция Плутарха вполне совпадает с его жизненной позицией (ср. главу I): достаточно вспомнить, как

он всю жизнь избегал статуса профессионального философа или «софиста», какую интимную обстановку он поддерживал в своем херонейском кружке. Для творчества Плутарха (особенно в поздний период) эта «домашняя» интонация типична; но античной биографии она, насколько мы можем судить, была чужда. Автор жизнеописания гипомнематического типа как бы принимает на себя обязательство передать в распоряжение читателя более или менее добросовестно собранный материал — и на этом его контакт с читателем исчерпан: как много педантической отчужденности и замкнутости в авторской позиции того же Светония! В риторической биографии-энкомии интонация автора по необходимости репрезентативна, парадна, условна. Совсем не так держится Плутарх. Мы уже видели, что он постоянно делится с читателем своими сомнениями, на глазах у него взвешивает противоположные доводы; сюда же относится и обилие авторских деклараций.

То обстоятельство, что Плутарх решил перенести установки диатрибы и диалога на имитацию живой, «очной» беседы автора с читателем в совершенно иной жанр, каким является биография, само по себе интересно и показательно. Свойство Плутарха свободно обращаться с жанровыми законами и жанровыми границами уже неоднократно отмечалось⁹³, но не было с достаточной четкостью поставлено в связь с общими литературными установками плутарховского творчества. Неясность «жанрового мышления» Плутарха есть сама по себе лишь необходимое следствие его отращения к профессионализму, его потребности непринужденно относиться к любым школьным правилам. Та «овеществляющая» объективация, которую претерпевает в заданности жанровой формы личный контакт между автором и читателем, должна была казаться Плутарху только нежелательной. С его точки зрения существенно было: *о чем, для кого и кто* пишет книгу, иначе говоря — философско-моралистическое содержание книги, ее социальная адресованность определенному типу читателя и личный вкус автора: все остальное должно было всецело определяться этими тремя предпосылками. Характерно, что

когда Плутарх в позитивном смысле говорит об искусстве слова, его рассуждения всегда вращаются вокруг представления о житейском умении в нужную минуту найти нужное слово⁹⁴: иначе говоря, профессиональному идеалу правильной системы он противопоставляет общечеловеческий идеал верного такта (*ἐμπειρία καὶ ῥῶν καὶ λόγων*). Тактичный собеседник — вот чем хочет быть для читателя Плутарх.

Как бы то ни было, однако, все это свидетельствует об одном: литературный облик «Параллельных жизнеописаний» в огромной степени определен традициями, для античного биографического жанра как такового внеположными. Мы убедились (ср. стр. 123—124), что даже ориентировка Плутарха на выяснение целостного смысла описываемого характера во всей сложности его черт, т. е. то, что представляется современному человеку необходимой принадлежностью всякой биографии, — что даже эта важнейшая черта в случае Плутарха неразрывно связана с «диатрибной» структурой словесной ткани его биографий, а античному биографизму в целом чужда. Если Лео в конце своего труда замечает, что важнейшие достижения античной литературы в обрисовке характеров — образ Сократа у Платона и образ Тиберия у Тацита — лежат вне русла биографической традиции⁹⁵, он мог бы к этому прибавить, что и этологические успехи Плутарха также не были подготовлены этой традицией.

Органическая связь «Параллельных жизнеописаний» с философской диатрибой в конечном счете обусловлена их дидактичностью. В руках Плутарха биография перестает быть только рассказом: как правило, это наглядное развертывание некоторого моралистического или психологического тезиса, почти притча с «моралью» басенного типа⁹⁶. Биографии Плутарха — *παράδειγματα*; например, «Деметрий» — это пример на тему «как царей портят льстецы». В ряде случаев Плутарх выносит свой тезис в начало биографии (или пары биографий). Так, «Гальба» начинается с рассуждения о том, как гибельна разнузданность солдат; примером этого должен служить роковой поступок Нимфидия Сабина, подкупившего преторианцев —

и как бы в пояснение к этому следует вся биография. В других случаях этот тезис выявляется только в «сопоставлении»; на этой стороне техники Плутарха еще придется подробно остановиться в главе IV настоящей работы. Во всяком случае доказываемое положение или группа положений (то, что в греческой риторике получило название τὸ κρινόμενον) неизменно присутствует и доминирует над рассказом.

И все же биографическую манеру Плутарха не следует однозначно сблизить со стихией диатрибы стоического типа: мы видели, что он во многих отношениях представляет собой переходную фигуру между моралистической философией I в. и второй софистикой. Не следует забывать, что в последней со временем выделяется направление, которое — в остром контрасте с репрезентативным и усложненным красноречием таких риториков, как Элий Аристид, — ищет как раз простоты, непринужденности и произвольной смены тематических разделов (ἀφέλεια, ποιηλία); примером может служить Клавдий Элиан, работавший примерно через столетие после Плутарха⁹⁷. Но непринужденность Элиана имеет очень мало общего с непринужденностью диатрибы: для диатрибы важен доказываемый тезис, для Элиана — занимательный рассказ. Интонация диатрибы полна напряжения, в повествованиях Элиана царит самодовольное спокойствие. Плутарх и в этом отношении занимает среднее место: он как бы слишком благодушен для эпиктетовского пути и слишком серьезен для элиановского. В руках херонейского моралиста диатриба в большой степени теряет свой агрессивный проповеднический тон, свою прямолинейную назидательность; за счет этого повествовательные куски, игравшие в традиционном стойко-киническом типе чисто служебную, иллюстративную роль, начинают жить более самостоятельной жизнью, чем подготавливается переход Плутарха к повествовательной биографической топике. Уже в трактатах Плутарха невероятно возрастает игра к месту и не к месту приводимых сравнений, басен, цитат из классических авторов. Но даже в «Параллельных жизнеописаниях» элиановский культ повест-

вования ради повествования остается Плутарху чуждым: для него слишком важна моралистическая идея. Диатрибный морализм, за которым стояло ближайшее прошлое греко-римской литературы, и софистическая повествовательность, которой принадлежало ее ближайшее будущее, приходят в биографиях Плутарха к непрочному равновесию.

Теперь нам предстоит проследить, как отразились литературные установки Плутарха на подборе героев и на структуре сборника «Параллельных жизнеописаний».

¹ Интересное сопоставление писательских манер Монтеня и Паскаля дает Дрэй (*Fl. Dray. Le style de Montaigne. Paris, 1958, p. 70—98*). Имена Плутарха и Сенеки не приходят исследователю в голову, хотя почти каждую фразу его «синкрисиса» можно было бы отнести к греческому и римскому моралистам. При этом оба французских автора сами заявили о своей симпатии к своим античным «прототипам». Горячая любовь Монтеня к Плутарху известна (правда, он любил и Сенеку, и глава 32 книги II «Опытов» носит название «В защиту Сенеки и Плутарха», но свою литературную манеру он связывал лишь с примером Плутарха, да и цитировал его гораздо чаще). Если отношение Монтеня к Сенеке послужило темой особой работы (*C. H. Nay. Montaigne lecteur et imitateur de Sénèque. Poitiers, 1938*), то его связь с плутарховской традицией исследована далеко недостаточно. Что касается Паскаля, то в его «Мыслях» Плутарх не упоминается ни разу, в то время как Сенека, и вообще стоики, фигурирует не раз!

² Напр., «Опыты», кн. I, гл. 1 (вместо ответа на вопрос о характере Александра Великого картина разрушения Фив), гл. 3 («Мне очень не по душе нижеследующий рассказ...» и т. п.), гл. 5 (два противоположных суждения и доводы в пользу обоих), гл. 9 (серия рассказов), гл. 17 (кончается рассказом и риторическим вопросом), гл. 18 (ряд примеров) и т. д.¹

³ Ср. в «Мыслях» особый раздел «О стиле».

⁴ Ср. работу: *A.-M. Malingrey. «Philosophia». Etude d'un groupe des mots dans la littérature grecque des Presocratiques au IV siècle. Paris, 1961.*

⁵ См. № 64, т. I, стр. 147—148.

⁶ Это очень наглядно проявляется у того же Феона; ср. кроме цитированного места 60, 2 — ὁ καλῶς καὶ πολυτρόπως διηγήσιν καὶ μῦθον ἀπαγγείλας καλῶς καὶ ἱστορίαν συνθήσει. Цицерон («Оратор», 66а) выделяет в историческом сочинении такие обязательные исторические эле-

менты, как рассказ (narratio, διήγησις), описание (descriptio, ἐκφρασις) и собственно речи. В сходном тоне говорит об историографии Квинтилиан (IX, 4, 129 и особенно X, 1, 73). Дионисий Галикарнасский («О Фукидиде», гл. 9) уверенно зачисляет *ιστορία* в разряд *ῥητορικῆ ἀποθέσεως*. Ср. также № 223, 228, 229, 230, 231 и 246.

⁷ Характерные отзывы древних авторов о Тите Ливии: «...Тит Ливий, по славе красноречия своего один из первых...» (Тацит, «Анналы», кн. IV, 34); «Между красноречивейшими мужами именуется Ливий...» (Сенека, «О гневе», кн. 1, 20); «Пусть не прогневается Геродот, что мы поставим с ним вровень Тита Ливия, как по удивительной приятности и прозрачайшей естественности (sancor) в повествовании, так и по неописуемому искусству в речах...» (Квинтилиан, кн. X, 1, 32); «... И у Тита Ливия, автора удивительно красноречивого...» (он же, кн. VIII, 1, 3).

⁸ По утверждению Дионисия («О Фукидиде», гл. 34), в его время находились поклонники этого историка, которые вообще не могли примириться с мыслью, что в его сочинении могут быть недостатки. Сам Дионисий ради противодействия такому слепому энтузиазму критикует Фукидиду (особенно во втором письме к Аммею), и все же его общая оценка этого автора вполне положительна («О Фукидиде», гл. 5—8).

⁹ Ливий очень прочувствованно рассказывает в своей автобиографии («Жизнь, или О своей судьбе», гл. 148—150) о принадлежащем ему экземпляре сочинения Фукидиды, как о самой дорогой для него вещи, которой он «утешался больше, чем Поликрат перстнем» (гл. 149); когда украденная рукопись возвращается к Ливию, он радуется, «как другой радовался бы из-за сына, пропавшего без вести такой же срок и неожиданно вернувшегося» (гл. 150). Заметим еще, что Фукидидом занимался (по-видимому, в V в.) ритор Маркеллин. Принадлежащее последнему сочинение о великом историке начинается такими знаменательными словами: «После того, как мы посвящены в божественные речи и судебные прения Демосфена, когда мы уже наполнены и в должной мере упоены ими, самое время принять посвящение и в таинства Фукидиды; ведь он велик в словесных хитростях и красотах... и во всенародно произносимых речах...» (гл. 1). Здесь до крайности отчетливо видно, что для античного теоретика риторики Фукидид был таким же патроном риторической традиции, как и Демосфен, и как бы коллегой последнего.

¹⁰ По энергичному утверждению Дионисия («О сочетании слов», гл. 4), труд Полибия написан до такой степени небрежно, что его прямо-таки невозможно дочитать до конца (впрочем, аналогичное обвинение Дионисий предъявляет также Филарху, Дурису и Псаону). — О литературных установках Полибия см.: K. Ziegler. Polybios (RE, 42. Hbb., 1952, S. 1440—1578), особ. стр. 1569—1572; № 277, стр. 152—155; № 243, стр. 59—63. Интересно, что Полибий употребляет ходовые термины риторической теории историографии, но в осуждающем тоне;

напр., если у него появляется термин διήγημα, то в сопровождении эпитета ἀνεφέλης («бесполезный») — (XII, 12,3), в то время как мы видели, что по Феону историография и должна быть ничем иным, как стилистически корректным набором διηγήματα (другие термины из риторической сферы, употребленные у Полибия в осудительном смысле, приводит Верли на стр. 56 цит. соч. и особенно в примеч. 2 к этой странице). В «большой» историографии Полибий не мог найти для себя образца; таким образом для него были, по-видимому, чуждые художественных претензий мемуары политических и военных деятелей (ср. его отзыв о λίχν ἀληθινοὶ καὶ σαφεῖς... ἀπεμνημονισμοί — «до крайности правдивых и ясных записках» Арата Сикионского, II, 40,4). Именно такого рода литературе «разрешалось» быть нериторичной (см. № 234, стр. 121); но зато она и оценивалась, как лишенный всякого самостоятельного значения источник материала для «настоящих» историков (это очень отчетливо выражено у Лукиана («Как следует писать историю», гл. 16). Античный ценитель был способен смаковать безыскусственность изложения у историков-логографов, ибо там она была сопряжена с импонирующей архаичностью (ср. Дионисий Галикарнасский, «О Фукидиде», гл. 5), но деловитая толковость и серьезность слога у позднего автора типа Полибия была для него лишена всякой притягательности; он готов был великодушно простить Полибию его литературную позицию за надежность сообщаемых им сведений (ср.: Цицерон, «Об обязанностях», III, 32, 113; Тит Ливий, XXX, 45, 5), но никак не оправдывать самое эту позицию (ср. суждения, собранные в кн.: Полибий. Всеобщая история в 40 книгах, т. I. Пер. Ф. Г. Мищенко. М., 1890, стр. 1—8). Нужна была гениальность Цезаря, чтобы стяжать «Запискам о галльской войне» с их литературным аскетизмом всеобщее признание (чему немало способствовал и специфический характер римского аттицизма I в. до н. э. — греческий аттицизм с самого начала имел гораздо более «эстетский» и «декоративный» облик).

- ¹¹ «Подвиги женщин» — сборник, распадающийся на две части: в новеллах первой части речь идет о коллективных деяниях, во второй части автор переходит к жизнеописаниям отдельных женщин, чем-либо прославившихся. Эта вторая часть отличается от первой более пространным, ярким и пластичным изложением, временами очень близким по своей фактуре к изложению «Параллельных жизнеописаний» (напр., в разделах, посвященных Микке и Мегисто или Тимоклее). Обо всем сборнике в целом см. № 177, стр. 858—859, и особенно № 161; в последней работе, между прочим, подробно рассмотрено соотношение между «Подвигами женщин» и «Параллельными жизнеописаниями». Что касается таких дошедших под именем Плутарха повествовательных сочинений, как «Малые параллели» и «Любовные повествования», то их подложность в настоящее время считается окончательно доказанной (см. № 177, стр. 798 и 867—870).

- ¹² Ср. введение к труду Арнима (№ 257), а также № 272; № 277; *K. Ries*. *Isocrates und Platon im Ringen um die «philosophia»*. Diss. München, 1959; *W. Kroll*. *Rhetorik*. — RE, Supplementb. VII, 1940, S. 1039—1138, особенно S 1054—1090; *K. Gerth*. *Die Zweite oder Neue Sophistik*. — RE, Supplementb. VIII, 1956, S. 719—782.
- ¹³ Так, в цитированной выше статье В. Кролля раздел о первых веках нашей эры озаглавлен: «Примирение между риторикой и философией» (стр. 1089). По словам К. Герта (цит. соч., стр. 720), «вторая софистика особенно охотно занимается философскими вопросами... Поэтому о какой-либо борьбе между второй софистикой и философией не может быть и речи...» В качестве примеров мирного сосуществования философа и «софиста» в одном лице Герт приводит случаи, которые по сути своей совершенно неоднородны и несопоставимы. Дион Хрисостом (о котором еще придется говорить в настоящей главе) пережил переход от жизни модного ратора к серьезным философским интересам как «обращение», стимулированное тяжелой жизненной катастрофой; еще Синесий («Дион, или О жизни по его образцу», 3, р. 235) отмечал полное несходство между произведениями Диона, написанными до и после изгнания: он ἐξ ἀγνώμονος σοφιστοῦ φιλόσοφος ἀπετέλεσθη («из неразумного софиста сделался по-настоящему философом»). Для творчества Лукиана типично нежелание принимать всерьез как философский, так и софистический лагеря; все же и в его творчестве выделяются различные периоды — приверженность к софистическим установкам в начале и в конце и переход к философским оппонентам риторики в середине. Наконец, Элиан (о нем опять-таки придется говорить ниже) может служить скорее примером отсутствия подлинной философской культуры и философских запросов у характерного беллетриста второй софистики.
- ¹⁴ Термин φιλοσοφία употребляется у Исократ в этом значении очень часто (ср. № 272, т. III, примеч. к стр. 108 на стр. 396). Особенно характерно место в «Речи об обмене имуществом», 270, где Исократ настаивает на том, что только он учит истинной «философии», в то время как «диалектики» и «математики» не имеют к ней никакого отношения (так же, впрочем, как и все риторы чуждых Исократу направлений). Меньшей исключительностью отмечено употребление слова φιλοσοφία в речи «Против софистов», I; здесь еще проглядывает старое, недифференцированное значение этого слова (ср. *F. Blass*. *Die attische Beredsamkeit*, II Abt. Leipzig, 1892, S. 28).
- ¹⁵ См.: *F. Solmsen*. *Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik*. Berlin, 1929.
- ¹⁶ Ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας πρὸς τοὺς κατατρέχοντες αὐτὴν ἀδίκως (I, 327, 24 Usener).
- ¹⁷ Вопрос о том, насколько органична, искренна и последовательна для Сенеки такая «антириторическая» позиция, имеет отношение лишь к характеристике личности и творчества Сенеки. Для характеристики общекультур-

ной ситуаций важно то, что он в качестве философа считал необходимым отстаивать такую позицию, что она диктовалась ему его общественным статусом моралиста.

¹⁸ То обстоятельство, что и это место, как и все беседы Эпиктета, дошли до нас в записи такого утонченного стилиста и мастера по части имитации классиков (№ 277, стр. 394—395), как Арриан, лишний раз заставляет почувствовать, насколько никакая общая характеристика того или иного явления в целом не может учесть всего богатства индивидуальных явлений. Филиппика против риторов, записанная и обработанная рукой ритор! Все же любопытное обстоятельство тем меньше может поколебать факт глубокой враждебности, существовавшей между философией эпиктетовского типа и «софистикой». Заметим, что в хронике Георгия Синкелла (р. 662, с. 18) и в словаре Суды Арриан обозначен как φιλόσοφος.

¹⁹ Ср. также следующие места «Рассуждений», III, 1 (карикатурный образ «увлекающегося риторикой юноши», которому Эпиктет на сократовский манер разъяряет вздорность его увлечений); II, 16,5; II, 17, 5; II, 24, 26 и др. Удачную характеристику мировоззренческого стиля Эпиктета в его отношении к литературе дает Гирцель, № 124, т. II, стр. 245—252.

²⁰ По сообщению Порфирия, Плотин при записывании своих сочинений не заботился ни о чем, кроме голого смысла (μόνον τῶ νοῦ ἐχόμενος — Vita Plot. VIII, 6; ср. характеристику стиля Плотина у А. Ф. Лосева, № 262, т. III, стр. 383—385, где все же намечена некоторая связь Плотина со стихией второй софистики). Но особенно много для уяснения антибеллетристических настроений в философских кругах поздней античности дает трактат Синесия «Дион Хрисостом, или О жизни по его образцу», а также его 154-е письмо к знаменитой Гипатии. Епископ Птолемаиды жалуется на людей, полагающих, что «философ» обязан быть «мисологом» (ὡς δὴ τὸν φιλόσοφον μισόλογον εἶναι προσήκειν). Высказывания Синесия интересны, в частности, тем, что очень отчетливо выявляют преемственность между философской и христианско-монашеской «мисологией»: он называет в качестве своих оппонентов в равной степени «людей в белых и черных трибонах», т. е. философов и монахов (epist. 154, 1, p. 735). Христианская критика риторики за ее понимание себя как самоцели в своем наборе общих мест повторяет философскую. Так, в проповеди Иоанна Златоуста на текст «Деяний апостолов» (XXX, 3) мы читаем: «Это и портит церковь, что вы хотите слушать не такие проповеди, которые задевали бы вашу душу, но такие, которые ласкают ваши уши напевностью и звучностью слов, как будто вы слушаете певцов или кифаредов... Когда вы выражаете одобрение моей проповеди, я чувствую то, что испытал бы на моем месте каждый. Откровенно скажу — почему же не сказать? — я обрадован, я в восторге. Но после, когда я иду домой и начинаю понимать, что толпа, выкрики-

вавшая мне похвалы, не получила подлинной пользы от проповеди, что эта польза была заглушена похвалами и восклицаниями, на моем сердце грустно, я скорблю и плачу». Здесь можно отметить целый ряд текстуальных совпадений с Эпиктетом (напр., сравнение витии-краснобая с музыкантом и т. п.). К пониманию связи между ригористическими тенденциями раннего христианства и философской традицией см.: *I. Leipoldt. Griechische Philosophie und frühchristliche Askese. Berlin, 1962.*

- ²¹ Это можно заключить из того обстоятельства, что Филострат полемизирует с обозначением *νέα σοφιστική* («новая софистика»), явно предполагая у читателя знакомство с этим термином. Во вступлении к «Жизнеописаниям софистов» (гл. 3) мы читаем: «...Позднейшая софистика, которую надлежит именовать не новой — ибо она все та же, что и древняя, — а скорее второй...» Поупутно отметим, что это терминологическое замечание как нельзя больше заостряет внимание именно на преемственном характере второй софистики («все та же!»).
- ²² Имеется в виду, несомненно, Плутарх Херонейский (ср. № 277, стр. 381 и к ней примеч. 1). То, что о нем говорится, как о живом противнике, хотя он уже давно был в могиле, приходится отнести за счет манерной стилистики Филострата, отчасти за счет возбуждения, вызванного полемикой. Во всяком случае, литературная война провозглашается здесь вполне всерьез.
- ²³ Любопытное замечание относительно первой из этих речей мы находим у Синесия («Дион Христомом, или О жизни по его образцу», II, 5—6, р. 242). Речь идет о том, что как поэты, так и риторы создавали свои лучшие творения тогда, когда избирали темой нападки на философию (!); в качестве примера Синесий приводит «Облака» Аристофана и «Против философов» молодого Диона. Затем он говорит: «...Также и Аристиду создала немалую славу среди эллинов его речь «В защиту четырех против Платона». Правда, речь эта лишена ремесленной правильности (*τέχνης ἀμετρώων ἀπάσης*), так что ее даже невозможно отнести к определенному роду красноречия... однако в своем построении она являет неоспоримую красоту и некое удивительное обаяние (*χάρτις*) ...»
- ²⁴ 45 Dindorf.
- ²⁵ 46 по тому же изданию.
- ²⁶ См. выше примеч. 23. Также и неоплатоники III—V вв. сочли нужным вполне серьезно защищать платоновские положения от нападок Элия Аристида: Порфирий написал даже сочинение в 7 книгах «Против Аристида» (сообщение Суды под именем *Πορφύριος*. См. также: *Olympiod., vit. Plat., 4—5; Procl. ad. Tim., I, p. 127, 7).*
- ²⁷ Особенно философский характер имеет речь Аристида «Εἰς Δία» (1 Dind.; 43 Keil), выдающаяся знакомство с космологическими идеями Посидония (сквозной мировой закон, всеобщая симпатия и т. п.) и пестрящая такими словами, как *κόσμος, δημιουργός* и т. п. Посидонианские черты носит и фразеология речи «О согласии

городов» (42 Dind.; 23 Keil). Что касается Филострата (так называемого Филострата II), то связь автора «Жизнеописания Аполлония Тианского» и «Героика» с религиозно-философскими веяниями эпохи Северов достаточно ясна и общеизвестна.

²⁸ Ср. выше примеч. 23. Тот же Синесий утверждает ниже (III; 7), что Дион в этот речи превзошел самого себя по энергии выражения.

²⁹ Прежде всего «Πορρωνεῖοι τρόποι» (в 10 книгах), направленный против стоической теории познания трактат «Περὶ τῆς κατὰληπτικῆς φαντασίας» и «Περὶ ἰδεῶν». Кроме того, Фаворин занимался аллегорической экзегесой Гомера в стоическом стиле («Περὶ τῆς Ὀμήρου φιλοσοφίας»).

³⁰ Гален в сочинении «О собственных книгах» называет ὑπὲρ Ἐπικτητοῦ πρὸς Φαβωρίνον ἐν. О роли, которую Плутарх (представленный своим рабом) играл в диалоге Фаворина, см. примеч. 30 к главе I и ниже, в главе II.

³¹ Лукиан, «Демонакт», гл. 12—13.

³² Этот мотив неоднократно варьируется во II части труда Кельса. Характерно его восклицание: «И что же, скажите на милость, он говорит, когда распинают его тело? Каков-то этот ихор, «в жилах блаженных богов текущий», а?» (II, 36). Несколько раньше (II, 24) он возмущается, что Иисус не выказал перед лицом гибели бесстрашия; он отказывает ему в способности «убеждать» своим словом палачей (II, 43).

³³ Эпиктет так обращается к своим слушателям: «Да, милейшие, школа философа (σχολαῖον) — это та же лечебница, и должно, чтобы вы покидали ее не в веселом настроении, а с ощущением боли!» (кн. III, 23, 30). По этому поводу он ссылается на пример Музония Руфа, который предлагал каждому из своих слушателей видеть в нем своего судебного обвинителя (там же, 29); трудно лучше сформулировать «прокурорскую» позицию этого типа морализма в его отношении к миру.

³⁴ Древние авторы прилагают термин διатριβή исключительно к устной проповеди, так что, строго говоря, выражение «литературная диатриба» есть *contradictio in adiecto* (ср. P. Wendland. Die urchristliche Literaturformen. — «Handbuch zum Neuen Testament», Bd. I, 2. und 3. Teil. Tübingen, 1912, S. 112). Однако понятие литературной диатрибы давно привилось в научной литературе, и если оно незаконно с формальной точки зрения, то по существу дела оно вполне оправданно; его парадоксальный характер сам по себе отражает тот факт, что огромная часть моралистической литературы определенного типа стоит под решающим влиянием устной проповеди и имитирует ее технику. К тому же грань между устной и литературной проповедью была практически зыбкой: почему, собственно, беседы Эпиктета были диатрибами, пока мудрец ζῶσα φωνῇ произносил их в своем «схолейоне», но перестали быть ими, когда их записал Арриан?

³⁵ О происхождении диатрибы см.: № 227, стр. 990 сл.; A. Oltramare. Les origines de la diatribe romaine. Geneve,

1926; *U. v. Wilamowitz-Möllendorff*. Der kynische Prediger Teles.— «Philol. Untersuchungen», IV (1884), S. 292—319; *R. Helm*. Lukian und Menipp. Leipzig, 1906.

- ³⁶ См.: *R. Heinze*. De Horatio Bionis imitatore. Diss. Bonn, 1889; *R. Schütze*. Iuvenalis ethicus. Diss. Greifswald, 1905.
- ³⁷ См.: *J. Weiss*. Beiträge zur paulinischen Rhetorik. Göttingen, 1897; *A. Bonhöfer*. Epictet und das Neue Testament.— «Religionsgeschichtliche Versuche...», X, 1911. Ср. также работы П. Вендланда (№ 244 и 245). Характерно, что один из ряда эквивалентных терминов, обозначавших в античной литературной теории диатрибу — *ὁμιλία* — был усвоен христианской словесностью для обозначения жанра проповеди; в самом деле, еще в IV в. *ὁμιλία* такого классика церковного красноречия, как Иоанн Златоуст, имеют структурные особенности диатрибы (ср.: *A. Naegele*. Chrysostomos und die klassische Studien.— BZ, XIII, 1904, S. 92—113).
- ³⁸ Общий характер греко-римской литературы I в. удачно раскрыт через противопоставление историко-литературной ситуации II в. в новой советской работе: *М. Л. Гаспаров*. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., «Наука», 1971.
- ³⁹ Ср. выше примеч. 15 и 16 к главе I настоящей работы. Вообще говоря, неприятие цезаризма в некоторых специфических формах общественного сознания встречается и позднее: напр., его по-своему демонстрировали христиане, умиравшие за отказ воздать почести кумиру императора. Но литературные манифестации такого неприятия, будь то антицезаристские и антиримские псевдо-Сивиллины пророчества, христианские сочинения и т. п., оказывались за пределами большой литературы века; ни философы, ни беллетристы не считались с этой низовой словесностью, если не считать отдельных чисто полемических откликов вроде знаменитого «Правдивого слова» Кельса (который особо укоряет христиан именно за недостаток лояльности в отношении правительства); но и для полемистов христианская словесность есть факт жизни, но никак не факт культуры.
- ⁴⁰ Филострат усматривает главное различие между философией и «софистикой» в том, что первая постоянно доискивается истины, а вторая широкоповестательно сообщает истину; философия только ставит вопросы, «софистика» дает готовые ответы («Жизнеописание софистов», введение, I, 1). Самоуверенные заявления «софиста» Филострат сравнивает с оракульскими вещаниями (там же). Разумеется, в глазах Филострата все это означает важное преимущество «софистики» перед философией.
- ⁴¹ Ср. предыдущее примечание.
- ⁴² По словам Синесия («Дион Хрисостом, или О жизни по его примеру», I, 11), Дион после постигшей его катастрофы «принялся вразумлять людей... как отдельных, так и сборища, и ради этого использовал имевшуюся у него риторическую подготовку».

- ⁴³ Фаворину заведомо принадлежит псевдо-Дионова «Коринфская речь» (№ 37 — ср. № 277, стр. 422—427). Есть серьезные основания приписывать ему также диатрибу «Об удаче» (ср. там же, примеч. 1 к стр. 427).
- ⁴⁴ Ср. приводимый у Лукиана («Демонакт», 12) отзыв киника Демонакта о «менее всего приличествующем философии» стиле публичных чтений Фаворина. Нищенствующего философа больше всего возмущало то, что Фаворин включал в эти чтения... стихи собственного сочинения.
- ⁴⁵ Ср. выше стр. 50—52 настоящей работы.
- ⁴⁶ См. № 127, № 177, стлб. 9928—9931.
- ⁴⁷ В этом отношении характерны те места, где Плутарх бранит старых софистов, воспроизводя всю топику соответствующих диалогов Платона. Ср. также № 127, стр. 17.
- ⁴⁸ См. № 176.
- ⁴⁹ См. № 127, стр. 29.
- ⁵⁰ Так называемый Ламприев перечень приписывает Плутарху трактат «О риторике» в трех книгах (под номером 47); Р. Йевкенс, № 129, стр. 7, решительно настаивает на подложности этого сообщения, которое действительно крайне неправдоподобно, но едва ли может быть окончательно отвергнуто (ср. № 177, стлб. 929). В конце концов, этот трактат мог иметь антириторический характер; правда, уже его объем во всяком случае требовал от автора серьезного погружения в специальную риторическую проблематику. Кроме того, Ламприев перечень называет под номером 86 заглавие «Есть ли риторика добродетель?», а под номером 219 «К тем, кто по причине риторики не занимается философией»; Йевкенс выражает сомнение и в этих заглавиях, что уже явно необоснованно, ибо за ними очевидным образом скрываются образцы философской антириторической полемики.
- ⁵¹ Этот протест Плутарха против теснительных правил во имя свободной экспрессивности отдаленно напоминает знаменитый трактат «О возвышенном», который приходится датировать приблизительно временем рождения херонейского моралиста. По-видимому, высказывания псевдо-Лонгина и Плутарха порождены какой-то общей тенденцией времени.
- ⁵² Ср. многочисленные тексты, собранные у Р. Йевкенса, № 127, стр. 35 и др. У Плутарха есть еще одно характерное сочетание слов, противопоставляемое слову σοφιστής, — ἡθικὸς ἀνὴρ (ср. № 129, стр. 30).
- ⁵³ См. примеч. 30 к главе I.
- ⁵⁴ См. выше, стр. 100.
- ⁵⁵ Нельзя не видеть того, что при всем принципиальном эклектизме Цицерона, обильно черпавшего и из стоических источников, его потребность отмежеваться от Стои была для него достаточно серьезной. По сути дела его, как и Плутарха, отделяла от стоицизма не столько система взглядов, сколько манера относиться к собст-

венным взглядам — то, что было правильно подмечено, хотя и тенденциозно сформулировано Ф. Зелинским: «Воспользовавшись сам правом выбора в полной мере, Цицерон предоставляет такое же право и своим последователям...» (Ф. Ф. Зелинский. Возрожденцы, вып. I. СПб., 1922, стр. 33). Эти слова вполне можно отнести и к Плутарху.

⁵⁶ Доказательства у Йевкенса, № 127, стр. 95 и др.

⁵⁷ См. № 177, стлб. 719—732.

⁵⁸ Ср. № 105; № 177, стлб. 932—935.

⁵⁹ См. примеч. 30 к главе I.

⁶⁰ К этой тематике античный биографизм имел особое влечение: ср. № 200, стр. 113 и 126.

⁶¹ Об этих жизнеописаниях см. № 200, стр. 17—34.

⁶² Там же, стр. 178 сл. и 315—323.

⁶³ Работы последнего времени показали, что даже Светоний не был чужд претензиям на «художественность». См. № 211 и введение к настоящей работе.

⁶⁴ Образцовый анализ у Лео, № 200, стр. 1—10.

⁶⁵ После вступительной части, занимающей первые три главы и вошедшей в себя весь повествовательный материал, не поддающийся расчленению на рубрики (πράξεις), идет описание «добродетелей» Агесилая в следующем порядке: «справедливость» и «благочестие» (гл. 4), «воздержанность» (гл. 5), «мужество» и «мудрость» (гл. 6), «любовь к отечеству» (гл. 7). Эпикомий замыкается синкрисисом добродетелей Агесилая с пороками персидских царей и собранием Агесилаевых изречений (гл. 8—10 и 11).

⁶⁶ Именно в таком качестве ее, как известно, оправдывали стойки (ср. № 127, стр. 17). К прикладной логике стремились редуцировать риторику еще Аристотель; эта редукция — правда на гораздо более низком уровне, чем того желал Стагирит, — действительно произошла на исходе греческого красноречия в Византии: в руках Михаила Пселла и Иоанна Италя от риторического искусства остается разработка логических проблем в схоластическом стиле.

⁶⁷ См.: Х. Лопарев. Византийские жития святых VIII—IX веков. — ВВ, XVII (1910), стр. 1—224, особ. стр. 6—7 и 20; К. Krumbacher, A. Ehrhard, H. Gelzer. Geschichte der byzantinischen Literatur. II Auflage. München, 1897, S. 181 ff; H. G. Beck. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1957.

⁶⁸ Ср. попытки выявить этот отбор: № 189, стр. 96—103; № 152.

⁶⁹ Как известно, филология XIX в. видела в интонационной пестроте плутарховских текстов доказательство его механического подхода к своим источникам, которые он пересказывал «близко к тексту». Неоспоримо, что нередко как раз стилистика источника была для Плутарха отправной точкой для стилизации (ср. тонкие замечания Нордена, № 277, стр. 393). Но старое представление о работе Плутарха над источниками не позволяет

ответить на один вопрос: почему в тех случаях, когда этому автору приходилось продолжительное время пользоваться одним источником, он не заразился его «монотонностью»? *Постоянная* изменчивость стиля уже есть некоторое свидетельство художественного единства.

⁷⁰ По своим установкам, а отчасти и по литературному оформлению оба сборника имеют между собой много общего; ср. № 161.

⁷¹ Слово *ψυχρωγία* применительно к красноречию было отягощено специфическими реминисценциями со времен знаменитой дефиниции риторики в «Федре» Платона, р. 261 А: *ψυχρωγία τις διά λόγων*. Словари отмечают для этого существительного и для соответствующего ему глагола одиозные контексты и у других авторов (напр., у Демосфена, IX, 55 и особенно X, IV, 63 (*κολαχίαις ψυχρωγούμεναι* — «подверженные внушениям лести»)).

⁷² Ср. № 135, где произведена довольно курьезная попытка доказать, что Плутарх не мог быть моралистом, коль скоро он пользовался в своих сочинениях риторической техникой (в том числе и такими невинными приемами, как элементарнейшие метафоры и т. п.). Такими средствами можно без большого труда «доказать», что Платон не был философом, Фукидид — историком и т. д.

⁷³ № 177, стлб. 893.

⁷⁴ См. № 156.

⁷⁵ Как известно, диалог в руках Плутарха по большей части теряет драматичность и превращается в чисто декоративное обрамление к огромному «докладу», построенному по законам диатрибы; ср. № 124, стр. 124—237.

⁷⁶ См. № 177, стлб. 708—719; № 166, т. I, стр. 78—79; № 124, стр. 124.

⁷⁷ № 177, стлб. 711—712 и 715.

⁷⁸ Там же, стлб. 708.

⁷⁹ Для датировки этого трактата прямых данных нет, но его стиль и тон свидетельствуют о раннем происхождении. Не говоря уже о близости его синтаксиса к ранним декламациям Плутарха, можно ли представить себе, что патетические заверения относительно того, что автор никогда не имел дела с ростовщиками, принадлежат маститому философу, а не юноше, еще недостаточно развившему в себе чувство смешного?

⁸⁰ Здесь вся топка свидетельствует о том, что к старнику Эвфану, адресату посвящения, обращается его сверстник.

⁸¹ См. № 177, стлб. 714: «Об изгнании» — одна из последних работ Плутарха.

⁸² Там же, стлб. 713.

⁸³ № 200; подробную характеристику см. во введении.

⁸⁴ Эта особенность станет нам понятна, если мы дадим себе труд конкретно представить себе, в каком положе-

нии находился в древности составитель биографического произведения. Если события жизни наших «великих людей» обычно расписаны для биографа по годам, по месяцам, иногда по дням и часам, то античные писатели в большинстве случаев располагали почти исключительно «не датированными» по самой сути сведениями — герой имел такое-то телосложение и такой-то душевный склад, находился в дружбе с X и во вражде с Y, и ему принадлежат такие-то достопамятные изречения. Очень часто античная биография — не более, чем комплекс анекдотов и апофтегм (напр., «Демонакт» Лукиана). При таком состоянии материала самый естественный (хотя и не самый выигрышный в художественном отношении) выход — рубрицированная структура.

⁸⁵ № 200, стр. 187.

⁸⁶ Мы пользуемся термином «диспонирование» в том смысле, который ему придавал Шиссель фон Флешенберг (№ 239), противопоставлявший *диспозицию*, всецело подчиненную логике и потому безличную, и *композицию*, обусловленную эстетическими критериями и потому неизбежно предполагающую момент творческого произведения.

⁸⁷ № 180, стр. 272.

⁸⁸ Достаточно вспомнить, как Плутарх связывает в едином понятии «купеческого образа жизни» (*ἐμπόρικὸς βίος*) гедонизм Солона, его склонность к эротическим и пиршественным мотивам в поэзии, но также его любознательность и охотность («Солон», гл. 2—3). Подобным же образом он ассоциирует безудержность Кориолана с его сиротством («Гай Марций», гл. I) и т. п.

⁸⁹ № 180, стр. 268.

⁹⁰ Ср. «Калигула», 21; «Нерон», 19; «Божественный Тит», 7.

⁹¹ См. № 200, стр. 152—153 (едва ли не лучшее описание этого феномена).

⁹² Ср. № 216, гл. III.

⁹³ Ср. замечание А. В. Болдырева: «... У Плутарха старые формы художественной прозы оказываются весьма зыбкими и текучими...» (№ 262, стр. 174).

⁹⁴ Прежде всего следует иметь в виду главы 5—9 «Наставлений государственному мужу».

⁹⁵ № 200, стр. 323.

⁹⁶ Как известно, басенный элемент играет в сочинениях Плутарха очень большую роль. См.: D. Bieber. Studien zur Geschichte der Fabel in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit. Diss. München, 1906, S. 27—35; № 177, стлб. 893—894. Эта черта опять-таки сближает Плутарха со стойко-кинической диатрибой: о том, что последняя часто обращалась к басне, можно судить как по римской сатире, так и по одной речи императора Юлиана (речь VII, р. 207 С — 208 А). См. также: М. Л. Гаспаров. Античная литературная басня (Федр и Бабрий). М., «Наука», 1971, стр. 38—39.

⁹⁷ Плутарх сам в определенной степени подготавливал «элиановское» направление второй софистики такими своими произведениями, как «Пиршественные беседы» или утраченные «Строматы» (№ 62 Ламприева перечня — заглавие, впоследствии заимствованное Климентом Александрийским). Знал ли Плутарха Элиан, неизвестно; но для таких представителей софистической ἀφείλεια, как Афиней и позднее Евнапий, знакомство с творчеством Плутарха засвидетельствовано ими же самими (ср.: № 177, стлб. 947—948; *K. Mengis. Die schriftstellerische Technik im Sophistenmahl des Athenaios. Paderborn, 1920, S. 43—44; I. Düring. Athenaios og Plutarchus. — «Eranos», XXXIV (1936), S. 1—13*). Как известно, Афиней в знак своего пиетета дал одному из выведенных им «пирующих софистов» имя «Плутарх». И вообще вся болтливо-благодушная, многословно-ученая «пиршественная» литература поздней античности, наподобие диатрибы мешающая шутку и серьезность, но столь же мало похожая на диатрибу, как сытая беседа за столом далека от скандального уличного спора или задиристой уличной проповеди, — вся она восходит не к патетическому «Пиру» Платона, но к уютным «Пиршественным вопросам» херонейского мудреца. Сказанное относится, в частности, к «Сатурналиям» Макробия.

ГЛАВА III

ПОДБОР ГЕРОЕВ

Сопоставление биографий Плутарха с биографической литературой эллинизма чрезвычайно затруднено тем, что последняя почти полностью утрачена. Жалоба на это обстоятельство по вполне понятным причинам стала общим местом специальных работ.

Между тем есть одна сторона эллинистической биографии, о которой мы имеем вполне реальные сведения, и притом довольно систематические: ее *тематика*. Мы располагаем десятками более или менее надежно засвидетельствованных заглавий биографий или целых биографических сборников Аристоксена, Гераклида Понтийского, Сатира, Фания, Гермиппа и других, менее значительных представителей жанра. Можно, пожалуй, надеяться, что не так уж велико число сколь-нибудь примечательных биографических монографий и циклов, названия и самый факт существования которых остался неучтенным нашей традицией.

Если же вести анализ этих сведений с оглядкой на тематику дошедших до нас биографических сочинений Непота, Светония, Тацита, SHA¹, Диогена Лаэртского, Филострата и других авторов (а также тех жизнеописаний римского времени, которые опять-таки известны только по заглавиям), то это уже даст материал для достоверных выводов относительно *общих тенденций* античной биографии в подборе своих героев.

Очевидно, что именно здесь мы имеем наиболее надежную почву для сопоставления Плутарха с биографической традицией, которая послужила предпосылкой его творчества. Научных откровений такой подход не обещает: но реальная возможность на подлинно фактической основе сравнить «Параллельные жизнеописания» с биографической продукцией литературных предшествен-

ников Плутарха слишком дорога, чтобы ее можно было упустить.

Тем более странно, что до сих пор, насколько нам известно, такое сравнение не было проведено ни разу. Здесь, по-видимому, сыграло роль то впечатление естественности, доходящей до банальности, которое подбор героев у Плутарха производит на современного читателя. Кажется, что оригинальность, преобразование жанровых традиций можно искать где угодно, только не здесь. Едва ли, однако, в этом вопросе можно доверять нашему читательскому восприятию: оно очевидным образом сформировано веками плутарховской традиции в новоевропейской культуре. Уже ходячее представление о том, какие именно деятели греко-римского мира были «самыми великими», несомненно, в огромной степени выработалось именно под гипнозом отбора, произведенного херонейским биографом². Важнее другое: сама идея монументальной «портретной галереи» великих мужей благодаря бесчисленным подражаниям — всем этим «Немецким Плутархам», «Французским Плутархам», «Плутархам для дам» и т. п., которые в великом множестве появлялись в XVIII в.³, — стала для нас настолько привычной, настолько «само собой разумеющейся», что мы уже не видим в ней историко-литературный факт, заслуживающий особых объяснений. Но наше восприятие — никоим образом не речательство за то, как смотрели на дело современники Плутарха. Решить вопрос может только систематическое сопоставление господствующих тенденций тематики античного биографизма с тематическими установками «Параллельных жизнеописаний».

Опыт такого сопоставления и предлагает эта глава.

КРУГ ИНТЕРЕСОВ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

«Жанр легковесный и недостаточно почтенный» (*genus scripturae leve et non satis dignum*), — так резюмирует Корнелий Непот⁴ оценку, которую давали биографии римские читатели. Если верить Непоту, такая оценка была господствующей (и

едва ли специфически римской); мало того, сам он, по сути дела, не спорит с этим суждением, оправдывая свое обращение к биографии исключительно познавательной (но не моральной!) ценностью этого вида литературы: биография, по Непоту, полезна тем, что дает читателю живое представление о мелочах быта разных народов. Ничего похожего на понимание биографии как жанра, призванного по самой своей природе будить моральный энтузиазм и способствовать «усовершенствованию нравов» (πρὸς ἐπαύρῳθωσιν ἡθῶν — «Эмилий Павел», I), т. е. на плутарховскую концепцию биографии, мы здесь не чувствуем.

Как известно, биография — один из самых молодых жанров греческой литературы. Своим возникновением она всецело обязана (как и ее пластический коррелят — греческий скульптурный портрет) кризису полисного образа жизни, выявившемуся к IV в. до н. э. и развязавшему индивидуалистические тенденции духовной жизни. К IV в. и относятся ее первые образцы.

Едва ли стоит спорить о том, вести ли историю греческой биографии (вслед за Лео⁶ и особенно Укскуллом⁶) от «Эвагора» Исократ, или (вслед за А. фон Мессом⁷) начинать ее от появления «Жизнеописаний мужей» Аристоксена Тарентского, — оба явления порождены одной историко-культурной ситуацией.

«Эвагор» — первый биографически оформленный энкомий, посвященный историческому лицу (царю Саламина на Кипре). Исократ во вступлении, обращенном к сыну Эвагора Никоклу, специально оговаривает свое новаторство; его претензии в общем приходится принимать⁸, несмотря на необходимые оговорки⁹. Почин Исократ вскоре же вызвал подражание — Ксенофонов энкомий Агесилаю. Отметим бросающуюся в глаза связь обоих сочинений с монархическими тенденциями эпохи.

Энкомий, хотя бы и биографически организованный, — еще не биография в строгом смысле слова (о принципиальном различии в подходе к материалу нам уже приходилось говорить в предыдущей главе; с другой стороны, однако, исключать энкомий из истории греческой био-

графии — как того требует, например, Диле¹⁰ — значит искать четкие границы там, где их по самой сути дела быть не может). Более специфические черты форма биографии приобретает в руках Аристоксена из Тарента (акме — 318 г.), автора жизнеописаний философов (Пифагора, Архита, Сократа, Платона, Телеста). Для истории биографического жанра не лишено значения, что его чиновник (и, по мнению Иеронима¹¹, его важнейший представитель) был учеником Аристотеля и в то же время сильно склонялся к пифагореизму. Мы знаем, что именно перипатос культивировал психологические изыскания, направленные на выявление «этоса» человека через мелкие частности его поведения (стиль этих изысканий хорошо известен по «Характерам» Теофраста); что касается пифагорейцев, то у них существовали очень древние традиции ареталогической легенды¹².

Именно ареталогический, почти «житийный» характер имела, насколько можно судить по дошедшим фрагментам (фрагм. 1—14 по Мюллеру), биография Пифагора: кстати, она послужила важнейшим источником и в то же время образцом для таких позднейших сочинений, как трактат неоплатоника Ямвлиха Халкидского «О пифагорейской жизни»¹³. К Аристоксену, например, восходят сообщения о том, что Пифагор никогда не плакал и вообще был недоступен страстям и волнению (фрагм. 9), что он повсюду устранял раздоры и водворял мир, и таким образом умиротворил всю Италию (фрагм. 8) и т. п.

Совершенно иной характер имели Аристоксеновы биографии Сократа и Платона. Так, о Сократе (фрагм. 31 сл.) сообщалось, что он был грубияном и сквернословом, «не воздерживавшимся ни от какого слова и ни от какого действия», что он был от природы похотливым и даже был повинен в двоеженстве; наконец, мы узнаем, что тот самый Сократ, бескорыстие которого не устают прославлять Платон и Ксенофонт, оказывается, еще и не брезговал наживаться от своих богатых учеников. Для Плутарха Аристоксен — классический образ злонамеренного, но умного инсинуатора: «К этим людям близки и те, кто

подбавляет к своим поношениям кое-какую похвалу, как это делает Аристоксен в отношении Сократа: назвав его невеждой, неучем и наглцом, он присовокупил: «Однако же несправедливости в нем не было». Как хорошо искусенные в своем ремесле льстецы примешивают иногда к своим пространным и многословным похвалам незначительные порицания, как бы приправляя свою лесть откровенностью, так и злокозненность, чтобы ее клевете лучше поверили, спешит поставить рядом с ней похвалу»¹⁴. Не лучше обошелся Аристоксен и с Платоном.

Кроме жизнеописаний философов, Аристоксен (один из столпов античной музыкальной теории) составил также биографические циклы «О флейтистах» и «О трагических поэтах».

Таким было начало греческой биографии. Героями биографических энкомиев Исократ и Ксенофонт были *монархи*, героями жизнеописаний Аристоксена — *профессиональные деятели истории культуры*: философы, музыканты и поэты.

Сближение этих двух человеческих типов неожиданно, но совершенно понятно: самовластный монарх и эмансипировавшийся от полисного уклада мыслитель или артист в равной степени вызвали интерес не только своими общезначимыми «деяниями», для которых могло бы найтись место и в монументальной историографии старого типа, но и своим приватным *образом жизни*. В этом образе жизни реализовался идеал нового индивидуализма, тот идеал, двуединое выражение которого — Александр на своем троне и Диоген в своей бочке. Известный анекдот об их встрече ясно это выражает.

Но именно поэтому и бытие монарха, и профессиональный интеллектуализм (а тем паче артистизм, который для грека имел неприятную близость к «ремесленничеству») равно порочны с точки зрения полисной гражданственности. Отношение последней к типу монарха можно резюмировать изречением Катона Старшего (приведено у *Плутарха*, «Катон Старший», 8): «Царь — это животное, по природе своей плотоядное». Не лучше относится полисная этика и к типу

художника-профессионала: по словам Плутарха, «ни один юноша, который чего-нибудь стоит, увидев Зевса в Писе, не захочет сделаться Фидием, увидев Геру Аргосскую — Поликлетом или Анакреоном, Филемоном либо Архилохом, — получив удовольствие от их произведений» — «Перикл», 2). Известная эпитафия Эсхилу (приписываемая ему самому) прославляет его воинскую доблесть и ни словом не упоминает о его поэтических произведениях: вот отчетливое выражение полисного идеала, с которым несовместимо всякое придание интеллектуальной или артистической деятельности человека автономного значения.

Таким образом, и монарх, и человек мира наук и художеств (как только он становился отрешенным от полисных уз *профессионалом*) вызывали у своих современников прежде всего любопытство, как некоторые человеческие *curiosa*, а затем какие угодно эмоции — от восхищения (герои энкомиев), даже обожествления (Пифагор у Аристоксена), до презрения и отвращения (Сократ у того же Аристоксена), но только не спокойное почтение в духе старозаветных полисных идеалов. Поэтому к ним хорошо подходил «легковесный и недостаточно почтенный» жанр, в погоне за материалом не пренебрегавший ни самой экзальтированной легендой, ни самой низкопробной сплетней.

В своем дальнейшем развитии эллинистическая биография, насколько можно судить, оставалась верной этим интересам. Ее герои — это, в большинстве случаев, либо профессиональные деятели духовной культуры, либо такие политические деятели, которые не укладываются в рамки полисного «благозакония»: монархи, тираны, политические аутсайдеры и авантюристы (типа Алквиада).

Послужить иллюстрацией к этому положению должен нижеследующий список. Этот список учитывает сохраненные заглавия эллинистических сочинений более или менее биографического характера: необходимо подчеркнуть, что приводимый нами материал заведомо разнороден. Прежде всего, в нашем перечне фигурируют, наряду с настоящими жизнеописаниями, такие сочинения,

которые обычно называют «историческими монографиями». Очевидно, что в таких монографиях биографический подход существенно интенсивнее, нежели в монументальной историографии. В то же время мы можем видеть хотя бы на примере «Заговора Катилины» и «Югуртинской войны» Саллюстия, сколь далеко они могут отходить от биографической структуры (однако монографии Арриана и Курция Руфа об Александре Великом гораздо «биографичнее»). По заглавиям и фрагментам провести четкое разделение на биографии и исторические монографии не всегда возможно¹⁵; но для наших целей это едва ли и нужно — речь идет об *общем стиле эллинистического биографизма*, как он проявлялся не только в биографии, но и в смежных жанрах. Перечисленные ниже авторы имеют между собой мало общего и по своему писательскому облику: между серьезным историком Иеронимом Кардийским и коллекционером сенсационных сообщений Гермиппом Перипатетиком мало сходства. Но это делает общую картину только убедительнее.

Еще одна оговорка: перечень не претендует на исчерпывающую полноту. Исторические монографии сознательно брались выборочно; что касается биографий в собственном смысле слова, то здесь полнота невозможна уже потому, что во многих случаях по заглавию и скудным фрагментам нельзя быть уверенным в жанровой характеристике сочинения. Иллюстративным задачам перечня это едва ли может послужить серьезной помехой.

Переходим к перечню. Начинаем с деятелей истории культуры.

Не было почти ни одного видного представителя эллинистической биографии, который не занимался бы жизнеописаниями *философов*. О сочинениях Аристоксена мы уже говорили. Сатиру Перипатетику¹⁶ принадлежали биографии семи мудрецов, Пифагора, Эмпедокла, Зенона Элейского, Анаксагора, Сократа, Платона, Диогена, Анаксарха, Стильпона; Гермиппу — биографии семи мудрецов (не менее чем в 4-х книгах!), Пифагора, Аристотеля; Фанию (или Файнию¹⁷) Эресскому — сочинение «О сократиках»; Идоменею —

биографический сборник с таким же заглавием. Для Неанфа из Кизика засвидетельствовано сочинение «О пифагорейцах»¹⁸. Антигон из Кариста писал биографии Полемона, Кратета, Крантора, Аркесилая, Менедема и др.; как показал Виламовиц, эти биографии сильно повлияли на изложение Диогена Лаэртского¹⁹. В первой трети II в. до н. э. перипатетик Сотийон произвел грандиозную систематизацию биографического материала по линиям преемства школ. Его сочинение «Преемство философов» послужило образцом для структуры таких позднейших биографических циклов, как труд того же Диогена.

Шедшие рука об руку интерес к жизни философов и к жизни тираннов курьезным образом соединились в труде Гермиппа «Жизнеописания людей, перешедших от философских занятий к тираннической или династической власти».

Излюбленными героями эллинистической биографии были поэты. Биографические циклы со стереотипным заглавием «О поэтах» составляли Гераклид Понтийский, Фаний Эресский, Дамаст и Праксифан. Какие-то биографии поэтов (Эпихарма, Софокла и др.) входили, по-видимому, в сборник Неанфа «О знаменитых мужах» («Περὶ ἐνδοξῶν ἀνδρῶν»). Гераклиду Понтийскому, Аристоксену и Сатиру принадлежали особые труды об афинских трагических поэтах (о Сатировой биографии Еврипида, значительный фрагмент которой был опубликован в 1912 г., см. выше введение к настоящей работе и к нему примеч. 20). Огромную псевдобиографическую литературу вызвал Гомер («О Гомере» Анаксимена из Лампака, «Об Архилохе и Гомере» Гераклида Понтийского и т. п.); 8 позднейших жизнеописаний Гомера дошло до нас²⁰. Несомненно, отголоском эллинистического биографизма являются анонимные биографии греческих поэтов, сохранившиеся в рукописях их сочинений. Известное издание А. Вестерманна (№ 34) дает в общей сложности 282 жизнеописания такого рода (из них 88 биографий эпиков, 46 — лириков, 49 — трагиков, 96 — комиков, 3 — буколиков).

О поэтах и музыкантах писал Главк Регийский («Περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν καὶ μουσικῶν»).

О труде Аристоксена «О флейтистах» мы уже упоминали.

Составлялись также биографии *риторов*: у Гермиппа были сочинения «Об Исократа» и «Об учениках Исократа», у Дамаста — «О софистах». Только что упоминавшееся издание Вестерманна дает 155 жизнеописаний «риторов и софистов». Отголоском биографических штудий александрийских ученых выглядят и дошедшие до нас биографии известных *историков* (у Вестерманна 84), *грамматиков* (у Вестерманна 70, не считая тех, которые помещены в одну рубрику с риторами) и, наконец, *врачей* (у Вестерманна 24; только одному Гиппократу посвящено три дошедших жизнеописания).

Что касается представителей *пластических искусств*, то Суда упоминает под именем некоего Памфила (фигура неизвестная!) труд «Об искусстве живописи и о знаменитых живописцах». Несомненно, сильный биографический элемент содержали сочинения Дуриса Самосского «О живописи» и «Об искусстве чеканки», как это видно из единственного дошедшего фрагмента второго труда (*Плиний*, «Естественная история», XXXIV, 61), где изложен анекдот о беседе юного Лисиппа с Евпомпом. Вообще, для античности, как и для эпохи Возрождения (достаточно вспомнить «Записки» Л. Гиберти и особенно «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари!) единственной мыслимой формой «истории искусства» была «история художников».

Переходим к представителям индивидуалистического начала в политической жизни. *Монархам* были посвящены биографические или полубиографические циклы Харона из Навкратиса («Цари, которые были у каждого народа, начиная с давних времен»), Менандра Эфесского («Деяния, совершенные каждым из царей у эллинов и у варваров»), Иеронима из Кардии («О диадохах») и Тимагена Александрийского, писавшего уже на исходе эллинистической эпохи («О царях»). Более чистыми образцами биографического жанра были, как можно думать, такие сочинения, как «Жизнь Филиппа» Сатира и «Жизнь Александра» Никанора. Антиклиду Афинскому, Ним-

фису Гераклийскому, Дорофею Афинскому и Потамону Митиленскому (последний работал уже в эпоху, переходную от эллинистического к римскому периоду) принадлежали труды с одним и тем же заглавием: «Об Александре» Воспитанию молодого Александра были посвящены сочинения Онесикрата Астипалейского «Как воспитывался Александр» (слова Диогена Лаэртского, VI, 84 наводят на мысль о сознательном подражании Ксенофоновой «Киропедии») и Марсия из Пеллы «Воспитание Александра». Вообще, личность Александра Великого, по-видимому, сыграла для истории греческой биографии примерно такую же роль, как и для истории греческого скульптурного портрета²¹. Назовем еще: Асклепиад, сын Ария, «О Деметрии Фалерском»; Тимохар, «Об Антиохе»; Посидоний, «О Персее»; Лисимах, «О воспитании Аттала» (снова тема воспитания!).

Это направление греческого биографизма проникло и в монументальную историографию. Уже в «Φιλίππικὰ» Феопомпа история Греции трактовалась как бы в рамках грандиозного жизнеописания македонского царя (за что на него специально нападает Полибий, VIII, 13, 3—5), и притом с обилием специфически биографических подробностей, не без уклона в сторону скандального разоблачения частных секретов. Дионисий Галикарнасский («Письмо к Гнею Помпею», 6) так характеризует тематику этого сочинения Феопомпа: «Он показал образ жизни и особенности нрава царей ... жизнь мужей, их деяния, их кончины, их судьбы». Феопомп, по словам Дионисия, сумел «испытать скрытые побудительные причины поступков... и нравственные недуги (τὰ πάθη τῆς ψυχῆς), о которых нелегко бывает узнать толпе, и разоблачить все тайнства мнимой добродетели и безвестной порочности». Замечательно, что с таким любопытством к закулисным и компрометирующим подробностям у Феопомпа соседствовало и преклонение перед тем же Филиппом, как об этом можно заключить из цитированного выше замечания Полибия²². Таким образом, два полюса античного биографизма в его подходе к личности монарха — энкомиастическая тенденция и хо-

лодное коллекционирование отталкивающих мелочей — оказываются не столь уже далекими друг от друга.

Тираннам были посвящены сборники Фания Эресского («О сицилийских тираннах») и Батона Синопского («Об эфесских тираннах»), а также универсальный труд Харона Карфагенского «Тиранны, сколько их ни было в Европе и в Азии». По-видимому, у Сатира было жизнеописание Дионисия Младшего (в сборнике «β'oi» или, по Иерониму, «Против Иовиниана», II, 14, «*Illustrium virorum historiae*»²³). Монографическое сочинение «Об Агафокле» составил Дурис Самосский, «О тиранническом правлении Иеронима» — уже упоминавшийся Батон Синопский. Заметим, что уже у Геродота есть чисто биографический интерес именно к личностям тираннов — Писистрата (I, 59 — 64 и др.), Кипсела (V, 92), Периандра (III, 50, V, 92; отвратительный эпизод Мелиссы прямо превосхищает стиль античного биографизма вплоть до Светония и SHA).

Что касается прочих политических деятелей, так или иначе отступающих от полисных норм, то об Алкивиаде писал Сатир и, по-видимому, другие представители эллинистической литературы. Вообще, государственному мужу было тем легче стать героем биографического сочинения, чем более одиозным было его имя (по крайней мере, для восприятия писавшего). Стесимброт Фасосский смог сделать Фемистокла, Фукидида (Мелесиева сына) и Перикла предметом сочинения с биографическим уклоном лишь потому, что он превратил почтенные фигуры этих мужей в гротескные маски, насколько возможно «демонументализировав» их жизнь. Когда он рассказывал, например, о сексуальной стороне жизни Перикла (фрагм. 10), он применял к полисному деятелю тот подход сенсационного «разоблачения» семейных тайн, обычным объектом которого были монархи. Заметим, что Плутарх, чье не критическое отношение к источникам давно стало общим местом научной литературы, все же отлично знал цену этому низкопробному материалу («Перикл», XIII; ср. также замечание о нелепой сплетне Идоменея в X главе той же биографии), относясь к нему с

тем большей досадливостью, что встречал в нем помеху своим установкам на идеализацию и, так сказать, «ремонументализацию» образа Перикла (если он все-таки не может совсем обойтись без подобных сведений, это говорит, между прочим, и о силе жанровой инерции античного биографизма, выросшего прежде всего на «сплетне»). Заметим еще, что в X книге уже упоминавшихся «Φιλίππικὰ» Феопомпа был огромный экскурс более или менее биографического содержания, посвященный «афинским демагогам» (слово *δημαγωγοί* здесь, несомненно, имеет отчетливый одиозный смысл)²⁴. Дошедшие фрагменты этого экскурса связаны преимущественно с афинской «скандальной хроникой» (взяточничество и казнокрадство Фемистокла, непристойная развязность Клеона и т. п. темы). Сборник «О демагогах» составил также Идоменей из Лампсака, представитель собственно биографической литературы эллинизма.

Приведенный материал дает основание для довольно надежных выводов относительно преобладающей тематики эллинистического биографизма. В нашем списке бросается в глаза почти полное отсутствие биографий, связанных с именами, так сказать, «нормальных» деятелей полисной эпохи. Если Стесимброт писал о Перикле, то он и его выставлял героем пикантных анекдотов и тайным злодеем. Правда, мы имеем свидетельство о том, что некий загадочный Ксенофонт Афинский (не смешивать с сыном Грилла) написал «Жизнеописание Эпаминонда и Пелопида»; к сожалению, не сохранилось не только ни одного фрагмента сочинений этого автора, но неизвестно даже приблизительное время его жизни²⁵. Мы не знаем, работал ли этот Ксенофонт в эпоху эллинизма, или он был, как и Плутарх, современником «греческого Возрождения» и выражал те же реставраторские тенденции. Во всяком случае, его труд на фоне нашего списка выглядит как исключение, лишь подтверждающее общее правило.

Разумеется, трудно было бы категорически утверждать, что деятели полисной классики, которые не были ни монархами, ни тираннами и с

именами которых не было связано никаких скандальных историй, совершенно не привлекали эллинистическую биографию. Для такого утверждения у нас слишком ненадежные данные. В этом вопросе можно говорить лишь об общих тенденциях, общем стиле эллинистического биографизма; но эти общие тенденции можно характеризовать уже с уверенностью.

В своем дальнейшем развитии античная биография (за немногими исключениями, важнейшее из которых и составляют «Параллельные жизнеописания» Плутарха) остается верной тем же интересам. Биографии деятелей духовной культуры количественно преобладают и в римскую эпоху. Для философов можно назвать «Жизнеописание Эпиктета» Арриана, грандиозный сборник Диогена Лаэртского, биографии, написанные в неоплатонических кругах («Жизнеописание Плотина» Порфирия, «О пифагорейском образе жизни» Ямвлиха Халкидского, «Жизнеописание Исидора» Дамаския и «Жизнеописание Прокла» Марина), а также анонимные биографические сочинения, о которых уже говорилось. Сюда же примыкает философско-ареталогический «роман» Филострата об Аполлонии Тианском²⁶. Биографии риторов писали Филострат, Евнапий и опять-таки безвестные анонимы. Таков далеко не полный перечень.

Эта линия античного биографизма расцветает и в римской литературе (достаточно вспомнить Светониевы жизнеописания поэтов, грамматиков и риторов), непосредственно переходя в христианскую эпоху: Иероним и Геннадий, работая над биографиями христианских писателей (сборник «О знаменитых мужах», самое заглавие которого в высшей степени традиционно!), отчетливо сознают себя продолжателями. Об этом свидетельствует заявление самого Иеронима (из предпосланного сборнику обращения к некоему Декстру): *«То же самое делали у греков Гермипп Перипатетик, Антигон из Кариста, Сатир, ученый муж, и самый ученый из всех, искушенный в музыке Аристоксен, а у латинян — Варрон, Сантра, Непот, Гигин и тот, чьему примеру ты зовешь нас последовать, — Транквилл».*

То же происходит и с типом биографий монарха. Как непосредственное продолжение инерции, заданной эллинистическим придворным биографизмом, возникает сочинение перипатетика Николая Дамасского «О жизни Цезаря Августа и его воспитании»²⁷; вместе с уже упоминавшимися биографическими трудами Онесикрата («Как воспитывался Александр») и Лисимаха («О воспитании Аттала») оно стоит в длинном ряду, открываемом Ксенофоновой «Киропедией». Переработку эллинистического материала давало сочинение Афиней из Навкратиса (автора «Пирующих софистов») «Царствовавшие в Сирии». На более актуальном материале традиция биографии монарха была обновлена в римской литературе Светонием²⁸; затем эта линия идет через Мария Максима к США и уходит в средние века (ок. 821 г. Эйнхардт воспроизводит структуру Светониевых жизнеописаний цезарей в своей биографии Карла Великого). Для греческой литературы можно назвать двух современников императора Адриана — его вольноотпущенника Флегонта из Тралл (известного как автор трактата «О необычайных явлениях»), который составил жизнеописание своего царственного патрона, и некоего Аминтиана, в подражание Плутарху (но на совершенно ином материале!) написавшего «Параллельные» биографии тирана Дионисия, Филиппа Македонского, Августа и Домициана. Кроме того, филэллинская политика Адриана стимулировала появление ряда греческих энкомиев, возможно, биографически оформленных (Аспасий из Библоса, Орион и др.). Однако особенное усиление на греческой почве биографического интереса к личностям цезарей совпадает с политической активизацией восточной части империи и с разгаром страстей религиозной борьбы в IV в. Христианин Евсевий Памфил в своем «Жизнеописании Константина» и язычник Либаний в своей XVIII речи (надгробное слово Юлиану Отступнику²⁹) обновляют, каждый по-своему, и сократовско-ксенофоновскую форму биографического энкомия в честь правителя: IV век н. э. как бы возвращается к первым опытам IV в. до н. э. Как и на Западе, традиционная структура жизнеописания монарха неодно-

кратно возрождается в средние века, как об этом свидетельствуют образцы византийского светского биографизма³⁰. И здесь традиция оказывается чрезвычайно устойчивой.

Кроме двух описанных тематических типов — биографии монарха и биографии профессионального литератора, ученого, художника — мы находим в арсенале тематики античного биографизма еще более откровенные выражения господствовавшего над этим жанром духа любопытства, сенсации, сплетни или педантического коллекционирования мелочей и курьезов. Известно, например, что Светоний составил сборник «О знаменитых блудницах». Вероятно, жизнеописания гетер были включены и в цикл Харона Карфагенского «О женщинах»; вообще, насколько можно судить по отражениям в позднейшей литературе, эллинистическая биография довольно пристально занималась этой категорией знаменитостей. Прилежно собирался материал о развратниках (неисчерпаемым источником такого материала служило ложно приписанное Аристиппу сочинение «О сластолюбии древних»³¹) и о трезвенниках (каталог трезвенников у Афинаея, 44 В сл., очевидно, воспроизводит эллинистический источник). К этой же сфере эллинистической учености принадлежат перечни «долгожителей», один из которых дошел под именем Лукиана; с особенной кропотливостью «инвентаризация» такого же материала проведена у Флегонта из Тралл — в его списке имена строго разнесены по рубрикам, так что сначала перечисляются лица, дожившие ровно до ста лет, затем до 101 года, до 102, 103 и т. д. лет. Излюбленной темой античной биографии были всякого рода чудачки. Легендарный человеконенавистник Тимон удостоился жизнеописания, составленного биографом поэтов и философов Неанфом из Кизика³². Если это жизнеописание действительно, как есть основания полагать, входило в цикл Неанфа «Περὶ ἐνδοξῶν ἀνδρῶν», то это было бы ярким примером того, насколько слово ἐνδοξός в руках античных биографов утратило всякий серьезный *оценочный* смысл, став обозначением просто достопримечательной «знаменитости»: речь идет не о предметах шпитега,

но об объектах любопытства. Арриан написал биографию разбойника Тиллибора; едва ли подлежит сомнению, что он следовал эллинистическим образцам³³.

Может показаться, что серьезным возражением против набросанной нами картины (из которой сознательно исключены биографии Плутарха) является указание на биографический сборник Корнелия Непота, в сохранившейся части которого мы встречаем таких героев полисной старины, как Мильтиад, Фемистокл, Аристид, Кимон и т. п. Это тем более важно, что со времен Эд. Мейера³⁴ существует обыкновение умозаключать от Непотовых биографий к существованию эллинистических биографий тех же героев (например, Кимона). Поэтому о труде Непота необходимо сказать несколько слов.

Начнем с того, что эти биографические выписки и заметки, призванные сообщить любознательному, но не слишком осведомленному римлянину некоторый минимум справочных сведений о героях отечественной и чужеземной истории, лишь с серьезной оговоркой могут быть приравняемые к настоящим жизнеописаниям³⁵. При этом особенно скупо и невыразительно трактованы у него как раз такие образы греческой классики, как Аристид или Кимон, а в центре стоят (даже оставляя в стороне биографию Аттика) какие-нибудь Датам, Евмен или Ганнибал. В самом деле, биография Аристида занимает 48 строк тейбнеровского издания³⁶ против 324 строк биографии Евмена, «Катон» — 62 строки против 292 строк «Ганнибала».

Важно и другое. Греческая биография, поздно возникнув, вынуждена была считаться с фактом существования давно сложившейся монументальной историографии; поиски своего, недоступного старшему жанру материала естественно отесняли ее к «периферийной» тематике. Непот, как римлянин, находился в ином положении, нежели его эллинистические собратья по жанру: он не был связан тем, что материал, относящийся к полисной классике, — традиционное владение монументальной историографии. Поэтому без достаточных оснований предполагать, что Непот

перерабатывал готовые эллинистические жизнеописания героев полисной старины, неосторожно; вообще говоря, после всех возражений, которые встретила за последнее время концепция Мейера, *opus probandi* лежит скорее на том, кто решился бы ее восстановить. Да и самый облик Непотовых жизнеописаний наводит на мысль, что перед нами по большей части не переработка готовых биографий, а конгломерат выписок из исторических трудов общего (не монографического) характера. Интересно, что Иероним представляет себе способ работы биографов классической древности, в том числе и Непота, совершенно иначе, чем немецкие филологи конца прошлого и первой половины нашего столетия, — по его словам, эти авторы, «раскрывая истории и анналы старых времен, получали возможность как бы собрать с этих огромных лугов цветы на маленький венок своего сочиненьца» (*De vir. illustr., praef.*).

В противоположность другим дошедшим биографиям Непота, его «Аттик» — подлинное, полноценное, разработанное жизнеописание; но его герой — это принципиальный абсентеист, не имеющий общезначимых «деяний», но только приватную «жизнь». Поэтому биографический жанр со своим негражданственным духом хорошо к нему подходит. Сходный случай представляет, при всем кажущемся различии, и «Агрикола» Тацита: деяния Агриколы, сравнительно заурядные, важны не сами по себе, но как проявление определенной жизненной установки, бережно сохраняемой в неблагоприятных условиях. Под властью Домициана мало что можно было *сделать*, но даже тогда истинный римлянин мог *жить* достойным его образом — вот что хочет сказать нам Тацит. Поэтому энкомий приобретает здесь форму не «*res gestae*» («деяний»), но «*vita*» («жизнеописание»). В прежние, республиканские времена деятелю государственному человеку естественно было посвятить не биографию, но «историческую монографию», т. е. изложение «деяний»; именно о такой монографии Цицерон просил Луция Луккея (*fam. V, 12*) и Посидония (*Att., II, 1*), между тем как последний уже прославил таким образом Помпея ³⁷,

Итак, подытоживаем сказанное. Античная биография возникла и развивалась в отталкивании от монументальной историографии, как порождение центробежных, антимонументалистских тенденций эллинистической культуры. Ее жизненной атмосферой был дух неразборчивого любопытства или педантичного коллекционирования нужных и ненужных сведений; иногда эта бесстрастная акрибия сменялась резкой оценочностью и взвинченной риторической патетикой, и тогда возникал биографически оформленный энкомий или его антипод — «псогос». Ее естественными и излюбленными героями были личности, принадлежащие либо миру книжной учености (философы, поэты, риторы, грамматик), либо миру уличной сенсации (монархи, разбойники, гетеры, чудаки). В целом она исходит не из оценочной идеи «великого человека», но из идеи «знаменитости» в смысле некоторого курьеза: это своего рода «кунсткамера», где Александр Великий или Эпиктет могут стоять рядом с любым Тиллибором или Тимоном. Поэтому она претендует (как мы это видели на примере вступления к сборнику Непота) на познавательную ценность и на занимательность, но никак не на моральное значение.

ТЕМАТИКА

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ»

Подбор героев в ранних, не дошедших биографических циклах³⁸ и отдельных жизнеописаниях Плутарха вполне соответствует традиционному направлению, заданному эллинистическими образцами. Мы встречаем здесь восемь римских цезарей (от Августа до Вителлия; из них «Гальба» и «Отон», как известно, сохранились), трех поэтов (Гесиода, Пиндара, Арата), одного философа (Кратета). Когда Плутарх писал биографии героев, более или менее принадлежащих мифу (Геракл, Даифант, Аристомен), он опять-таки следовал за эллинистической традицией антикварной обработки мифологического материала (удовлетворительное представление об этой отрасли античного биографизма дают дошедшие жизнеописания Эзопа, Гомера и Гесиода).

То же можно сказать и об «Артаксерксе». Эта биография восточного деспота, наполненная сенсационными картинами заговоров и казней, а также обильными этнографическими деталями³⁹, вполне соответствует эллинистическому пониманию жанра. Вообще говоря, античная теория видела в этнографическом материале естественное достояние биографии: именно в такого рода сведениях, как мы уже видели, Непот усматривает главную ценность и привлекательность биографического повествования⁴⁰. Такие мерки вполне приложимы к «Артаксерксу»; лишь по авторской интонации (например, в последней, XXX главе) можно, как кажется, заключить, что херонейскому биографу не доставало жестокого любопытства, чтобы вполне увлечься таким сюжетом.

«Арат» (не смешивать с биографией поэта Арата) и особенно утраченные «Леонид» и «Метелл» — если последнее сочинение действительно было не только задумано, но и написано⁴¹ — по своей тематике уже вполне однородны с «Параллельными жизнеописаниями».

Переходим к последним. Прежде всего отметим, что в этом цикле представлены только государственные люди и полностью исключены поэты, философы, риторы и т. п. Даже Демосфен и Цицерон берутся Плутархом лишь как политические деятели; их литературная продукция сознательно обходится. В прооймии к этой паре биографий содержится следующая знаменательная декларация: «Повествуя в этой, пятой по счету, книге наших «Сравнительных жизнеописаний» о Демосфене и Цицероне, мы будем исследовать природные свойства и нравы **обоих** и сопоставлять их между собой, исходя из поступков **обоих** и их поведения на государственном поприще; но заниматься сравнительным рассмотрением их речей и выяснять, кто из них говорил более «сладо» или более «мощно», мы предоставим другим» (Demosth., 3). Здесь каждое слово в высокой степени характерно для тех сторон мировоззрения Плутарха, о которых мы говорили в главе I настоящей работы: вспомним, что о стилистических особенностях творений своего кумира Платона наш автор также «предоставлял говорить

другим». Его запоздалая приверженность полисным идеалам принуждала его третировать историко-литературную проблематику как проявление педантской *μικρολογία*: к чему говорить о словах, когда можно говорить о делах? Такие мотивы, как мы уже видели, проступают во всем его творчестве, начиная с юношеской декламации «О славе афинян». Но сделав эти свои воззрения принципиальной основой при отборе тематики для биографического сборника, Плутарх очевидным образом отходил от давней традиции. Мы знаем биографические циклы эллинистического и римского времени, героями которых являются исключительно философы, поэты и т. д. (или исключительно монархи); но за вычетом последнего случая (т. е. биографий монархов) мы не знаем сборников, из которых поэты, риторы, философы и т. п. вообще были бы изгнаны. Господствующим типом античного биографического сборника был, вообще говоря, тот, с которым было связано стереотипное заглавие «О знаменитых мужах» («Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν») и соответственно «De viris illustribus»). Такое заглавие впервые засвидетельствовано для труда Неанфа из Кизика (III — II вв. до н. э.)⁴²; уже у него (и еще ранее в βίος Сатира) было осуществлено смешение действующих лиц политической и литературной истории. То же мы видим и позднее: из 16 книг сборника Корнелия Непота с тем же традиционным заглавием более половины было отведено таким героям, как поэты (кн. 7 и 8), ораторы (кн. 9 и 10), историки (кн. 11 и 12), грамматики (кн. 13 и 14) и риторы (кн. 15 и 16)⁴³. То обстоятельство, что сборник Плутарха совершенно исключает эту тематику, столь привычную для античного биографического жанра, заслуживает быть особо отмеченным.

Нечего и говорить о том, что среди героев «Параллельных жизнеописаний» немислимы персонажи эллинистического биографизма порядка гетеры Лаиды или мизантропа Тимона (хотя последнему Плутарх посвящает экскурс в 70 главе «Антония»).

Итак, мы констатировали отсутствие некоторых традиционных групп персонажей в списке

героев Плутархова сборника. Рассмотрим теперь, кто же в нем присутствует.

Из 24 имен греческой половины цикла (считая недошедшего «Эпаминонда»⁴⁴) львиная доля приходится на эпоху *полисной классики*. Мы встречаем здесь афинян Солона, Фемистокла, Аристида, Кимона, Перикла, Никия, Демосфена и Фокиона, спартанцев Лисандра и Агесилая, фиванцев Эпаминонда и Пелопида, сиракузских борцов за полисное «благозаконие» Диона и Тимолеонта — всего 14 имен. К ним по сути дела примыкают: Агид и Клеомен, изображенные Плутархом как поздние и неудачливые восстановители древних, «Ликурговых» порядков и, стало быть, как собратья по духу героев полисной старины, а также «последний эллин» Филопемён.

Мифическая древность представлена для Греции Тесеем и Ликургом. О работе над этим материалом, столь притягательным для представителей александрийской антикварной учености, Плутарх говорит уже не без иронии («Тесей», 1): «Пусть же мифическое начало, очищенное разумом, проявит покорность и примет видимость истории (*ιστορίας ὄψιν*); но там, где оно своевольно пренебрежет правдоподобием и отвергнет всякое сочетание с ним, мы попросим читателей (собственно, «слушателей», *ἀκροατῶν*) о благожелательном снисхождении к этим рассказам о старине».

Этот мягкий юмор по отношению к ходовым приемам рационализирующей переработки мифа весьма примечателен и свидетельствует о том, что херонейский биограф был умнее и тоньше, чем его часто изображают; но в данном случае нас интересует не это. Плутарх глубоко любил сферу *ἀρχαιλογία* и заплатил обильную дань антикварным интересам в многочисленных сочинениях («Римские причины», «Греческие причины», недошедшие «Варварские причины», «Истории основания городов», «О платейских кумирах» и др.); эти интересы, безусловно, присутствуют и в «Параллельных жизнеописаниях» (особенно в экскурсах). Но не они в первую очередь определяют суть сборника. В этой связи характерно, что пара «Тесей» — «Ромул», как из-

вестно, была выполнена одной из последних (об этом говорит сам Плутарх, «Тесей», 1).

Что касается македонских монархов и затем диадохов и эпигонов, то Филипп, излюбленный герой античной биографической (Сатир, Аминтиан) и полубиографической (Феопомп) литературы, здесь вообще отсутствует. Не приходится удивляться, что Александру, герою своих восторженных юношеских декламаций⁴⁵, Плутарх посвятил большое жизнеописание, по объему второе в сборнике. Однако диадохи и эпигоны представлены лишь биографиями Эвмена, Пирра и Деметрия, из которых последнему (наравне с Антонием) отведена, как известно, незавидная роль мрачной фольги для гражданских добродетелей других героев. О своеобразном положении, которое занимают среди персонажей сборника Агид и Клеомен, мы уже говорили.

Таким образом, для греческой половины цикла преобладание образов полисной классики очевидно. Что касается римлян, здесь центр тяжести, как и естественно было бы ожидать, сдвинут в сторону более поздних времен; как бы ни были сильны «реставраторские» тенденции херонейского биографа, наибольшее количество материала дала эпоха гражданских войн. Все же старине уделено достаточно много места. Эпоха царей представлена именами Ромула и Нумы, полумифическая республиканская древность — именами Попликолы, Кориолана и Камилла. Далее идет тот период, который сами римляне времен Цицерона воспринимали как классический период своей государственности; эта эпоха, с таким блеском изображенная в 9 главе «Заговора Катилины» Саллюстия⁴⁶, составляет тему биографий Фабия Максима, Марцелла, Сципиона (повидимому, Старшего⁴⁷), Катона Старшего, Фламинина, Эмилия Павла. С другой стороны, Гракхи (как и их греческие сотоварищи Агид и Клеомен) изображены скорее как восстановители древнего «благозакония», нежели как его ниспровергатели.

Эпоха, которая, по Саллюстию, положила конец римскому благозаконию («Заговор Катилины», 11)⁴⁸, дана в жизнеописаниях Мария, Сул-

лы и Сертория. Из деятелей I в. до н. э. мы встречаем Лукулла, весь так называемый «первый триумвират» (Цезарь, Помпей, Красс), а также его важнейших противников из республиканского лагеря, также в количестве трех (Цицерон, Катон Младший, Брут). На тех же основаниях, что и Деметрий — как отталкивающий образец порочности, — включен Антоний. Дальше конца республики Плутарх не идет: ни одного из цезарей мы не встречаем среди героев сборника.

Бросается в глаза чисто *оценочный* подход к подбору персонажей. Плутарх явно избегает одиозных образов: так, среди героев эпохи греко-персидских войн отсутствует Павсаний. Вполне соответствует духу сборника и отсутствие Филиппа Македонского: Филипп не только был антипатичен Плутарху как недруг эллинской свободы, но и весь брутальный облик царя-полуварвара, связанные с его именем подробности пиршественно-альковного порядка, которые с таким увлечением расписывал тот же Феопомп (см. выше), плохо подходили к общей атмосфере «Параллельных жизнеописаний». Единственное исключение подтверждает правило: вводя пару Деметрий — Антоний, Плутарх считает нужным особо оговаривать и объяснять это в прооимии. При этом он и здесь отмежевывается от установки на развлекательность и сопутствующей ей неразборчивости в выборе темы (т. е. от общих, родовых тенденций биографического жанра в древности): «Мы не стремимся внести в наше сочинение разнообразие на утеху и развлечение читателей, но убеждены, что мы будем с большим жаром созерцать жизнь лучших людей и подражать ей, если не оставим без исследования жизнь людей дурных и порицаемых» («Деметрий», 1). Моралистическая тенденция отчетливо противопоставляет себя всякому этическому индифферентизму; между тем последний составляет самую суть того стиля античного биографизма, который проявляется еще у Феопомпа и хорошо известен по жизнеописаниям Светония и SHA.

Одна из категорий, особо важных для понимания подбора героев в «Параллельных жизнеописаниях», — восходящая к Платону ⁴⁹ категория

«великой природы» (μεγάλη φύσις). Это величие души, незаурядность, значительность Плутарх находит даже у своих «злодеев» Деметрия и Антония: «Эта книга содержит жизнеописания Деметрия Полиоркета и императора Антония, мужей, в наибольшей степени оправдавших мнение Платона, по которому *великие природы порождают не только великие добродетели, но также и великие пороки*» («Деметрий», 1). Тем более присуща эта μεγαλοφυχία добродетельным героям Плутарха, определяющим лицо сборника в целом: в основе его лежит не любопытство, но *пиетет*, не морально индифферентная идея «знаменитости» (которая, как мы видели, стоит за стереотипным для античной биографии выражением ἀνὴρ ἔνδοξος), но нормативная концепция «великого человека» (ἀνὴρ μέγας)⁵⁰. Сам Плутарх так формулирует свой избирательный подход к исторической тематике («Эмилий Павел», 1): «Изучая историю и занимаясь нашим сочинением, мы приучаем себя постоянно сохранять в душе *память о лучших и достославнейших людях*, а если общение с окружающими по необходимости принесет нам что-нибудь мерзкое, порочное, низкое, — отбрасывать и отталкивать, сосредоточивая радостное и умиротворенное размышление на достойнейших образцах». «Мы выбираем для ознакомления с ними самые значительные и прекрасные из деяний», — говорит Плутарх в другом месте той же главы. Императив строго избирательного подхода к материалу высказан и в уже цитированном выше прооймий к «Периклу». Достаточно вспомнить такое замечание: «Наши внешние чувства пассивно воспринимают все, что попадает в круг их восприятия... но мыслью каждый из нас может — стоит только захотеть — в любое время сосредоточиться на том, на чем сочтет нужным. Поэтому нужно направлять внимание на *самые достойные предметы* (τὸ βέλτιστον), так, чтобы не только созерцать, но и духовно питаться созерцанием», — и ниже: «Занятие низменными вещами и труд, посвященный бесполезным предметам, есть свидетельство пренебрежения к добродетели». Разумеется, последняя фраза имеет весь ма широкий смысл; однако едва ли будет натяжкой

усмотреть в ней, между прочим, также и выпад против неразборчивого любопытства эллинистической биографии.

Итак, мы имеем право отметить две наиболее важные особенности подбора героев в «Параллельных жизнеописаниях».

1) В противоположность негражданственным, антиполисным тенденциям, присущим античному биографизму в целом, интересы Плутарха имеют отчетливое гражданственное и «классицистическое» направление. Одиозный для полисных традиций мир профессионального артистизма и интеллектуализма вообще отсутствует; мир придворных отношений представлен слабо. В целом сборник рисует некоторую монументальную картину греко-римского прошлого, в которой на первом месте находится для Греции — полисная, для Рима — республиканская классика. В то же время, важное место отведено таким притягательным для Плутарха представителям нового, индивидуалистически организованного мира, как Александр Великий или Цезарь; они как бы примирительно приобщаются к классицистическому пантеону⁵¹. На греческой половине сборника особенно отчетливо видно, что она имеет как бы два центра: главный — жизнеописания афинян классической эпохи и второстепенный — биография Александра.

2) В противоположность моральному индифферентизму, характерному для тематики биографических сборников эллинистического периода, подбор героев в сборнике Плутарха основан на *морально-оценочных критериях*. Не ко всем своим героям Плутарх относится с одинаковым пиететом; ему претит, например, безволие Никия («Никий», 4—6, 8 и 23), корыстолюбие Красса («Красс», 2), деспотические наклонности старого Мария («Марий», 45—46), не говоря уже о пороках Деметрия и Антония, для характеристики которых он находит достаточно сильные слова («Деметрий», 24, 26, 42, 52; «Антоний», 2, 9, 24, 30, 62). Но даже в этих последних Плутарх, как мы видели, находит при всей их испорченности некое душевное величие, черты которого он подчеркивает по ходу рассказа («Деметрий», 3—5 и др.; «Антоний», 4 и особенно 43, где слышатся поч-

ти энкомиастические интонации); в «сопоставлении» мы читаем характерное замечание об Антонии: «О его величии (μέγεθος) свидетельствует даже то, за что его бранили... Этот человек сделал себя столь великим (μέγας), что другие считали его достойным лучшей участи, чем та, которой пожелал он сам». Разумеется, это μέγεθος в данном случае не имеет чисто нравственного значения в строгом смысле (но ригоризм вообще чужд этике Плутарха!); во всяком случае, авторская интонация позволяет заключить, что речь идет не только о грубой силе, о чисто внешней власти, но также и о какой-то внутренней значительности. Но в тем большей степени это μέγεθος, эта импонирующая значительность присуща прочим героям Плутарха, которых он именует «лучшими и достославнейшими», ἀριστοὶ καὶ δοκιμώτατοι. Перечень персонажей «Параллельных жизнеописаний» имеет характер некоего продуманного «канона» героев греко-римской древности.

Таковы самые важные черты Плутархова сборника: классицистическая окрашенность и оценочная направленность. Но нельзя не сказать о том, что писательская индивидуальность Плутарха с ее (характерными для эпохи херонейского биографа) запросами и интересами очевидным образом проявляется и в других аспектах его канона великих мужей. Для выявления этого обстоятельства полезно сопоставить «Параллельные жизнеописания» с такими трактатами Плутарха, как «Наставления государственному мужу», «К непросвещенному правителю», «О том, следует ли старику заниматься государственными делами» и другими сочинениями на этико-политические темы. Соотношение между обеими сферами творчества Плутарха выглядит очень отчетливым; «Моралии» дают теорию, биографии — конкретную иллюстрацию к теории. Напомним то, что мы говорили в главе I настоящей работы о связи обращения Плутарха к историческому материалу с основами его философского мирозерцания.

Уже в своих теоретических сочинениях Плутарх регулярно пользуется для наглядности изложения историческими «примерами» (παράδειγμα — terminus technicus античной риторической теории!).

Он сам говорит, например, о «Наставлениях государственному мужу» (гл. 1): «Я воспользовался... самыми разнообразными примерами»; это можно было бы повторить и о других его сочинениях подобного рода. Биографии же выглядят на этом фоне как развитие иллюстративных мотивов, бегло намеченных в трактатах, или как своего рода разросшееся до внушительных размеров иллюстративное «приложение» к последним. При этом подбор «примеров» в трактатах, что вполне естественно, совершенно однороден тематике «Параллельных жизнеописаний»: и там, и здесь одни и те же имена⁵², одни и те же афоризмы и анекдоты, одни и те же исторические ситуации классической старины.

Итак, рассмотрим некоторые примеры того, как воззрения Плутарха, в наиболее явной форме проявившиеся в «Моралиях», повлияли на подбор героев в биографиях.

Плутарх как прирожденный педагог-моралист *κατ'ἔξοχήν* видел в деятельности государственного человека прежде всего *воспитательную* ее сторону. Политик — воспитатель, народ — объект воспитания, — вот концепция Плутарха. Ее ключевой термин — непереводимое словосочетание *πολιτικὴ παιδεία* (напр., «Наставления государственному мужу», гл. 21, 816 E; это понятие раскрывается и в гл. 4 того же трактата, 800 A).

Нельзя не видеть, что эта политико-педагогическая проблематика исключительно широко представлена в «Параллельных жизнеописаниях». Ею определен, в частности, интерес Плутарха к образам законодателей (Ликург, Нума, Солон, а в интерпретации Плутарха также Тесей и Ромул) и политических реформаторов (тот же Солон, Агид, Клеомен, Гракхи)⁵³. По мысли Плутарха, законодатель — это воспитатель своего народа, имеющий по сути дела неограниченную возможность формировать его нравы и склонности; такое понимание отчетливо проступает, например, в сопоставлении Ликурга и Нумы. Заметим, что современник нашего автора Дион Хрисостом посвящает обоснованию этой же концепции роли законодателя в истории своего народа целый диалог с неожиданным заглавием «О демоне»

(Orat., XXV). Законодатель, по Диону, есть настоящий «демон» тех, кому он дает свои законы, ибо поведение народа всецело зависит от его воли. Так, Ликург был «демоном», — разумеется, добрым — лакедемонян, Писистрат, Фемистокл, Перикл — «демонами» афинян (гл. 3—4); затем для последних наступил черед оказаться в ведении дурных демонов — всяких Алкивиадов, Клеонов, Гиперболов. Затем (гл. 5—8) перечисляются злые и добрые «демоны» персов (Кир и Камбиз), карфагенян (Ганнон и Ганнибал) и македонян (Филипп и Александр), но особо подчеркивается (совершенно в духе Плутарха!) благое миротворческое действие законодательной деятельности Нумы. Одной из главных тем политико-педагогических рассуждений Плутарха является положение о воспитательском такте как необходимой принадлежности правителя. Воспитатель должен уметь правильно поставить себя с воспитуемыми: он не должен ни отпугивать их излишней суровостью и неуступчивостью, ни заискивать перед ними. Эти мысли неоднократно развиваются в политических трактатах Плутарха (напр., «Наставления государственному мужу», гл. 24, 818 E); они нашли выражение и в подборе героев «Параллельных жизнеописаний».

Примеры излишней жестокости — прежде всего Фокион и Катон Младший (именно по этому признаку они объединены в пару). О последнем Плутарх говорит: «Он имел такой нрав, что не мог ни убеждать толпу, ни привлекать ее к себе, и не имел в государственных делах той влиятельности, которая возникает от расположения граждан». Отсутствие педагогического такта в обращении с толпой неоднократно отмечается для Лукулла («Лукулл», 33; 36; 45) и отчасти для Кимона («Лукулл», 45). Но крайний пример политической бестактности и эгоцентрической неуживчивости, делающей государственного человека врагом собственного народа, — Кориолан.

Напротив, излишнюю уступчивость и робость для Плутарха воплощает Никий («Никий», 2; 4—6; 8 и др.). В прооймии к тетраде «Агид» — «Клеомен» — «Гракхи» мы читаем: «Софокловы пастухи говорят о своих животных: «Хотя мы

их хозяева, мы служим им, как рабы...»; в таком же положении оказываются и государственные мужи, действующие в угоду прихотям толпы, — они рабствуют и прислуживают ей» («Агид», 1). Здесь с особой отчетливостью выступает аристократический смысл политико-педагогической концепции Плутарха.

Идеал Плутарха — соединение «величия» (τὸ σεμνόν, т. е. суровой принципиальности в духе Фокиона) с «уступчивостью» (τὸ ἐπιεικές). Воплощение этого идеала — Фабий Максим, противопоставляющий неразумию толпы непреклонную строгость (гл. 10 и др.), но умеющий, где нужно, быть мягким и смотреть сквозь пальцы на человеческие слабости (гл. 20), а то и воспользоваться ими ради пользы дела (гл. 21)⁵⁴.

Заметим еще, что подбор героев сборника хорошо выражает всю сложность отношения Плутарха к таким актуальным для него проблемам, как проблема единовластия, проблема римского владычества и т. п.

Жизнеописания Александра и Цезаря, несмотря на все проявления критической позиции по отношению к обоим («Александр», 48—53; «Цезарь», 60 и др.), дают достаточно величественные образы властителей, за которыми стоит судьба (ср. особенно «Цезарь», 69). Но им симметрично противопоставлены, как яркое напоминание об опасных возможностях единовластия, фигуры Деметрия и Антония. С другой стороны, среди героев сборника выделяется импонирующая группа греческих и римских борцов против единовластия (Дион, Тимолеон, Брут, Катон Младший).

Римское владычество — для Плутарха очевидная необходимость (ср. выше, глава I). Поэтому он с искренней лояльностью прославляет Тита Фламинина как образец наиболее гуманного варианта этого владычества. Но в паре с Фламининим выступает строптивый «последний эллин» Филопемён («враг и недоброжелатель римлян»).

Таким образом, в самых различных деталях подбора героев сборника и их расстановки по диадам (на последней мы остановимся в главе IV) чувствуется круг интересов и ход мысли самого Плутарха, его творчество, его оригинальность.

БИОГРАФИИ ПЛУТАРХА И «ГРЕЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

В общей перспективе путей античной культуры отношение «Параллельных жизнеописаний» к эллинистической традиции представляется довольно ясным.

Для перипатетического и александрийского биографизма, как и для всей эллинистической культуры в целом, классика (как она выразила себя, например, хотя бы в монументальной историографии геродотовско-фукидидовского типа) была непосредственно «вчерашним» днем: от нее надо было оттолкнуться, ее надо было любым способом «превзойти». В этом смысле биографии того же Гермиппа стоят на одной линии с поэтическим творчеством его учителя⁵⁵ Каллимаха. И здесь, и там главные черты — отвращение к спокойной монументальности⁵⁶ и парадоксальное сочетание экстравагантной патетики или сентиментальности с нарочитой сухостью и «документализмом» (каллимаховское *οὐδὲν ἀμάρτυρον* — «ничего незасвидетельствованного!»). Принцип документализма и у Каллимаха, и у Гермиппа нередко становится объектом откровенной *игры*: если Гермипп ссылается в своем жизнеописании Фалеса на свидетельство некоего Патека, чья душа в одном из своих прежних существований находилась в теле баснописца Эзопа и отлично запомнила все впечатления той жизни, чтобы дать интервью дотошному биографу (см. *Plut. Sol.*, VI, 81d), то это живо напоминает настроение Каллимахова гимна Зевсу с его наукообразными попытками выяснить, где «на самом деле» родился бог⁵⁷.

Нетрудно понять, что делало возможным подобную установку на интеллектуальную игру. Если для классической эпохи между серьезными материями и безделками, между *καὶδεία* и *καίδια*⁵⁸ пролегла четкая грань, то теперь эта грань исчезла: в политической повседневности интимные особенности характера какого-нибудь македонского или иного монарха оказались и впрямь важнее постановлений афинского народного собрания; а в духовной сфере деятельность перипатетиков, занявшихся «инвентаризацией» факто-

логического материала, небывало развила круг предметов, которыми «не стыдно» было интересоваться серьезному человеку. Стало казаться безразличным, к чему прилагать педантическую акрибию.

Античная биография, как ее сформировала эллинистическая эпоха, была как раз поприщем для виртуозов многознания. По словам Непота (*De vir. illustr., praef.*), в его время положительные римляне издевались над составителями биографий из-за того, что они тратят силы на выяснение проблем вроде следующей: «кто был тот человек, который обучал Эпаминонда музыке?»⁵⁹ Мы можем наблюдать этот стиль античного биографизма с полной наглядностью и у Светония, и у SHA: так, Юлий Капитолин в своей биографии Пертинакса (гл. 12) со всеми подробностями перечисляет список кушаний, которые обычно подавались гостям этого императора, как раз *не* бывшего чревоугодником, — и это только случайный, наудачу выбранный пример, который можно было бы дополнить десятками ему подобных (см. также главу II).

Заметим по этому поводу следующее. Как известно, Плутарх в своих «авторских декларациях» неоднократно отмежевывается от «бесполезных изысканий» (*ἄχρηστος ἱστορία*), от коллекционирования в угоду пустому любопытству нужных и ненужных сведений (например, «Никий», 1). Современные исследователи нередко видели в таких высказываниях выпад моралиста против подлинной историографии, чуть ли не специально против Фукидида (см. во введении к настоящей работе разделы, посвященные трудам С. Я. Лурье и К. Цяглера). Споры нет, Плутарх говорит о «полезности» или «бесполезности» тех или иных сообщений, исходя из моралистико-педагогических или в лучшем случае психологических целей. Однако если читать Плутарха, памятуя о конкретной историко-литературной ситуации его творчества, гораздо естественнее представить себе, что его критика направлена не против историзма фукидидовского стиля (к Фукидиду Плутарх всегда относился если без глубокого понимания, то во всяком случае с почтением⁶⁰), но как раз ад-

ресована эллинистической *πολυπραγμοσύνη*, принципиально игнорировавшей всякие критерии различия важного и вздорного. Мы решаемся истолковывать упомянутые высказывания Плутарха как сведение счетов прежде всего с непосредственными литературными предшественниками херонейского биографа — его эллинистическими собратьями по жанру. Разумеется, Плутарховы декларации имеют и дополнительный, более широкий смысл.

Плутарх критикует эллинизм⁶¹ как представитель классицистической реакции. Для этого культурного течения, которое в первую очередь приобретает четкие черты на римской почве⁶² и уже затем — на греческой, полисная классика — уже не предмет отталкивания, но именно «классика»⁶³, «сокровищница», во владение которой нужно заново вступить. Прошлое потребовалось по-новому осмыслить и увидеть, одновременно *приближая* его к своему пониманию и «романтически» переживая его идеализируемую *отдаленность*: историко-культурная ситуация требовала *синтеза* реставрируемых классических традиций и эллинистического индивидуализма. Реализацией этого синтеза должна была явиться прежде всего *монументальная историография большого стиля*, в то же время ассимилирующая достижения эллинистического психологизма и сентиментализма (а наряду с этим — художественное обобщение исторической динамики в эпосе вергилиевского типа, также ассимилирующем эллинистические элементы). В основе этого лежала морально-философская проблематика включения обособившегося индивидуума в заново обретаемую «целостность»⁶⁴: классическую формулу этого двуединства этики гражданственности и патетики индивидуализма создал тот же Вергилий («Энеида», VI, 823):

... Amor patriae laudumque immensa cupido...

(«...К отчизне любовь и жажда безмерная славы» — пер. С. А. Ошерова).

У Плутарха эта же проблематика оформляется в его известную концепцию «благородного славо-

любия», умеренные проявления которой представляются ему источником всех благ общественной жизни, а эксцессы — корнем всех ее зол⁶⁵.

В римской прозаической литературе запросы эпохи в наиболее адекватной форме удовлетворил Тит Ливий. Он преобразовал историографию в своего рода национальный эпос, в котором гармонически сочетаются как спокойный, широкий, «объективный» и намеренно наивный ритм повествования, отвечающий идеалу старозаветной *gravitas* («важности») ⁶⁶, так и сентиментальная, «субъективная» патетика, всецело связанная с духом поздней, индивидуалистической культуры, но обращаемая опять-таки в русло благонамеренного патриотизма.

Не нуждается в объяснениях то обстоятельство, что этот индивидуалистический элемент требовал использования формального опыта эллинистической историографии, в том числе и специально *биографии*. Точную аналогию этому представляет использование опыта эпиллия и других жанровых форм поэзии эллинизма у Вергилия. В самом деле, у Ливия широко допускаются специфические интонации биографического энкомия, например, в тех отступлениях, которыми сопровождается упоминание о смерти того или иного героя. Сенека Старший так говорит об этих отступлениях («Суазории», IV, 21): «Историки, рассказав о кончине того или иного великого мужа, всякий раз предлагают краткий очерк всей его жизни и как бы *надгробное похвальное слово*; так раза два сделал Фукидид, так в отношении крайне немногих лиц поступил Саллюстий; *но особо щедрым на это для всех великих мужей был Тит Ливий*». В качестве примера можно назвать именно такие «некрологи» Камилла (VII, 1,9—10) и Сципиона Африканского (XXXIX, 52, 7—9), а также несколько иначе включенные в повествование разделы о Катоне Старшем (XXXIX, 40—41), о Сципионе (XXVI, 19 и др.) и знаменитую характеристику Ганнибала (XXI, 4).

Частичное использование *элементов* биографического подхода в монументальной истории Ливия — совершенно ясный случай. Но то, что Плутарх при решении достаточно однородных

задач прямо использовал *биографический жанр*, менее всего подготовленный, как мы видели, своими предшествующими судьбами для создания монументальной картины греко-римской старины, — и притом использовал в чистом виде, не растворяя в иной жанровой структуре, — должно быть особо объяснено. Заметим, что, судя по всему, «Параллельные жизнеописания» остались единственной заслуживающей упоминания встречей античного биографического жанра и классицизма «греческого Возрождения». После этой встречи они разошлись. Когда в следующем после Плутарха поколении уже упоминавшийся выше Аминтиан выступил как подражатель херонейского биографа, переняв у него «параллельное» расположение жизнеописаний, он не последовал за своим образцом в подборе героев. Инерция жанра взяла свое: тираны и монархи — Дионисий, Филипп, Август, Домициан — снова заступили место полисных деятелей. Этот факт исключительно наглядно показывает, до какой степени жанровая традиция античного биографизма не гармонировала с гражданственно-классицистической тематикой. Почему же все-таки Плутарх обратился к этому «легковесному и недостаточно почтенному» жанру?

В какой-то мере различный формальный подход к аналогичным задачам у Ливия и Плутарха можно объяснить свойствами самого материала: римская история вплоть до последних двух веков республики имеет гораздо более безличный характер, чем самая строгая архаика и классика греческих полисов. В этом отношении характерен опыт Катона, в своих «Началах» задавшегося целью совсем очистить свое изложение от имен⁶⁷, причем это относилось к первой и второй Пуническим войнам и прочим военным событиям до 156 г.: достаточно представить себе, что этот эксперимент был бы произведен при изложении событий Пелопоннесской войны, чтобы почувствовать контраст.

Важнее другое. Работая над «реактуализацией» римской архаики, а также над переработкой уже использованного некогда материала в духе своей эпохи, Ливий мог рассматривать своих предшест-

венников как ὄλη, как простой материал, только дожидаящийся подлинно литературной обработки на его родном языке. Тексты Полибия и анналистов вплоть до Кассия Гемины (так называемых древних) были иноязычными; что же касается более поздних анналистов, писавших уже по-латыни (так называемых средних и новых), то они, по свидетельству Цицерона («Об ораторе», кн. II, гл. XII, 54), были «не изобразителями (непереводимое *exornatores*, соответствующее идее «художественного», риторически отделанного изложения. — С. А.) событий, но лишь их рассказчиками», ибо не владели «средствами, сообщающими речи изящество». Поэтому римскую историю можно было писать заново, сохраняя монументальную анналистическую⁶⁸ форму. Но не мог же Плутарх отнестись таким же образом — как к черновому материалу — к Геродоту, Фукидиду, Ксенофону, Феопомпу, Эфору или даже к какому-нибудь Филарху!⁶⁹ Именно так следует понимать смысл часто цитируемого вступления к Никию: Плутарх ясно говорит о том, что, обращаясь к материалу, уже использованному классиками монументальной историографии, нужно остерегаться соперничать с ними на их же путях, и потому единственный выход — найти *иной жанровый подступ к старой теме*. Так, по мнению Плутарха, Фукидид «неподражаемо» справился с задачей собственно исторического изображения сицилийской катастрофы, и пытаться его в этом превзойти (как это делал Тимей) — праздная затея. Но еще можно заново организовать материал уже не на исторических (т. е. прагматических), а на *этологических* началах, ставя во главу угла не событие как таковое, а уразумение человеческого характера (*κατανόησις ἥθους καὶ τρόπου*). Как известно, Плутарх очень настойчиво стремится декларативно размежеваться с историографией; необходимость в этом возникла едва ли не потому, что он обрабатывал в формах биографии материал, сам по себе вызывавший иные жанровые ассоциации⁷⁰.

Излишне говорить, что биографический жанр сам по себе как нельзя лучше подошел для индивидуалистических, психологических, моралисти-

ческих и сентиментальных тенденций, присущих духу «греческого Возрождения». Но к этому часто повторяемому трюизму необходимо добавить: биографический жанр *в том виде*, который он — насколько мы можем судить, в первый и для античности в последний раз — приобрел в руках Плутарха.

Можно добавить, что если Ливий работал над монументальной картиной *отечественной* древности, то Плутарх исходил из более универсалистских задач. Это обстоятельство также могло повлиять на выбор жанровой формы. Ощущение единства греко-римской («мировой») истории еще у Полибия было гениальным непосредственным наблюдением, констатацией реального причинного сцепления событий ⁷¹, которое мог сделать именно человек, причастный к политической практике. Естественно поэтому, что Полибий реализовал свои фактические наблюдения в монументальных формах прагматической истории. Через несколько поколений, когда Pax Romana окончательно распространилась на Средиземноморье, универсалистская концепция истории становится общим местом, доступным разумению даже такого ограниченного ума, как Диодор (последний сам говорит — кн. I, 4 — о связи своего замысла всемирной истории с действительностью римской державы); в то же время эта концепция становится более абстрактной, более теоретической и философской, сближаясь с исконным кинико-стоическим космополитизмом ⁷². Этим подготавливается возможность универсализации исторического материала уже не на прагматических началах, а на основе отвлеченных моралистико-философских идей общечеловечности, столь характерных для поздней греческой философии. С этой точки зрения не важно, *где и когда* живет человек, — важно, *что* это за человек, какой этико-психологический тип он собой воплощает. Такой подход, конечно, удобнее осуществлять в биографии, нежели в повременном историческом изложении. Заметим, что Плутарх поступает особенно последовательно: уже в самой «параллельной» группировке своих жизнеописаний он решительно абстрагируется от места и времени, изымая каждого из своих героев из повре-

менной последовательности истории и ставя его лицом к лицу с человеком иной эпохи и иного народа. Разумеется, это не значит, что Плутарху вообще безразлична историческая обстановка «деяний» его героев. Отнюдь нет: он часто прилагает немало усилий рассудка и воображения, чтобы возможно нагляднее представить себе эту обстановку. Он отлично понимает, что деятельность государственного человека осуществляется не в пустом пространстве, а в конкретной среде ⁷³. Особенно красочны и развернуты характеристики бедственного состояния государства в начальных разделах биографий реформаторов (Ликурга, Нумы, Солона, Агида, Клеомена, Гракхов). Но заметим, что как раз эти характеристики поражают нас своим сходством ⁷⁴. Для Плутарха не существует специфической, неповторимой, подчиненной своим внутренним закономерностям *исторической эпохи*, но лишь принципиально мыслимые изоморфными *исторические ситуации*; эти ситуации зависят лишь от неизменной человеческой психологии и потому обладают свойством вновь и вновь воспроизводиться. Это — общее для всей античной историографии понимание; вот как оно формулируется у Фукидида (III, 82): «... На государство обрушилось много тяжких бедствий, которые повторяются и ныне, и будут вечно повторяться, покуда природа человеческая пребывает одной и той же». Плутарх лишь до предела заострил этот тезис античной антропологии (еще более характерный для поздней античности, чем для времен Фукидида ⁷⁵), сделав его основой *формальной* организации сборника. Но о смысле этой последней мы будем говорить в следующей главе.

Таким образом, замысел «Параллельных жизнеописаний» и самый выбор биографической формы связан с универсалистскими и космополитическими тенденциями эпохи. Однако Плутарх — менее всего космополит. В этом он, как мы видели (см. главу I), довольно решительно расходится с современной ему популярной философией. С его точки зрения, всечеловеческая общность возможна, но возможна лишь на основе приятия норм греческой морально-философской культу-

ры — παιδεία. Между греками и римлянами, по мнению Плутарха, эта общность уже существует. В этой связи характерно то, что в «Параллельных жизнеописаниях» нет ни одной биографии настоящего «варвара» (эллинизированный кардианец Эвмен, и у Непота фигурирующий в числе греческих полководцев, в счет, конечно, не идет), да и в остальном биографическом творчестве Плутарха «Артаксеркс» стоит особняком. Абстрактная общечеловечность философов получает у него, таким образом, существенное ограничение и в то же время конкретизацию, но не на исторической основе, а на основе идеи культуры. Вообще говоря, если можно выделить в «Параллельных жизнеописаниях», где многое обусловлено просто непринужденной «Lust zu fabulieren», проходящую через весь сборник единую тенденцию, то ее содержанием окажется столь важный для Плутарха (см. выше) тезис о значении παιδεία как необходимой предпосылки πολιτικῆ ἀρετῆ. Поскольку же римляне приняли греческую παιδεία, эта позиция дает Плутарху некоторый конкретный критерий для «параллельного» изображения и сравнительной оценки политических деятелей Греции и Рима.

То обстоятельство, что Плутарх при отборе героев своего сборника совершенно исключает столь притягательный для античного биографизма экзотический материал и ограничивается великими людьми «классических» народов, также весьма характерно для настроений эпохи «греческого Возрождения» (достаточно вспомнить Павсания⁷⁶). Но особенно характерна эта черта для самого Плутарха, с неодобрением называвшего Геродота «приверженцем варваров» (φιλοβάρβαρος — «О злокозненности Геродота», XII, 857 В) и порицавшего «отца истории» за излишнее любопытство, с которым последний относился к подробностям истории и этнографии Востока (там же, XII—XV).

- ¹ Обращаясь к материалу римской литературы, мы должны сразу же оговориться, что изоморфность греческого и римского биографизма представляется в наше время далеко не столь безусловной, как ее изображает Ф. Лео (№ 200). Оригинальность римской биографии подчеркивали такие исследователи, как Д. Стюарт (№ 212) и В. Штайдле (№ 211). Несомненно, что римская политическая и бытовая этика с ее специфической системой понятий сыграла для римской биографии такую же конституирующую роль, как перипатетическая психология — для греческой. В то же время ориентация римских жизнеописаний на греческие образцы также стоит вне всяких сомнений, и без учета римских преломлений греческой биографической традиции картина этой последней останется неполной.
- ² К. Циглер замечает в этой связи (№ 177, стр. 898): «Если нам может показаться, что более или менее все величайшие мужи Эллады и Рима представлены в Плутарховом смотре героев («Heldenschau»), то это происходит именно под воздействием его писательских достижений: деятели, о которых он писал, именно благодаря ему привлекли к себе интерес потомства, а многие другие, кто заслуживал этого не меньше, остались в тени...»
- ³ См. материал, приведенный у Р. Гирцеля (№ 125, стр. 131 и 177—178). Один из замыслов «Немецкого Плутарха» (неосуществленный) принадлежал Шиллеру. Аналогичные издания знала и Россия.
- ⁴ De vir. illustr., praefatio.
- ⁵ См. № 200, стр. 91—93.
- ⁶ № 165, разд. III.
- ⁷ № 204, ч. II, стр. 79 сл.
- ⁸ Ср. также замечания Д.-Р. Стюарта, № 212, гл. IV.
- ⁹ Самые свойства энкомия таковы, что о нем несколько рискованно говорить как о жанровой форме с четкими и замкнутыми границами. Вообще говоря, традиции «похвального слова» — явление столь же древнее, как и само красноречие. Элементы биографической энкомистики чувствуются, напр., в некоторых надгробных эпиграммах (ср. материал, собранный в старой работе И.-Р. Аммана, № 184), в Фукидидовых характеристиках Фемистокла (I, 135—138), Антифонта и Ферамена (VIII, 68) и в других образцах греческой поэзии и прозы.
- ¹⁰ № 189, стр. 9.
- ¹¹ «Hieron. de vir. illustr., praefatio ad Dextrum: «...Аристоксен, далеко превосходящий всех ученостью...»
- ¹² Отражение этой легенды можно видеть уже у Геродота (IV, 95). См. также: «Pitagorici: Testimonianze e frammenti», a cura di M.-T. Cardini. Firenze, 1958; J. Levy. Recherches sur les sources de la legende de Pythagore. Paris, 1926.

Заметим, что своеобразное «пересечение» пифагорейской и перипатетической традиций у Аристоксена было подготовлено примером самого Аристотеля, которому принадлежало сочинение «Περὶ τῶν Πυθαγορείων».

- ¹³ Ср. послесловие А. Наука к изданию трактата (№ 36). «Жизнеописание Пифагора» есть также у Порфирия.
- ¹⁴ «О злокозненности Геродота», IX, 1.
- ¹⁵ По-видимому, о наибольшей удаленности от чисто биографического типа сигнализирует распространенное заглавие «Деяния NN» («Πράξεις τοῦ δεῖνα»). В принадлежности сочинения к биографическому жанру приходится сомневаться и тогда, когда оно озаглавлено «О NN» («Περὶ τοῦ δεῖνα»). Напротив, заглавие «Жизнь NN» («Βίος τοῦ δεῖνα») или «О жизни NN» («Περὶ βίου τοῦ δεῖνα») не оставляет никаких сомнений (ср. № 200 стр. 104—108 и др.). Достаточно вспомнить, впрочем, что Иероним (автор, во всяком случае не чуждый специальным «историко-литературным» интересам!) спокойно употребляет слово *historiae* как эквивалент термина *vitae* («Против Иовиниана», II, 14), чтобы убедиться, насколько зыбки эти критерии.
- ¹⁶ См. № 195 и 198.
- ¹⁷ У Суды даны оба варианта имени: *Φαίνιας* и *Φανίας*. То же относится к рукописной традиции Афинейя. Все рукописи Плутарха дают форму *Φανίας*, и она, пожалуй, более распространена в научной литературе. Однако Р. Лакер, опираясь на данные эпиграфики Лесбоса (на этом острове, как известно, находился г. Эрес), настаивал на варианте «Файний» (№ 199, стр. 1565).
- ¹⁸ Здесь его источником и образцом, насколько можно судить по дошедшим фрагментам, был все тот же Аристоксен (и наряду с ним, возможно, Дикеарх — см. № 200, стр. 113). Сочинение Неанфа в свою очередь широко использовал в «пифагорейском» разделе своего труда Диоген Лаэртский. См.: *R. Laquer. Neanthes von Kyzikos.* — RE, XVI. Stuttgart, 1935, Kol. 2198—2199.
- ¹⁹ *U. v. Wilamowitz-Möllendorff. Antigonos von Karystos.* — «Philologische Untersuchungen», IV (1881).
- ²⁰ Все эти жизнеописания даны в издании А. Вестерманна (№ 61, стр. 1—45); ср. также выборочное издание Виламовица (№ 58). На некоторых из них стоит остановиться подробнее. Первое жизнеописание дошло под именем Геродота; это — колоритная имитация геродотовской наивности и словообильной неспешности, начинающаяся фразой: «Геродот Галикарнаец составил этот рассказ о рождении, возрастании и жизни Гомера, попытавшись доискаться надежнейшей истины». Ионизмы «отца истории» также воспроизведены с большой тщательностью. В целом сочинение представляет собой плод характерного для поздней античности увлечения Геродотом, которое так сильно сказалось, между прочим, на прозе Павсания. В каждой фразе чувствуется сентиментальная тоска по архаической наивности давно миновавших литературных эпох. Вот характерный кусок: «... И вот случилось так, что девушка тайно сошлась с мужчиной и понесла от него. И сначала ей удавалось скрывать это, а когда Клеанакт обо всем прознал, он был удручен такой бедой и призвал к себе Кретеиду; оставшись с ней наедине, он тяжело попрекал ее и прибавлял, что она осрамила его перед согражданами. И вот что он

относительно нее решает: как раз в это самое время кимейцы выводили поселение в излучине Гермейского залива, и Тесей дал основанному городу имя Смирна, желая увековечить имя своей жены, которую звали Смирной,— а был этот Тесей одним из основателей Кимы, знатным фессалийцем из рода Евмела, Адметова сына, и превеликим богачом. И вот Клеанакт тайком отсылает Кретеиду к беотийцу Исмению, которому выпал жребий переселяться в новый город; а был он Клеанакту самым близким товарищем...» (гл. 2). Второе жизнеописание дошло под именем Плутарха; умная непринужденность изложения действительно напоминает нашего автора (вот, например, первая фраза этой биографии: «Пожалуй, любознательные изыскания относительно Гомера, его происхождения и его родины могут показаться праздным занятием, коль скоро сам он не счел нужным сообщить о себе хоть что-нибудь, но был до такой степени сдержан, что даже во вступлении не сообщает своего имени...»). Циглер (№ 177, стр. 878) называет это сочинение «самым систематическим и содержательным введением в изучение Гомера, которое только оставила нам древность». Однако уже Бензелер (№ 105, стр. 537—538) и вслед за ним Фолькман (№ 166) доказали, что биография Гомера не может принадлежать Плутарху (главным образом, в силу того, что в ней полностью игнорируется «закон о зиянке»). Остается, однако, возможность, что автор этой биографии имел в качестве своего главного источника «Гомеровские изыскания» Плутарха (№ 42 Ламприева перечня); ср.: *B. Baedorf. De Plutarchi quae fertur vita Homeri, Diss. Münster, 1891; F. della Corte. Le «Ομηρικαι μελεται di Plutarco e la ricomposizione del pap. Lond. 734.— RF, LXVI (n. s. XVI, 1938), p. 40—56.*

¹ Ср. *О. Ф. Вальдгауер. Этюды по истории античного портрета. М., ОГИЗ — ИЗОГИЗ, 1938* (особенно гл. 4 — «Портреты Александра Македонского и их значение для истории портретной скульптуры в IV веке до н. э.», стр. 150—168); *он же. Лисипп. Берлин, 1923, стр. 36.* Советский искусствовед так характеризует значение личности Александра как «нового объекта для художественного изучения», стимулировавшего развитие портрета: «... Эта личность должна была явиться завершением того, к чему стремился весь IV век; она была воплощением вновь вырабатывающихся идей и стремлений... Она была поставлена как новая художественная проблема величайшим мастерам эпохи: Лисиппу, Леохару, Евфранору, Евтикрату и, вероятно, многим другим. Эта личность должна была давать пищу всем тем новым психологическим движениям, которые развивались в первой половине IV в. Поставленная как объект художественного изучения, она должна была привести к величайшему развитию новых тенденций в искусстве. Эпоха жаждала героя... Герой появился, и *dignitas heroum*, к которой так стремился Евфранор, нашла себе воплощение в живом образе завоевателя мира...» («Этюды по истории античного портрета», стр.

174—175). Аналогичное явление новоевропейской культуры — культ Наполеона и его стимулирующее воздействие на литературу романтизма.

- 22 Характерно, что Феопомп написал «Ἐγκώμιον Φιλίππου» (см. Феон, «Прогимназмы», 2); похвальное слово Феопомп посвятил и Александру. Если верить сообщению Суды, согласно которому Феопомпу принадлежал еще и «Ψόγος Ἀλεξάνδρου» («Поношение Александра»), эмоциональная «амбивалентность» этого автора по отношению к его героям оказывается на редкость выразительной. О соотношении между «Ἐγκώμιον Φιλίππου» и «Φιλίππικά» см.: R. Laquer. Theopompus. — RE, 2. Reihe, X. Hbb., 1934, col. 2296.
- 23 Ср. № 200, стр. 118 и к ней примеч. 2.
- 24 Ср.: R. Laquer. Указ. соч., стлб. 2214.
- 25 Единственное упоминание об этом Ксенофонте и его сочинении — у Диогена Лаэртского (II, 59) в перечне ὁμώνυμοι Ксенофонта Сократика.
- 26 Сам Филострат обозначает свой труд как βίος (кн. I, гл. 9,1). Евнапий и Суда передают заглавие как «Βίος Ἀπολλωνίου» (Евнапий, «Жизнеописания софистов», раздел «Ο тех, кто писал историю философов»; Суда, Φιλόστρατος), хотя рукописи дают «Τὰ εἰς τὸν Τραυνέα Ἀπολλώνιον». Как отмечает Лео (№ 200, стр. 262), наиболее существенное отличие сочинения Филострата от обычной биографии состоит в том, что он «не описывает прямо характер и внешность своего героя, но заставляет первый проявляться через его речи и поступки, а вторую — через то, что с ним случается». В связи с трудом Филострата возникает мысль о другом сочинении, с которым «Жизнеописание Аполлония Тианского» не один раз сопоставлялось еще со времен Гиерокла, — о Евангелиях. Безусловно, сенсационные соображения Виппера (P. Ю. Vinper. Возникновение христианской литературы. М.—Л., 1946, стр. 236—247), предложившего считать евангелистов плагиаторами Плутарха (ср. также более осторожные наблюдения С. Я. Лурье, № 92), заведомо противоречат фактам. Однако связать третье Евангелие с греческой биографической традицией в целом (и притом преимущественно с традицией жизнеописаний философов) представляется не столь уж фантастическим. Все же очевидно, что любой вывод о генезисе той или иной стороны литературного облика Евангелий, которые все же стоят вне греческой литературы в собственном смысле этого слова, должен опираться на учет всех возможных влияний со стороны библейской литературной традиции. Достаточно напомнить, что даже четвертое Евангелие, которое когда-то считалось наиболее «эллинистическим», в свете кумранских находок оказалось теснейшим образом связанным с литературой палестинского сектантства (см.: J. Allegro. The Dead Sea scrolls and the origins of the Christianity. N. Y., 1958, p. 128). Неоднократно указывалось и на (несколько сомнительную) возможность литературных влияний, которые шли из стран, лежащих к востоку от Палестины (ср.: E. Benz. Indische Einflüsse auf die frühchrist-

liche Theologie. Mainz, 1951). Но все эти «неклассические» влияния лишь ограничивают, но не устраняют возможности влияния античной биографии. Что касается чисто жанровой стороны, то едва ли существует пропасть между Евангелиями, с одной стороны, и греческими жизнеописаниями философов (и особенно философов-худотворцев, каковы Аполлоний в изображении Филострата и, скажем, Прокл в изображении Марина) — с другой. В свое время С. А. Жебелев решительно отказывался сблизить Евангелия с биографической литературой на том основании, что «Евангелие кратко говорит о детских годах Христа, обходит почти молчащим его отрочество, ничего не сообщает о его юности», в то же время «в евангельском повествовании содержатся сведения, далеко выходящие за рамки биографии», т. е. изложение учения Христа (С. А. Жебелев. Евангелия канонические и апокрифические. Пг., 1919, стр. 119—120). Однако оба эти довода исходят не из реальной практики античного биографизма, а из умозрительной идеи некоей «нормальной» биографии, — идеи, которой даже у Плутарха, не говоря уже о прочей греко-римской литературе этого жанра, почти ничего не соответствует: Много ли найдется античных жизнеописаний — и особенно жизнеописаний философов, — где с равномерной полнотой была бы освещена «вся жизнь героя», включая детство и юность? С другой стороны, в любой биографии философа, поэта, историка и т. д. и даже в Плутарховых жизнеописаниях законодателей (Нумы, Ликурга, Солона) содержатся сведения, которые Жебелев оценивал как «выходящие за рамки биографии», т. е. описание продуктов творчества героя; биографиями они от этого не перестают быть. Формально-литературная специфика Евангелий сравнительно с греко-римской биографией (об идейной специфике мы не говорим!) связана с литургической организацией текста (ср. А. Guilding. *The Fourth Gospel and Jewish worship. A study of the relation of St. John's Gospel to the ancient Jews lectionary system.* Oxford, 1960), но не составом сообщаемых сведений о жизни героя. Процент речей и афоризмов в Лукиановом «Демонакте» не больше, а биографические данные не полнее.

²⁷ Русский перевод сохранившихся извлечений см.: ВДИ, 1960, № 4, стр. 218—237. Ср.; R. Laquer. *Nikolaos von Damascos.* — RE, Hbb. XXXIII, 1936, S. 362 sq, специально об этом сочинении — р. 401—423. Интересно, что еще в Тацитовом «Диалоге об ораторах» (гл. 28) воспитание Августа упоминается как образцовое; можно представить себе, что оно входило в круг общеупотребительных риторических «exempla».

²⁸ Удачную характеристику вклада Светония в эволюцию античной биографии дает М. Л. Гаспаров, № 180, стр. 266 сл.

²⁹ Ср. также во многом дублирующую упомянутый энкомий монодию на Юлиана (речь XVII F), а также произнесенные при жизни «Апостата» речи XII F («На консульство императора Юлиана») и XIII F («Приветственная

Юлиану»). Все эти речи имеют явственную биографическую структуру.

- ³⁰ См.: *P. J. Alexander*. Secular biography at Byzantium.— «Speculum», XV, 1948; *R.-I.-H. Jenkins*. Constantine VII's portrait of Michel III.— «Bull. Cl. des lettres de l'Acad. R. de Belg.» XXXIV, 1948, p. 71 ff.; id., The classical background of the *Scriptores post Theophanem*.— «Dumbarton Oaks Papers», Cambridge Mass., VIII, p. 11 ff.; *А. П. Каждан*. Из истории византийской хронографии X века, ч. I.— ВВ, XIX, 1961, стр. 83.
- ³¹ Об этой роли упомянутого сочинения см.: *В. Тарн*. Эллинистическая цивилизация. Пер. С. А. Ляковско-го. М., 1949, стр. 264—265. Его подложность была в свое время исчерпывающе доказана Виламовицем («Philologische Untersuchungen», IV). Во избежание недоразумений заметим, что это сочинение упоминается и у древних авторов и в новейшей научной литературе под двумя заглавиями: «О любострастии древних» или «О древней роскоши».
- ³² Ср. № 200, стр. 114.
- ³³ Едва ли есть необходимость строить предположения (как это сделано в предисловии О. О. Крюгера к кн.: *Арриан*. Поход Александра. Пер. М. Е. Сергеев. М.— Л., 1962, стр. 13—14) о каких-то особых причинах, будто бы побуждавших Арриана идеализировать Тиллибора и нагружать его образ серьезной философской проблематикой. Было бы вполне в нравах античного биографического жанра, если бы Арриан подошел к своему разбойнику с холодным и брезгливым любопытством, а конкретный контекст единственного упоминания этой биографии делает вероятным именно это. Во вступлении к «псогосу» Лукиана «Александр, или Лжепророк» мы читаем: «Мне стыдно за нас обоих: за тебя — что ты просишь написать о нем (т. е. об Александре.— С. А.), сохранить память о трижды проклятом человеке, за себя — что я прилагаю старание описать дела обманщика... Если кто-нибудь станет меня за это випить, я смогу привести в пример Арриана, ученика Эпиктета, выдающегося человека среди римлян: всю жизнь занимаясь наукой, он оказался в подобном же положении и потому может быть нашим защитником. Ведь и он счел не унизительным для себя описать жизнь Тиллибора, разбойника...» Весь тон этой цитаты делает предположение об идеализации Тиллибора со стороны Арриана достаточно неправдоподобным.
- ³⁴ См. № 205 и предисловие к настоящей работе. Напомним, что в последнее время концепция Мейера встречает все более критическое отношение (ср. № 112).
- ³⁵ Интересно, что в свое время столь видный исследователь, как Модестов (*В. И. Модестов*. Лекции по истории римской литературы ... СПб., 1888, стр. 300—305), под живым впечатлением об обрывочности Непотовых биографий и остро воспринимая их несоответствие «нормальному» типу жизнеописания, предположил в них позднеантичный эксерпт из подлинного сочинения

Непота. Эта точка зрения, которая имела своих представителей в европейской науке и до Модестова (сам русский исследователь ссылается на работу Ринка, относящуюся еще к 1818 г.), ныне оставлена по причине своей недоказуемости (ср. № 207 и 213). Но независимо от этого та характеристика, которую Модестов дает текстам Непота (стр. 308: «... все указывает на отрывочность, выборку, сокращение...»), сама по себе вполне верна.

³⁶ По изданию К. Гальма (№ 39).

³⁷ Безусловно, граница между обоими жанрами была весьма текучей (см. выше, примеч. 15). Все же эта граница была, и полностью игнорировать ее, как это делал тот же Укскулл-Гилленбанд (ср. № 165, стр. 91, а также введение к нашей работе) едва ли возможно. Различие состоит прежде всего в том, что для исторической монографии сохраняют свое значение все нормы историографии вообще (напр., в выборе материала, который должен быть достаточно «серьезным»); к биографии же это не относится.

³⁸ По-видимому, этих циклов было два: в один входили жизнеописания цезарей, а другой объединял биографии, так или иначе соотнесенные по своему материалу с бео-тийской историей. См. № 177, стр. 895—896.

³⁹ Напр., гл. III, 1 (описание инициации в храме «богини войны»); гл. XIII (персидский обычай отсекал трупу врага голову и правую руку); гл. XVI (описание «пытки корытом»); гл. XIX, 4 (описание казни отравителей); гл. XXIX, 3 (описание особой техники обезглавливания в Персии).

⁴⁰ вполне понятно, что жанр, главной задачей которого было изображение различных «образов жизни» людей в их специфике (ср. № 200, стр. 97; № 173, стр. 264), проявлял интерес к такому же изображению «образа жизни» целого народа. Напомним о традиции сочинений типа «Περὶ τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου» («О жизни Эллады») Дикеарха или «De vita populi Romani» («О жизни римского народа») Варрона, а также о том, что «Etymologicum Magnum» объясняет термин как эквивалент словосочетания εἶδος ζωῆς.

⁴¹ В своем «Марии» (гл. XXIX, 11) Плутарх обещает изложить события жизни Метелла в особой биографии последнего. Но в Ламприевом перечне эта биография отсутствует (что, разумеется, само по себе еще ничего не доказывает — см. № 277, стр. 696—702 и 896); никаких относящихся к ней фрагментов или свидетельств не дошло (см. № 25).

⁴² Ср. № 200, стр. 113.

⁴³ См. № 264, т. I, стр. 252—253.

⁴⁴ Пара «Эпаминонд» — «Сципион» стоит в Ламприевом перечне под № 7.

⁴⁵ Обе декламации объединены под одним заглавием «Об удаче или доблести Александра». Ср. также Фокке, № 114, стр. 354. Оценка личности Александра в самом жизнеописании оказывается несравненно более трезвой и включает достаточное количество критических мо-

ментов, хотя в конечном счете, безусловно, положительна.

- ⁴⁶ Ср. у того же Саллюстия «Письма к Цезарю об устройстве государства», II, 5. Известны многочисленные места у Цицерона — идейного противника Саллюстия, которые дают ту же оценку указанной эпохи: в частности, именно в этом заключается основная идея трактата «О государстве» в целом.
- ⁴⁷ См. № 177, стр. 896. Противоположного мнения придерживался Виламовиц (№ 173, стр. 260 и 269).
- ⁴⁸ Ср.: С. Л. Утченко. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М., 1952, гл. II: «Теория упадка нравов и ее политическое значение», где дана, в частности, подборка различных античных датировок начала «упадка нравов» (стр. 110).
- ⁴⁹ Платон, «Государство», кн. VI, р. 491—Е: «Итак, не скажем ли мы, Адимант, что наиболее одаренные от природы души, получив дурное воспитание, становятся самыми дурными? — ... Я согласен с тобою...»
- ⁵⁰ Ср.: Н.-J. Mette. Der «grosse Mensch», H LXXXIX (1961), Heft 3. В этой статье исследована история понятия «великий человек» и его словесного оформления в греческой литературе; как показывает исследователь, больше всего материала в этом отношении дают Полибий и Плутарх (в то время как прочей античной биографии это понятие более или менее чуждо).
- ⁵¹ О соотношении между пиететом Плутарха перед классической гражданственностью и его убежденностью в необходимости монархии см. № 125, стр. 16—22; № 149; № 167 и главу I настоящей работы. Характерно глубокое удовлетворение, с которым Плутарх рассказывает о похвале, высказанной Августом по адресу Цицерона через много лет после гибели последнего, а также о том, что Август назначил своим коллегой по консульству в 30 г. до н. э. сына оратора. По сути дела, Плутарх требует от новых вершителей истории главным образом пиетета к старым ценностям и соответственно раздвигает рамки прежних моральных норм, чтобы в них вместились такие импонирующие херонейскому биографу явления, как Александр и его римский соперник.
- ⁵² Ср. особенно гл. XI трактата «Наставления государственному мужу».
- ⁵³ См.: К. К. Зельин. Борьба политических группировок в Аттике в VI веке до н. э. М., 1964, стр. 82—84.
- ⁵⁴ Об антиригоризме Плутарха см. главу I настоящей работы (в особенности § 2). В «Наставлениях государственному мужу» (гл. 24, р. 818 А) мы читаем: «... Но вот более пригодное для гражданских дел наставление (ἐκείνο δὲ πολιτικώτερον παράγγελμα): уступать и угождать подчиненным в мелочах, а в серьезных делах быть неуступчивым и карать нарушителей. Ведь тот, кто решительно во всем не в меру педантичен (ἀκριβής) и суров, кто ни в чем не хочет уступить и ни на что не хочет посмотреть сквозь пальцы... приучает народ состязаться с ним в упрямстве». Это — мысль, очень близкая Плутарху и, по-видимому, почерпнутая им из кон-

кретного житейского опыта работы в полисных институциях родной Херонеи.

⁵⁵ Афиной именуется его ὁ Καλλιμαχῆσιος («каллимаховец» — Athen., 58, 213).

⁵⁶ Ср. его знаменитую эпиграмму, в которой он отмежевается от эпоса (28). Характерно, что бранное двустишие, приписываемое Аполлонию («Anthol. Palat.», XI, 275), называет Каллимаха τὸ παίγιον — «безделушка».

⁵⁷ Приводим это место в нашем переводе:

Зевсу творим мы обряд — так кого воспевать нам
приличней,

Как не тебя самого, о вовеки мощный владыка,
Что землеродных смирил и воссел судией Уранидов,
Боже Диктейский... но так ли? Иль правильной молвить
«Ликийский»?

Трудно решить мне: о роде твоём разгорается тяжба.
Молвят, о Зевс, будто свет увидал ты на Иде
высокой;

Молвят, о Зевс, что аркадянин ты. Так кто же
солгал нам?

Критяне — вечно лжецы: вот и гроб измыслили те же
Критяне, Отче, тебе, — но ты ведь не умер, ты вечен.
Вот решение мое: на Паррасии свет увидал ты!

(ст. 1—10)

Здесь антимументализм Каллимаха выступает необычайно наглядно. Традиционное развертывание гимнической темы нарочито оборвано возникшим недумением ученого мифографа: где же «на самом деле» родился Зевс? Решение сознательно неожиданно, ибо в общем вся Греция верила, что Зевс родился на Крите, и аркадские притязания за пределами самой Аркадии доверия не встречали (ср. замечания Павсания в различных местах, напр., IV, 23, 1). Достаточно красочна и аргументация: Каллимах ссылается на общеизвестное изречение о лживости критян, цитируемое, между прочим, в послании апостола Павла к Титу (I, 12), но подкрепляет это изречение указанием на архаический культ Зевсова гроба на Крите — еще бы не лжецы! Тон задан этим началом: дальнейшее идет в том же духе. Квазиэпический тон регулярно перебивается подчеркнuto сухими справками ученого комментатора относительно данных аркадской географии и топонимики («Гимн к Зевсу», ст. 39 и 43), диалектной лексики (там же, ст. 51) и т. п. Столь же снижающий характер имеют бытовые детали в «Гимне к Артемиде».

⁵⁸ Довольно ходовая у греческих авторов игра слов (напр., в известной «хрии» Аристиппа у Диогена Лаэртского, II, 8, 80).

⁵⁹ «Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripturae leve... iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Eraminondam, aut in eius virtutibus commemorare, saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse». («Не сомневаюсь, Аттик, что найдется немало число ценителей, которые сочтут этот вид словесности легкомысленным... прочтя сообщение о том, кто обучал

Эпаминонда музыке, а равно и упоминание в числе прочих его доблестей того, что он умело плясал и со знанием дела играл на флейте»).

⁶⁰ Ср. *Плутарх*, «О славе афинян», 3.

⁶¹ Мы постоянно употребляем термин «эллинизм» в его традиционном, узком значении (ср., напр.: *А. Б. Рабинович*. Эллинизм и его историческая роль. М.—Л., 1950, стр. 10: «Эллинизм... обнимает три столетия — от 336 г. до н. э. до 30 г. до н. э.»). Разумеется, странно было бы протестовать против расширительного понимания этого слова, когда оно прилагается ко всему периоду от конца греческой классики вплоть до крушения греко-римского мира и начала средневековья. Как известно, это новое словоупотребление, не соответствуя практике впервые употребившего термин И. Дройзена (для него эллинизм кончался около 222 г. до н. э., для Ю. Белоха — около 217 г. до н. э. и т. д.), достаточно укоренилось и в зарубежной, и в советской науке (ограничимся двумя примерами: *А. Ф. Лосев*. История античной эстетики. М., 1963, и *O. Schneider*. *Geistesgeschichte des alten Christentums*, Bd. I—II. München, 1954. Дело просто в том, что если этим исследователям важно в соответствии с их задачами противопоставить послеклассическую эпоху античной культуры ее классике, то в центре внимания нашей работы находится как раз контраст между собственно эллинизмом и последующей реакцией на него.

⁶² Дионисий Галикарнасский («О древних ораторах», 3) говорит о происшедшей перемене во вкусах: «...Причиной и началом столь великого поворота, как я полагаю, был Рим...»

⁶³ Для нормативизма этой эпохи в ее подходе к старине характерны проходящие через всю историю аттицизма споры относительно того, какой именно автор должен быть признан абсолютной нормой — Лисий, Демосфен или, скажем, Фукидид. Чрезвычайно колоритна полемика того же Дионисия Галикарнасского, стремившегося канонизировать наследие Демосфена, с почитателями Фукидида («О Фукидиде» и «Второе письмо к Аммею»).

⁶⁴ Блестящий анализ этой проблематики дали относящиеся к последним десятилетиям работы о Вергилии: *K. Büchner*. *P. Vergilius Maro. Der Dichter der Römer*. Stuttgart, 1955; *V. Pöschl*. *Die Dichtkunst Virgils*. Wien, 1949; *F.-A. Sullivan*. *Spiritual itinerary of Virgils Aeneas*.— *AJPh*, LXXX (1959), p. 150—161.

⁶⁵ Ср. № 92, стр. 19: «...Его «великих» людей можно разделить на две группы: умеренных честолюбцев и крайних честолюбцев. «Великим» людям по самой их сущности свойственно стремиться стать первыми людьми в своем государстве...» и т. п.

⁶⁶ Сенека Старший (Suas., XXII, 6) называет Ливия за это величавое простодушие «*natura candidissimus*»; ср. подобное же выражение и у Квинтилиана, II, 5, 12.

⁶⁷ Об этом свидетельствует Непот в гл. 3 своей биографии Катона: «...Имен полководцев в этих войнах он не называл, но излагал события без имен».

- ⁶⁸ Сам Ливий именует свое сочинение «Annales» (XL, III, 13, 2).
- ⁶⁹ Разумеется, Плутарху случалось перерабатывать и биографически оформленные источники (так, можно считать выясненным, что в основе «Солона» лежат жизнеописания семи мудрецов Гермиппа — ср. № 145 и 146). Это, несомненно, происходило гораздо реже, чем представлялось старой немецкой Quellenforschung, но достаточно часто (см. № 148, 157—159, 164, 171—172, 131—135, 100, 130 и 177, стр. 911—914, а также введение к настоящей работе). Однако как раз в работе над материалом, относящимся к полисной старине, он располагал, как правило, источниками иного рода. Предполагаемые «перипатетические» биографии полисных деятелей — создание фантазии немецких исследователей (ср. № 165).
- ⁷⁰ Ср. известное вступление к «Александру».
- ⁷¹ Для Полибия характерно необычайно обостренное внимание к каузальной связи отдаленных фактов. Ср. его собственные декларации: I, 50—51; II, 2; II, 38; III, 4; XXXVII, 9 («... даже и тогда, когда невозможно или затруднительно найти причину, следует все же настойчиво искать ее...»); XXXIX, 1—2 (теория так называемого ἀποδεικτικῆ ἱστορία, или ἀποδεικτικῆ ἐιρήνης, т.е. изложения, выявляющего скрытые причинные зависимости, — II, 37 и IV, 40, 4). Во вступлении к своему труду он говорит: «...Удивительная особенность нашего времени состоит вот в чем: почти все события в мире судьба насильственно направила в одну и ту же сторону и подчинила их единой цели» (I, 4).
- ⁷² Ходовая философская аргументация у того же Диодора (I, 1 сл.): ойкумена — единая община; историк, собирающий все народы и все события в единое повествование, — сотрудник божества, собирающего все в единый космос, и т. п.
- ⁷³ Ср. рассуждения на эту тему в «Наставлениях государственному мужу», гл. 3 и др.
- ⁷⁴ Ср.: К. К. Зельин. Указ. соч., стр. 82: «...Помимо жизнеописания Солона, мы имеем у Плутарха биографии и других законодателей и реформаторов... В пяти из этих биографий мы обнаруживаем и главы, содержащие характеристику общественной и политической обстановки. Эта обстановка рисуется здесь примерно такими же чертами, как и в жизнеописании афинского законодателя VI в...» Ср. также № 107.
- ⁷⁵ Убеждение в прямо-таки безысходной стабильности исторического процесса (как и вообще всего происходящего в мире) с особенной яркостью выражено у Марка Аврелия. Мы читаем у него: «Непрестанно держать в уме, до какой степени все то, что бывает ныне, бывало и раньше; и держать в уме, что это же самое предстает и в будущем, и представить себе однообразные драмы и представления, которые ты узнал из собственного опыта или из истории старых времен, как то: весь двор Адриана, и весь двор Антонина, и весь двор Филиппа, Алек-

сандра, Креза. Ведь это было всегда одно и то же, только разыгрывалось разными лицами...» (кн. X, 27).

⁷⁶ В этом отношении очень колоритно и показательно следующее место из Павсания («Описание Эллады», кн. IX, 36, 4—5): «Должно быть, эллинам до крайности свойственно больше дивиться иноземным чудесам и диковинам, нежели отечественным, коль скоро достославные в сочинении истории мужи (ἀνδράσιν ἐπιφανέσιν ἐς συγγραφὴν — имеется в виду, разумеется, Геродот с его эфрасисом пирамид II, 124—136) сочли нужным самым обстоятельным образом описывать египетские пирамиды, а о сокровищнице Миния и о стенах Тиринфа никто не обмолвился ни словом, хотя это чудо нисколько не меньше...» Павсаний в своем наивном эллиноцентризме (который побуждал его, в частности, утверждать, что египтяне оплакивают в своих ритуальных плачах не кого иного, как беотийского певца Лиана, заимствовав этот обычай из Эллады, — см. кн. IX, 29, 7) вполне солидарен, как видим, с Плутархом, тоже попрекавшим Геродота излишней симпатией к варварам.

ГЛАВА IV

СТРУКТУРА СБОРНИКА

Как известно, «Параллельные жизнеописания» — именно в силу своей «параллельности» — образуют формальное единство, замкнутую целостность на трех уровнях одновременно:

- 1) на уровне отдельной биографии;
- 2) на уровне пары биографий, объединенных, как правило, общим послесловием — «синкрисисом», а в ряде случаев также общим введением;
- 3) на уровне всего сборника в целом (здесь, разумеется, речь идет о единстве в качестве не данности, а заданности, коль скоро к сборнику можно было бы прибавлять новые и новые пары биографий, — но читателю сборник все же предлежит как нечто замкнутое).

До сих пор при изучении литературного облика отдельных Плутарховых жизнеописаний не учитывалась взаимосвязь этого облика с организацией материала на двух других уровнях. Всерьез, как структурная единица, бралась только отдельная биография. В этом научный анализ лишь следовал за читательским восприятием: уже современный *usus* издания отдельных или «избранных» (и, следовательно, изъятых из своих «диад») биографий закрепляет в нашем уме представление, согласно которому единственный вид художественного целого в «Параллельных жизнеописаниях» — отдельная биография, а их группировка чисто механична и заслуживает упоминания лишь по связи с идейным замыслом Плутарха (здесь указывались только такие лежащие на поверхности стороны дела, как стремление Плутарха к духовному посредничеству между Грецией и Римом¹).

Справедливости ради следует сказать, что такой читательский подход имеет весьма почтенный возраст.

Уже некий софист Сопатр (неясно, с каким из известных науке носителей этого имени² его

следует отождествить, но время его жизни, очевидно, приходится на эпоху перехода от классической древности к византийскому средневековью), эксцерпируя в IX—XI книгах своих «Выписок» (Ἐκλογαί) биографии Плутарха, перемешивал их с тем, что мы называем теперь «Моралиями», и при этом совершенно игнорировал «диадическую» структуру «Параллельных жизнеописаний»³; об этом можно судить по цитате в «Библиотеке» патриарха Фотия (код. 161). И все же в общем и для античного и для византийского читателя основной единицей целостности, «книгой» в древнем понимании слова, была именно диада, пара биографий. Это хорошо видно, в частности, из расположения заглавий биографий в так называемом Ламприевом перечне Плутарховых сочинений⁴. В порядке «параллельности» излагает известные ему 19 жизнеописаний Плутарха и тот же Фотий («Библиотека», код. 245).

Не только современный читатель, но и современный исследователь не склонен задавать себе вопрос о взаимосвязи между диадической группировкой Плутарховых биографий и внутренними закономерностями их оформления. Такое отношение закрепляется укоренившейся оценкой «диадического принципа» как искусственного и абсурдного приема, досадного продукта риторического влияния некоей «quantité négligeable» в общем балансе художественного целого. Можно было бы заметить, что это оценочное суждение сложилось сравнительно недавно; при том один из самых пронизательных и поистине «конгениальных» херонейскому биографу его читателей и почитателей, а именно, Монтень, как известно, усматривал особую прелесть «Βίοι παράλληλοι» как раз в «синкрисисах»⁵. Но дело не в этом. Важно то, что *исследователю* по самой сути дела отказано в том праве на субъективность, которым волен пользоваться *читатель*. Если последний находит Плутарховы «синкрисисы» всего лишь скучным, а то и вздорным привеском к занимательным биографиям, он может избавить себя от обязанности интересоваться этой частностью. С исследователя эту обязанность не может снять никакое вкусовое суждение. Для научного осмысле-

ния литературной природы «Параллельных жизнеописаний» важно не то, нравится нам или нет идея их автора расставить своих героев попарно и учинить им смотр в «сопоставлениях», но то, как, для чего, в силу каких соображений он это сделал и какие это имело *последствия*. Историк литературы имеет не больше права игнорировать «неудачный» прием, чем ботаник — отбрасывать «некрасивый» цветок.

Для темы настоящей работы диадическая структура сборника Плутарха имеет особое значение. Дело в том, что она, насколько мы можем судить, принадлежит к тем признакам, которые отделяют биографическое творчество Плутарха от всей остальной биографической литературы классической древности. Разумеется, сам по себе *σύγκρισις* был в высшей степени популярным и разработанным порождением давней риторической традиции; мы не будем останавливаться на этой стороне дела, так как весьма обстоятельную классификацию сферы употребления этого приема в греческой литературе — за всю ее историю от Гомера до Плутарха — уже дал в свое время Ф. Фокке ⁶.

Однако этот же попарный синкрисис, но уже возведенный в ранг формального принципа, определяющего соединение биографий в рамках сборника и гарантирующего единство этого сборника, — совершенно уникальное явление в истории античной биографии. Кроме Плутарха, здесь можно назвать лишь уже упоминавшегося Аминтиана: лишь у него можно найти нечто подобное. Но как раз его попытка подражания ⁷ лишний раз убеждает нас в том, что структура Плутархова сборника привлекала античного читателя своей (для нас давно стершейся!) новизной — ведь подражания чаще всего вызывают действующие на воображение новации.

Что построение «Параллельных жизнеописаний» когда-то воспринималось именно так, свидетельствует, между прочим, и знаменитая эпиграмма Агафия на статую Плутарха («Палатинская антология», XVI, 331) ⁸.

Поэтому весьма важно с возможной точностью уяснить себе: 1) как замысел Плутарха конкретно

реализован; 2) какой смысл расположение биографий имело для самого автора; 3) какое воздействие оно оказало на прочие аспекты художественной структуры целого.

Именно в такой последовательности эти вопросы и будут рассмотрены в настоящей главе.

Чтобы избежать голословных и непроверенных суждений, мы начнем с самого конкретного, а именно: проанализируем расположение биографий в сборнике и рассмотрим те его мотивировки, которые в явной форме даны самим Плутархом. Лишь затем мы перейдем к попытке наметить более глубинные и скрытые смысловые аспекты изучаемого приема, а в заключительном разделе главы остановимся на предпосылках, которые этот прием создавал для литературного оформления *отдельной биографии*.

ПОПАРНАЯ ГРУППИРОВКА БИОГРАФИЙ

Мы уже говорили, что с точки зрения самого Плутарха настоящим замкнутым целым является по сути дела не отдельная биография, но пара биографий, «диада». Это подтверждается, в частности, тем, что большинство диад имеет общее введение и почти все они завершаются общим же послесловием — «синкрисисом». Всего пар сохранилось, как известно, 22 (точнее — 21 диада и 1 тетрада: «Клеомен» и «Агид» — «Гракхи»). Из этого числа в 12 случаях мы встречаем общий прооймий в его нормальной форме («Тесей» — «Ромул», «Эмилий Павел» — «Тимолеонт», «Пелопид» — «Марцелл», «Кимон» — «Лукулл», «Никий» — «Красс», «Серторий» — «Эвмен», «Фокион» — «Катон», «Агид» — «Клеомен» — «Гракхи», «Демосфен» — «Цицерон», «Дион» — «Брут», «Деметрий» — «Антоний», «Александр» — «Цезарь»); сюда можно добавить пару «Филопемени» — «Фламиния», где вступление перенесено к началу *второй* биографии. Общее послесловие с сопоставлением обоих героев отсутствует лишь в четырех случаях («Фемистокл» — «Камилл», «Фокион» — «Катон Младший», «Александр» — «Цезарь» и «Пирр» — «Марий»).

Поскольку в новое время издатели разделили текст «Параллельных жизнеописаний» на главы таким образом, что их счет ведется отдельно для каждой биографии, возникает вопрос, куда относить эти введения и «сопоставления»⁹. Последние издатель Д. Кораис в начале прошлого столетия¹⁰ попытался выделить в особые разделы с особым счетом глав; как известно, теперь *συγκρίσεις* обычно имеют в изданиях двойной счет глав — как продолжение второй биографии и как самостоятельная часть. Однако Плутарховы прооймий имеют не меньшее право рассматриваться как разделы, субординированные только диаде в целом, но никак не первой биографии этой диады. Мало того, что содержание этих прооймиев обычно относится ко всей паре; нередко оно даже в большей степени связано как раз с героем *второй* биографии. В качестве примера можно назвать пару «Кимон» — «Лукулл». Первые две главы, формально входящие в наших изданиях в состав «Кимона», всецело посвящены изложению одного эпизода из жизни *Лукулла*; имя Кимона в них вообще не встречается. В следующей главе Плутарх излагает причины, по которым он находит возможным сопоставить с Лукуллом Кимона, и лишь с IV главы начинается рассказ о последнем. Было бы логично наряду с синкрисисами выделять особым счетом глав также и подобные введения.

Но, разумеется, важны не эти технические подробности¹¹. Важно почувствовать структурное единство пары биографий, которое особенно ощущается как раз в прооймий и послесловии к этой паре. Ими она открывается и замыкается. Между прооймием и синкрисисом существует несомненная композиционная *симметрия*. В смысловом отношении они также явственно соотнесены между собой и дополняют друг друга: как правило, в прооймий изложены черты сходства, в синкрисисе — черты различия двух героев; прооймий мотивирует возможность сопоставления, в послесловии это сопоставление проводится. В этом очень легко убедиться на примере любой диады, в которой есть обе эти части. На том значении, которое имеют прооймий и синкрисис в своей внут-

ренной соотносительности между собой для художественно-этологического метода Плутарха, мы остановимся во втором разделе настоящей главы.

Есть еще один формальный момент, который очень наглядно подчеркивает единство диады (или тетрады, которую мы вправе рассматривать как диадическое сочетание двух диад). Весьма часто вторая биография диады имеет в своей первой фразе частицу δὲ, которая устанавливает твердую грамматическую связь со всем содержанием предыдущей биографии. Употребление частицы δὲ мы могли проследить в 21 случае (как известно, начало «Цезаря» утрачено; тетраду «Агид» — «Клеомен» — «Гракхи» мы рассматривали как единицу, изоморфную диадам, и брали для рассмотрения первую фразу «Тиберия Гракха»): из этого числа она встречается в 14 случаях («Ликург» — «Нума», «Перикл» — «Фабий», «Аристид» — «Катон», «Пелопид» — «Марцелл», «Фемистокл» — «Камилл», «Лисандр» — «Сулла», «Кимон» — «Лукулл», «Никий» — «Красс», «Серторий» — «Эвмен», «Филопмен» — «Фламиний», «Демосфен» — «Цицерон», «Фокион» — «Катон Младший», «Дион» — «Брут», а также «Агид» — «Клеомен» — «Гракхи»). Вот несколько стереотипных случаев таких начальных фраз (излишне указывать, из какой биографии они взяты):

Ἔστι δὲ καὶ περὶ τῶν Νομά τοῦ βασιλέως χρόνων, ἀθ' οὓς γέγονε, νεανική διαφορά... («Вот и о времени, когда жил царь Нума, тоже идут оживленные споры...»);

Τοῦ δὲ Λευκόλλου πάππος μὲν ἦν ὑπατικός... («Что до Лукулла, то его дед был консуляром...») — такое начало определенным образом корреспондирует с началом повествования о Кимоне в 4 гл. предыдущей биографии, где с первой же фразы речь идет о деде героя с материнской стороны);

Κιέρανος δὲ τὴν μὲν μητέρα λέγουσι Ἑλβίαν καὶ γεγονέναι καλῶς καὶ βεβιωμέναι... (...«Что до Цицерона, то мать его Гельвия была, как сообщают, женщина хорошего происхождения и честной жизни...») — сходный случай; свой рассказ о Демосфене Плутарх начинает с сообщения о его родителях и, между прочим, с пересказа сплетен о матери оратора — «Демосфен», 4);

Μάρκος δὲ Κράσσοσ ἦν τιμητικῶσ καὶ θριαμβικῶσ πατρός... («Что до Марка Красса, то он был сыном цензора и триумфатора...»);

Μάρκω δὲ Κάτωνί φασιν ἀπὸ Τοῦσκλου τὸ γένος εἶναι... («Что до Марка Катона, говорят, что он был родом из Тускула...» — едва ли случайно, что в первой фразе предыдущей биографии Плутарх называет филоу и дем Аристида, что он делает не для всех своих аттических героев);

Κάτωνι δὲ τὸ μὲν γένος ἀρχὴν ἐπιφανείας ἔλαβε καὶ δόξης ἀπὸ τοῦ προπάππου Κάτωνος... («Что до Катона, то его род началом своей известности и славы обязан Катонову прадеду...»).

Еще более отчетливую соотнесенность с предыдущей биографией создают также вступительные фразы:

Τοιοῦτου δὲ τοῦ Περικλέουσ ἐν τοῖσ ἀξίοισ μνήμησ γεγονότος, ὡс παρειλήφμεν, ἐπὶ τῶν Φάβιον τὴν ἱστορίαν μετάγομεν... («Таков, стало быть, Перикл в его достопамятных поступках; изложив их, мы переходим к истории Фабия...»);

Ὅν δὲ παραβάλλομεν αὐτῶ (имеется в виду, конечно, Филопемён, герой предыдущей биографии!), Τίτος Κοϊντίос Φλαμινίος... («Тот, кого мы сопоставим с ним, Тит Квинтий Фламиний...»);

Ἡμεῖс δὲ τὴν πρώτην ἱστορίαν ἀποδεδοκότες, ἔχομεν οὐκ ἐλάττονα πάθη, τούτων ἐν τῇ Ῥωμαϊκῇ συζυγίᾳ θεωρησαι τὸν Τιβερίου καὶ Γαίου βίον ἀντιπαραβάλλοντες... («Итак, закончив нашу первую историю, обратимся к не менее страшным бедствиям римской четы, избрав для сопоставления жизнь Тиберия и Гая...»).

Перечисленные выше случаи употребления частицы δέ, как явствует из нашего перечня, составляют 0,75 от общего количества доступных обследованию случаев. Мы сознательно не включили в этот перечень диаду «Солон» — «Попликола», так как относительно δέ в первой фразе «Попликоль» в рукописях существует некоторое колебание¹²; все же для этой частицы существует достаточно хорошее рукописное предание, и К. Циглер сохранил ее в последнем издании Плутарховых биографий¹³. Вот первая фраза «Попликолы» в варианте, принятом Циглером; связь между частями диады выражена в ней настолько

отчетливо, что она, по сути дела, в такой же степени заключает «Солона», в какой открывает «Попликолу»: Τοιοῦτῳ δὲ γενομένῳ τῷ Σόλῳσι τὸν Ποπλίκολαν παραβάλλομεν... («Это, стало быть, случилось с Солонем, а сопоставим мы с ним Попликолу...»).

Таким образом, Плутарх использовал три возможности, чтобы подчеркнуть единство диады (или тетрады): общее введение, общий «синкрисис» и переход от одной биографии к другой, который строится таким образом, что не столько разделяет их, сколько соединяет¹⁴.

Едва ли можно сомневаться в том, что Плутарх испытывал потребность изложить читателю мотивы, по которым он избрал «параллельное» построение для своего сборника. Непосредственные обращения Плутарха к читателю со словоохотливым разъяснением тех или иных особенностей и установок своего изложения буквально переполняют его «биографии»¹⁵, поддерживая характерную для них (а в большей или меньшей степени — и для всего творчества Плутарха¹⁶) атмосферу доверительной беседы автора с читателем. К тому же мы видим, что Плутарх не раз считает нужным разъяснять, почему он *продолжает* работу над «Параллельными жизнеописаниями» (напр., «Перикл», 2; «Эмилий Павел», 1, и др.); трудно представить себе, что он воздержался от таких же разъяснений относительно целей и структуры всего сборника в целом, когда *начинает* работать над ним.

Так или иначе, мы не располагаем таким общим прооймием к «Параллельным жизнеописаниям». Очевидно, он содержался в начале диады «Эпминонд» — «Сципион», как известно, утраченной¹⁷.

Рассмотрим теперь, как Плутарх обосновывает соединение двух биографий в диаду в каждом отдельном случае. Очевидно, это обоснование может включать следующие основные элементы: 1) сходство ἴδιος'а двух героев, 2) сходство их исторической роли и 3) сходство их τύχη, т. е. основных ситуаций их жизни.

1. Т е с е й и Р о м у л. Здесь, конечно, определяющим было сходство исторической роли: «Мне показалось уместным сопоставить основателя пре-

красных, многвоспетых Афин с отцом непобедимого и прославленного Рима» («Тесей», 1, 5). «Параллельность» образов обоих героев, таким образом, несколько отступает на второй план перед «параллельностью» самих актов синойкизма Афин и основания Рима. Этот мотив особо подчеркнут в прооймии («Тесей», 1—2) и присутствует также и в синкрисисе («Ромул», 33). Что касается общего в нравственном облике обоих героев, то здесь Плутарх указывает на родовые черты сказочного героя: таинственное происхождение, воинскую отвагу, похищения женщин. Эти черты сходства перечисляются полностью в прооймии («Тесей», 2), в то время как синкрисис регистрирует только черты различия.

Плутарх с тем большим основанием мог усмотреть в образах обоих героев некоторую типологическую общность, что сама легенда о Ромуле, несомненно, формировалась во всяком случае не без влияния греческих легенд о богорожденных основателях полисов¹⁸.

2. Л и к у р г и Н у м а. Здесь общий для пары прооймий отсутствует (его заменяет в качестве фактора, скрепляющего единство пары, явная соотнесенность первой фразы «Нумы» с первой же фразой «Ликурга»). Поэтому κοινότητες («общие свойства») обоих перечисляются по необходимости в послесловии, будучи предпосланными собственно синкрисису («Нума», 23, 2). Эта характеристика сходства имеет чисто этологический, не ситуативный уклон: речь идет об их воздержности (σωφροσύνη), благочестии, политической и педагогической способности (τὸ πολιτικόν, τὸ παιδευτικόν — чисто плутарховская группировка понятий!), а под конец снова о религиозности.

Разумеется, Плутарх при этом сопоставлении имел в виду прежде всего место обоих героев в общей панораме греческой и римской истории (оба — законодатели, и притом выступившие в раннюю эпоху, когда нравы их народов еще только формировались), но говорить об этом прямо считал излишним.

3. С о л о н и П о п л и к о л а. Прооймий отсутствует. В синкрисисе («Попликола», 24) есть примечательное заявление: «Не правда ли, в этом

сопоставлении есть нечто особенное, чего, пожалуй, не сыщешь ни в одном из уже написанных — а именно, что один был подражателем другого, а последний свидетельствовал о первом?» Как выясняется из дальнейшего, «подражателем» Солон был Попликола, а «свидетельствовал» о Попликоле (до него) Солон; дело в том, что жизнь Попликолы, по Плутарху, есть практическая реализация того идеала жизни доброго гражданина, исполняющего долг перед отечеством, продолжающего жизнь в потомках и любовно оплаканного после смерти, который Солон сформулировал в своих стихах и в своем знаменитом ответе Крезу о счастье. Естественно заключить из этого, что на Плутархово изображение Попликолы определенным образом подействовало то представление, которое он составил себе о содержании «мудрости» афинского законодателя.

4. **Фемистокл и Камилл.** Как прооймий, так и синкрисис отсутствуют. Именно в этой диаде отсутствие синкрисиса ощущается как действительно серьезный пробел, так что довольно естественно представить себе, что он был написан, но затем утерян. Так или иначе, в существующем тексте биографий сближение героев осталось *без всякой мотивировки*. Ее только отчасти заменяет то обстоятельство, что в начале обеих биографий усиленно подчеркиваются интеллектуальные качества героев. Надо думать, что Плутарх усмотрел аналогию не столько в нравственном облике или в судьбах самих Фемистокла и Камилла, сколько в исторической ситуации вражеских нашествий, от которых им довелось спасти отечество. То, что Афины в ходе войны пришлось временно сдать персам, а Рим — галлам, представляет особенно наглядный ситуативный параллелизм в обычном плутарховском стиле.

5. **Перикл и Фабий Максим.** Прооймий (после обширного рассуждения о целях литературного творчества вообще, которое нам не раз приходилось цитировать) довольно суммарно перечисляет основные общие черты героев. По мнению Плутарха, они сходятся между собой «как в других своих добродетелях, так прежде всего в своей мягкости и справедливости,

а также тем, что оказались способными сносить несправедливые суждения народа и сотоварищей по должности, чем и сослужили каждый своему отечеству великую службу» («Перикл», гл. 2, 5).

Синкрисис регистрирует только черты различия. При этом, однако, он дает лишний материал и для понимания того, какую общность усматривал Плутарх в своих героях: Перикл и Фабий сопоставляются («Фабий Максим», 29) со специально военной точки зрения¹⁹, как знаменитейшие представители того, что мы назвали бы «фабианской тактикой».

Но самым существенным для Плутарха пунктом сравнения было то, что оба проявили непреклонность перед лицом сограждан — ту добродетель «справедливого» государственного мужа, о которой говорит Гораций:

Iustum et tenacem propositi virum
Nec civium ardor prava iubentium
...Mente quatit solida, neque Auster.

(«Твердый дух справедливого и постоянного в своих решениях мужа не будет поколеблен ни яростью сограждан, повелевающих дурное... ни Австром».) О той идее «политической педагогики» (πολιτικὴ παιδεία), которую Плутарх связывал именно с подобными образами, нам уже приходилось говорить в предыдущей главе.

6. К о р о л а н и А л к и в и а д. Общий про-оймий отсутствует. Главный пункт сопоставления выявляется в послесловии — синкрисисе. Этот пункт — общность морально-психологической ситуации: человек, не лишенный величия (важная для Плутарха концепция *μεγάλη φύσις*), обаяния и даровитости, но доведенный безудержным честолюбием до измены отечеству (проблематика полисной этики и индивидуализма). Плутарховский стиль морализма видит в этом некоторый «казус», который должен быть проанализирован с возможной тщательностью.

В остальном Плутарх очень хорошо видит полную противоположность морального облика своих героев: суровый, дикий, прямодушный и грубый римлянин — высококультурный, изящный, не чистый от корысти и лукавства и в то же

время более мягкий и человечный грек — и сам выразительно подчеркивает эту противоположность в синкрисисе («Алкивиад», 41—44). Вообще говоря, понимание Плутарха сильно страдает от того, что современный читатель ожидает во всех случаях найти сходство в самих характерах героев диады и вменяет Плутарху в вину то, что это сходство порой полностью отсутствует²⁰. Между тем очень часто Плутарх идет *не от характеров, а от ситуации* и как раз стремится проследить, как проявляют себя в аналогичной ситуации совершенно различные характеры. В дальнейшем такой случай встретится не раз.

7. Э м и л и й П а в е л и Т и м о л е о н т. Проиймий односложно утверждает, что герои были между собой схожи своим жизнеотношением (*αἰρέσειν*, по переводу С. П. Маркиша, — «образом мыслей») и своей счастливой судьбой (*τύχαις ἀγαθαῖς*). Это утверждение никак не раскрывается в пределах проиймия. Конкретизация дается в начале синкрисиса («Тимолеонт», 40): оба вели войны с безоблачным успехом, и обоим суждено было уничтожить «тиранническую» (под категорию «тираннов» подводятся здесь и македонские монархи) династию. Лишь после того, как эта тема исчерпана, Плутарх говорит о безусловно нравственной жизни обоих. Таким образом, четкое членение материала на два пункта — *αἶρεσις* и *τύχη*, намеченное уже в проиймии, составляет костяк синкрисиса. При этом автор сначала говорит о типологическом сходстве жизненных ситуаций и лишь затем — о том, как в этих ситуациях проявил себя характер героев.

8. П е л о п и д и М а р ц е л л. Вступление прежде всего говорит о чисто внешней, но очень конкретной и бросающейся в глаза черте биографии обоих героев: они погибли по вине собственной опрометчивости. Таким образом, и здесь речь идет о сходном «казусе», единой моралистической проблеме (различие обязанностей рядового воина и полководца). После этого Плутарх указывает на общие для обоих черты личности (военственность, полководческое дарование), а затем снова переходит к сходству жизненной ситуации (обоим довелось нанести поражение врагу, кото-

рый до этого считался непобедимым). Синкрисис снова дает перечень общих черт этоса («Марцелл», 31, 1: «Оба были храбры, и неутомимы, и вспыльчивы, и великодушны»), а затем развивает мотивы, уже намеченные в прооймии.

9. А р и с т и д и М а р к К а т о н. Общий прооймий отсутствует; перечисление общих черт перенесено в послесловие — синкрисис. В последнем («Марк Катон», 28) мы читаем: «Общим для них является то, что оба, начав с ничего, благодаря своим нравственным качествам и способностям (*ἀρετῆ καὶ δυνάμει*) достигли власти и славы». В этой фразе можно выделить два логических пункта. Один из них относится к жизненной ситуации героев («начав с ничего... достигли власти и славы»), второй — к их нравственному облику («нравственные качества и способности»).

Параллелизм жизненной ситуации выявлен, между прочим, в параллелизме начальных частей обеих биографий, всецело посвященных раскрытию формулы «начав с ничего». Но гораздо более принципиальное значение имеет второй момент, всецело доминирующий над огромным синкрисисом. Суть его в следующем: герои этой диады — самый общепризнанный и безупречный представитель традиционной полисной этики Греции, а рядом с ним — столь же общепризнанный ревнитель «отеческих нравов» Рима. Это создает возможность сделать объектами сопоставления как бы сами идеалы афинской и римской старины в их наиболее адекватном воплощении. Плутарх менее всего старается смазать контраст между этими идеалами; напротив, он с полной сознательностью дает читателю до конца прочувствовать этот контраст, находя в синкрисисе очень выразительные слова для характеристики столь чуждой ему черствой и бездушной («Катон», 31, ср. также 5), хотя и конструктивно-деловитой (там же, 30) психологии римлянина старого закала.

На примере этой пары можно еще раз убедиться, что Плутарх далеко не всегда группировал своих героев по сходству их этоса (как этого обычно ждут или требуют от него и современный читатель, и современный исследователь). В ряде случаев он сознательно искал как раз возможно

более благодарного и эффектного контраста, — разумеется, всегда оттененного частичным сходством.

10. Филопемен и Тит Фламиний. Общий прооймий в начале диады отсутствует. В самом начале второй биографии мы читаем: «Тот, кого мы сопоставим с ним («Ὁν δὲ παραβάλλομεν αὐτῷ — речь идет о Филопемене), Тит Квинций Фламиний ... нравом был, как говорят, горяч (ὄξύς)... В высшей степени честолюбивый и славолюбивый, он стремился на свой страх и риск творить прекраснейшие и величайшие подвиги... Воспитание он получил воинское (παιδευθεὶς δὲ παιδείαν τὴν διὰ τῶν ἐθνῶν τῶν στρατιωτικῶν)...» В этой обобщенной характеристике, с самого начала дающей четкий смысловой центр всему последующему повествованию, почти каждое слово соотнесено с характеристикой Филопемена в предыдущей биографии (гл. 3: τοῦ δὲ ἥθους τὸ φιλότιμον οὐκ ἦν παντάπασι φιλονεικίας καθαρὸν... το δραστήριον καὶ συνετὸν αὐτῷ... καὶ γὰρ ἐκ παίδων εὐθύς ἦν φιλόστρατιώτης...)). Обе характеристики дают почти один и тот же образ честолюбивого, энергичного, отважного, при этом грубоватого и интеллектуально ограниченного человека, типичного воина своей эпохи.

Напротив, исторические судьбы обоих героев воспринимаются как резко контрастные. Контраст оттеняется тем, что герои были современниками и действовали в рамках одной исторической ситуации. Обоим суждено было явиться «благодетелями» Греции; так, по крайней мере, полагал сам Плутарх («Тит Фламиний», 22). Но один оказал Греции услугу своим неуступчивым свободолюбием, другой — уступчивым великодушием снисходительного победителя. Филопемен, если можно так выразиться, еще пытался бороться за то, чтобы Греция не нуждалась в такой снисходительности; о том, что Риму этот «последний эллин» никак не был другом, выразительно напоминает концовка его биографии. Контрастное соединение в пределах одной диады жизнеописаний строитивого грека и великодушного римлянина очень хорошо выражает непростое отношение Плутарха к факту римского владычества: он с искренней

доляльностью готов был почтить второго, но лишь воздав сначала должное первому.

11. П и р р и М а р и й. Как общее введение, так и общее послесловие *отсутствуют*. Возможно, что Плутарх просто не счел нужным особо формулировать пункты сопоставления: они лежат на поверхности и в то же время мало содержательны. В плане *τόχη*, общей для героев является атмосфера беспокойного существования авантюриста, неоднократно меняющего высшую власть на изгнание и обратно; в плане *ἦθος* а героев роднят такие черты, как безудержное властолюбие, суровость и отсутствие интереса к духовной культуре (последнее особенно подчеркнуто для Пирра — 8 и для Мария — 2).

12. Л и с а н д р и С у л л а. Виламовиц²¹ приводит эту диаду в качестве примера особенно абсурдного сочетания героев — их объединяет якобы лишь то, что обоим суждено было взять Афины. Это не совсем соответствует истине, хотя «повторение» исторической ситуации действительно могло заинтересовать Плутарха (и, надо полагать, его читателей) гораздо живее, чем нас. В начале синкрисиса (общий прооймий отсутствует) речь идет о блистательной политической карьере обоих («Сулла», 39): оба для Плутарха — прежде всего очень удачливые властолюбцы, импонирующие, но несимпатичные. В пределах этого типа намечены различия: в спартанце сильнее остатки традиционной этики, римлянин обладает более значительной деловой хваткой политика и полководца («Сулла», 40—43).

13. К и м о н и Л у к у л л. Прооймий («Кимон», 3) подчеркивает, что оба знаменитых полководца проявляли в своей гражданской деятельности миролюбие и отвращение к экстремизму. В частной жизни их роднит широта натуры и страсть к тратам, и притом не лишенная благородного оттенка.

Непосредственно за этим следует такое замечание: «Мы опускаем те черты сходства, которые нетрудно уловить из самого повествования» («Кимон», 3, 3). Некоторые из этих опущенных черт намечены в синкрисисе: Плутарх много говорит о сходстве в аристократическом стиле поведения

обоих героев, об их неспособности к демагогии и непопулярности («Лукулл», 45); оба, по мнению автора, пользовались в равной степени покровительством богов (там же, 46). Другие черты сходства действительно приходится вычитывать «из самого повествования». Сюда относится, например, присущая обоим приятность в обхождении («Кимон», 9; «Лукулл», 1).

14. **Н и к и й и К р а с с.** Общее вступление начинается следующей фразой: «Нам представляется не лишенным смысла сопоставить с Никием — Красса и с сицилийскими бедствиями — парфянские» (Ἐπεὶ δοχοῦμεν οὐκ ἀτόπως τῷ Νικίᾳ τὸν Κράσσον παραβάλλειν καὶ τὰ Παρθικὰ παθήματα τοῖς Σικελικοῖς). Таким образом, здесь главным объектом сопоставления являются не характеры героев, а ситуации — историко-прагматические *ситуации* сицилийской и парфянской катастроф и морально-психологические ситуации, в которых оказывались полководцы обреченных воинских сил, — чисто литературно-живописное нагнетание трагизма обреченности в обеих биографиях создает весьма красочный параллелизм. Что касается самих героев, то они, по сути дела, становятся интересными и значительными только в обстановке катастрофы. И к Никию («Никий», 2—4, 8, 14) и к его римскому собрату («Красс», 1—2, 17). Плутарх относится далеко не без иронии; эта атмосфера иронии также объединяет обе биографии.

15. **С е р т о р и й и Э в м е н.** В общем прооймии говорится: «...Оба были прирожденными вождями, изобретательными в военных хитростях, оба лишились своей родины и имели под началом чужеземцев, обоим судьба принесла кончину насильственную и незаконную; оба стали жертвой заговора и были погублены теми, с кем совместно одерживали победы над врагом» («Серторий», 1,5). Те же мотивы повторяются и в немногословном синкрисисе: «Обоих объединяет то, что они, будучи иноземцами, чужаками и изгнанниками, начальствовали над разнообразными племенами, отважными войсками и великими силами» («Эвмен», 20,1). Таким образом, здесь на первом месте стоит типологическая близость ситуации, а не характера. Обе биографии — как бы пара нагляд-

ных иллюстраций (*παράδειγμα*) к моралистическому тезису о возможностях и опасностях, ждущих деятельного человека на чужбине. Среди сочинений Плутарха имеется трактат «Об изгнании» («Περὶ φυγῆς»), где этот же тезис развивается в теоретической плоскости (особенно гл. 14—15). Речь с тем же заглавием (но иным, конкретно-автобиографическим содержанием) есть и у Диона Хрисостома.

16. А г е с и л а й и П о м п е й. Общее вступление отсутствует. Некоторые черты сходства непосредственно выявлены в ходе самого повествования (напр., сдержанность и обходительность, сочетание гордости и приветливости, умение понравиться толпе — см. «Агесилай», 12, 19 и 20; «Помпей», 1 и др.); другие пункты намечены в синкрисисе (довольно бессодержательном).

Плутарх нигде не формулирует непосредственно того пункта сопоставления, который господствует над всей диадой: как спартаец, так и римлянин соединяют откровенный индивидуализм властолюбцев с остатками лояльности в отношении традиционного благозакония и традиционных институтов. Таким образом, на первом месте здесь типология политического стиля (излишне говорить, что Плутарх видит ее сквозь моралистико-психологическую призму).

17. А л е к с а н д р и Ц е з а р ь. В прооймии к этой паре Плутарх занят исключительно характеристикой и апологией своих установок в отборе материала. Соединение героев в рамках диады нигде не мотивируется. В этом и не было надобности: сравнение Цезаря с Александром было избитой темой, автоматически приходившей на ум историку (см. примеч. 9 к этой главе). Как *ζηλωτής* Александра, Цезарь выступает, между прочим, и в анекдоте, приведенном у Плутарха («Цезарь», 12).

18. Ф о к и о н и К а т о н М л а д ш и й. Предпосланное этой диаде пространное вступление («Фокион», 1—3) — одно из самых важных для характеристики биографического метода Плутарха; в своем месте нам уже приходилось о нем говорить. Плутарх начинает с того, что находит некоторую общую формулу политико-эти-

ческой ситуации (πολιτεύομενοι τὰ ναύαγια τῆς πόλεως — «правлящие обломками государственного корабля»), затем переходит от типологии ситуации к типологии характера и набрасывает в общих контурах портрет деятеля, который в таких условиях сохраняет суровую непреклонность, и лишь после этого подыскивает реальные воплощения такой комбинации «судьбы» и «этоса».

Итак, общность ситуации — в том, что и Фокион, и Катон выступили в эпоху безнадежного крушения того строя, который они взялись защищать; общность нравственной позиции — в том, что оба никогда не действовали в угождение согражданам. Обоим присуща преданность старозаветным и отжившим устоям²². Но этим дело не ограничивается. По мнению Плутарха, сходство Фокиона и Катона выходит за пределы типологической общности и простирается «вплоть до последних и неразложимых особенностей» (μέχρι τῶν τελευταίων καὶ ἀτόμων διαφορῶν — «Фокион» 3,3), переходя в единственный в своем роде случай *идентичности* психологического склада. Такой подход делал синкрисис, т. е. регистрацию различий, излишним, и эта часть действительно отсутствует.

19. А г и д и К л е о м е н; Т и б е р и й и Г а й Г р а к х и. Общее вступление к тетраде («Агид», 1—2) построено в основном так же, как и начальная часть «Фокиона». Оно ставит нас в известность, что тетрада посвящена *демагогам*, и притом демагогам *благородным*: «...Снискав великую любовь сограждан, они стыдились остаться у них как бы в долгу; постоянно стремясь своими добрыми начинаниями превзойти оказанные им почести, и в благодарность за это почитаемые еще больше, они увлеклись подобным соревнованием между собой и народом и незаметно для себя дошли до таких дел, в которых и упорствовать было уже нехорошо, и отступать позорно... Возвеличивая народ ... пытаюсь возродить прекрасный и справедливый образ правления, который давно был утрачен, они равным образом навлекли на себя ненависть влиятельных лиц, не желавших расстаться с привычными привилегиями» («Агид», 2, 8—9). Отчетливый параллелизм существует между описаниями социальной

ситуации к моменту реформ в Спарте («Агид», 5) и в Риме («Тиберий Гракх», 8). Синкрисис занят только перечислением различий и распределением оценок.

20. Демосфени и Цицерон. Общие черты характера перечислены в прооймии («Демосфен», 3): речь идет прежде всего о комбинации честолюбия (τὸ φιλότιμον) и любви к гражданской свободе (τὸ φιλελευθέρων) с отсутствием физического мужества (πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἄτολμον). Обоим пришлось бороться «с царями и тираннами». В целом здесь довольно живо набросаны родовые, типологические черты честолюбивого, беспокойного, еервного и вольнолюбивого «витии». Разумеется, соотношение этого типа с реальными индивидуальностями исторически существовавших Демосфена и Цицерона всецело остается «на совести» Плутарха. Затем речь идет о сходстве судьбы обоих ораторов, причем биограф в увлечении не забывает упомянуть и столь несущественное совпадение, как то, что каждому из героев пришлось схоронить свою дочь. Как мы это могли наблюдать уже в ряде диад, и здесь Плутарх отчетливо выделяет этологический и ситуативный пункты сопоставления: «Если бы между природой (φύσις) и судьбой (τύχη), как это делается между художниками, было устроено состязание, трудно было бы решить, в чем у этих мужей больше сходства — в их нравах (τοῖς τρόποις) или в их обстоятельствах (τοῖς πράγμασι)» («Демосфен», 3,5).

Синкрисис предлагает необходимый коррелят к типологии вступления. Здесь Плутарх далеко не без тонкости и остроумия намечает в рамках описанного выше типа индивидуальные различия: Цицерон — всесторонне развитый дилетант, Демосфен всецело сосредоточен на политике; афинянин серьезнее и мужественнее, римлянин склонен к легкомыслию и тщеславию, но в то же время мягче и человечнее. Вообще сопоставление Демосфена и Цицерона — одно из самых содержательных среди Плутарховых синкрисисов.

21. Деметрий и Антоний. Диаде предпослано общее вступление. Как и в ряде других случаев («Фокион» — «Катон Младший», «Агид» —

«Клеомен»—«Гракхи» и др.), Плутарх идет от *общего тезиса*: «... Великие натуры порождают не только добродетели, но и пороки великие». Биографии призваны иллюстрировать этот тезис. Там же Плутарх перечисляет общие черты характера и судьбы своих героев, четко отделяя *κοινότητες* первой и второй категории. Сначала речь идет о самих героях: они были в равной степени (*ὁμοίως*) сластолюбивы, привержены к вину, настоящие солдаты по своему душевному складу, щедры, расточительны, наглы. Сходство их судеб логически выводится из общности нравственного облика (*καὶ τὰς κατὰ τύχην ὁμοιότητας ἀκολούθους ἔσχον*).

Сходство судеб героев еще раз подчеркнуто в суммирующей фразе послесловия: «... Так как мы убедились, что оба испытали великие превратности судьбы...» («Антоний», 83). В остальном синкрисис посвящен выявлению индивидуальных различий между героями.

22. **Дион и Брут.** Общий прооймий («Дион», 1—2) начинается с указания на то, что из героев диады «один был учеником самого Платона, а другой воспитан на Платоновых речениях» («Дион», 1,1). Нам эта параллель может показаться случайной, но в контексте мировоззрения Плутарха она приобретает весьма важное значение, как пример единства философской теории и политической практики. Плутарху тем приятнее выдвинуть на первый план «воспитавшую» его героев философию, что философия эта — платонизм; Дион и Брут — как бы сотоварищи Плутарха по философской школе. Заметим еще, что иллюстративная установка «Параллельных жизнеописаний», связанная с идеей *παράδειγμα*, сформулирована здесь особенно ясно. По Плутарху, деяния Диона и Брута суть наглядные подтверждения того тезиса Платона, согласно которому «нужно, чтобы с правильным образом мыслей соединились сила и удача, и тогда деяния на государственном поприще приобретают одновременно и красоту, и величие» («Дион», 1,2).

Все эти рассуждения Плутарха не богаты конкретным содержанием. Их назначение — в ином:

они с самого начала создают эмоциональную атмосферу особой торжественности и серьезности, которая выделяет эту диаду среди «Параллельных жизнеописаний»: такая степень приподнятости не часто встречается даже у Плутарха. Именно эта атмосфера и обеспечивает подлинное внутреннее единство обеих биографий. Настроение торжественности приобретает уже в прооймии оттенок печали: Плутарх говорит о том, что обоим героям безвременная гибель была заранее возвещена божеством («Дион», 2,2). Эта траурно-мистическая нота предвещает внушительный эффект явления призрака в 26 главе «Брута». Сам Плутарх сообщает, что эта пара была им выполнена двенадцатою; его биографическая техника достигает здесь своей зрелости, что проявляется и в удачном построении прооймии.

Итак, Дион и Брут — во-первых, последователи Платоновой философии, во-вторых, обреченные роком страдальцы. Синкрисис выдвигает третий пункт сопоставления: их тиранноборчество («то, что вменяется обоим мужам в высшую похвалу, сиречь ненависть к тираннам...»).

СМЫСЛ ПОПАРНОЙ ГРУППИРОВКИ БИОГРАФИЙ

Мы довольно подробно рассмотрели, как Плутарх проводит диадический принцип группировки биографий. Перейдем к тому, для чего он это делает.

Неоднократно указывалось, что структура «Параллельных жизнеописаний» служила пропаганде важной для Плутарха идеи эллино-римского содружества в рамках Римской империи²³. Желая сблизить греков и римлян, Плутарх намеревался доказать своим соотечественникам, что римляне — не варвары²⁴, и одновременно напомнить римскому читателю, что греки — не жалкие *Graeci*²⁵. В этом смысле «*Βίοι παράλληλοι*» — своего рода акт культурной дипломатии, духовного посредничества между двумя первенствующими народами империи; такое посредничество вполне совпадает с официальными тенденциями эпохи Антонинов²⁶ и в то же время глубоко характерно

для мировоззренческого облика самого Плутарха. Эта сторона дела, безусловно, очень важна; вполне понятно, что именно она всегда стояла в центре внимания исследователей. Но именно поэтому она может считаться в настоящее время вполне выясненной; ее необходимо иметь в виду, но останавливаться на ней специально мы не будем.

Гораздо менее выясненным является другой вопрос: в каком отношении находится архитектора «Параллельных жизнеописаний» к плутарховским методам литературной характеристики?

Как мы уже видели (см. главу II), Плутарх не удовлетворяется механическим каталогизированием добродетелей и пороков, телесных особенностей и достопамятных изречений своих героев. От подавляющего большинства известных нам представителей античного биографизма его отделяет прежде всего стремление к цельной (хотя бы ценой упрощения, схематизации, стилизации материала) характеристике людей и событий. Он прежде всего стремится уяснить себе и читателю, к какому разряду человеческих типов принадлежит его герой и какой формулой можно выразить его жизненную ситуацию и жизненную позицию.

Мы уже видели, что в этом Плутарх ближе к традиции греческого философского морализма и психологизма, чем к традиции греческого биографизма. Стиль античной психологии, как мы знаем его хотя бы по «Характерам» Феофраста, требует установления возможно более дифференцированной, но в принципе *замкнутой* суммы общих типов и схематических ситуаций, которые затем можно было бы узнавать в конкретных частных явлениях. Эта же типология пронизывает и морально-философские сочинения самого Плутарха; мы постоянно встречаем там очень живо и пластично набросанные типовые образы «гневлища» («О том, что нужно сдерживать гнев», гл. 3—7 и др.), «любопытного» («О любопытстве»), «должника» и «заимодавца» («О том, что не следует делать долгов»), «хвастуна» («О том, как, не вызывая зависти, хвалить себя самого», гл. 3), «лстеца» («О том, как отличить друга от лстеца»,

гл. 8, 11—15 и др.), «застенчивого» («О ложном стыде», 1 и др.). Очень характерен для морализма Плутарха повышенный интерес и к типологии этико-психологических *ситуаций*. Как должен поступить заслуженный государственный человек, почувствовав приближение дряхлости («Следует ли старику заниматься государственными делами?»)? Что следует сказать благовоспитанному человеку, когда он вынужден отклонить ту или иную просьбу или приглашение («О ложном стыде», гл. 10)? Какое поведение приличествует благородному человеку, когда он оказывается в плохом финансовом положении («О том, что не следует делать долгов»? Этими и подобными вопросами переполнены «Моралии».

Этот же подход определяет и архитектонику «Параллельных жизнеописаний».

Соединяя двух героев в «параллельную» чету и мотивируя это соединение в общем прооймии или ином месте диады, Плутарх как раз и намечает *типологическую категорию*, под которую ему представляется уместным подвести два конкретных исторических случая. Мы уже видели, как это делается. В ряде диад Плутарх идет от общности морально-психологической ситуации, прослеживая, как она реализуется в жизни двух различных, порой очень непохожих друг на друга людей. Часто такие диады выглядят как попарно сгруппированные иллюстрации к единому нравоучительному тезису («Серторий» — «Эвмен», «Пелопид» — «Марцелл», «Кориолан» — «Алкивиад», «Никий» — «Красс»). Иногда общность ситуации понимается автором более расширительно: в таком случае в основу группировки героев кладется сходство их структурного положения в пантеоне греческой и римской истории («Александр» — «Цезарь», «Аристид» — «Катон Старший»). В других случаях типологическая категория, объединяющая два конкретных «казуса», характеризует психологический склад героев; автора интересует, как сходные характеры проявляются в различных обстоятельствах («Ликург» — «Нума»²⁷, «Филопемён» — «Тит Фламиний», «Кимон» — «Лукулл»). Наконец, встречаются и такие случаи, когда общность ситуации и общность нравственного скла-

да совпадают и различные уровни плутарховской типологии надстраиваются один над другим («Ликург» — «Нума», «Фокион» — «Катон Младший», «Агид» — «Клеомен» — «Гракхи», «Дион» — «Брут»). Такие случаи сам Плутарх отмечает с особым удовлетворением («Фокион», 3; «Демосфен», 3, «Деметрий», 1, «Дион», 2 и др.); в них он должен был видеть как бы наглядное доказательство в пользу универсальности его типологической системы.

- Остановимся на том варианте, когда типологические поиски Плутарха принимают не ситуативное, но этологическое направление. Мы уже видели (см. главу II), что если образы Плутарха производят на нас (в особенности сравнительно с «литературными портретами» Светония, Диогена Лаэртского или ШНА) впечатление пластичной целостности и внутреннего единства, то это обеспечивается их строго центрированной структурой. Плутарх постоянно *отбирает* — и притом весьма произвольно — одну или несколько черт, которые кажутся ему выражением самой сути изображаемого характера, и группирует остальной материал вокруг этой сердцевины. Подчеркивание, выделение «самого главного» в облике героя достигается у Плутарха благодаря своеобразной и весьма разработанной технике. Среди этой системы приемов (ее анализ в основном дан во второй части главы II) не последнее место занимает попарная группировка героев. Благодаря ей Плутарх получил возможность заранее выставить на передний план важную в его глазах черту в облике его героя, сделав именно ее тем признаком, по которому этот герой сопоставлен с другим.

Возьмем для примера биографию Перикла. Здесь Плутарх стоял перед известными трудностями: образ вождя афинской демократии не прошел такой интенсивной разработки в предшествующей Плутарху биографической традиции, как образы Алкивиада, Александра и т.п., и относящийся к нему материал не был достаточно «отпрепарирован». Плутарх попытался придать жизнеописанию центрированность, выдвинув на передний план одну черту героя: его «олим-

пийскую» μεγαλοφροσύνη, непреклонность, самообладание перед лицом нападок сограждан (ср. «Перикл», 5, 7, 10, 24, 39). Но выделение этой черты в самом изложении все-таки проведено недостаточно сильно, и необходимо было его закрепить. Как раз этой цели служит то, что Перикл соединен в одной чете с Фабием Максимом (каким бы гротескным это соединение не могло представиться современному восприятию!) именно по этому признаку (см. выше).

Так группировка биографий и ее разъяснение в прооймии выявляет типологический замысел Плутарха. Но плутарховская типология характеров и ситуаций не исчерпывается нехитрой схематичностью; херонейский биограф видел не только черты сходства, но и оттенки различия. В своих сочинениях он не раз возвращается к важной для него мысли о том, что *одна и та же* «добродетель», нравственная черта, психологическая особенность *перестает быть идентичной себе* в зависимости от того, что являет собой ее носитель. Вот как говорит об этом Плутарх во вступлении к «Подвигам женщин»: «... Что касается до малозначительных различий, как бы оттенков (ὡστὲρ χροὰς ἰδίᾱς), то они от природы разделяют добродетели разных людей, в соответствии с различиями в их нравах, телесном устройстве, пище и образе жизни. По-своему отважен Ахилл, по-своему — Аянт; Одиссеева рассудительность непохожа на Несторову; не на один и тот же лад справедливы Катон и Агесилай; Эйрена в супружеской любви была отлична от Алкестиды, а Корнелия в величии душевном не сходствовала с Олимпиадой...» Сходные рассуждения мы встречаем и в «Параллельных жизнеописаниях» («Фокион», 3,3): «... Храбрость может отличаться от храбрости, как в Алкивиаде и Эпаминонде, рассудительность от рассудительности — в Фемистокле и Аристиде, справедливость от справедливости — в Нуме и Агесилае...»

Здесь дается как бы программа Плутарховых «синкрисисов». Распределение функций между частями диады ясно: объединяющие героев типологические черты составляют предмет прооймии, создающие между ними контраст индивидуаль-

ные оттенки разбираются — по мере авторского разумения — в послесловии-синкрисисе. Начальная и конечная части диады отчетливо соотносены друг с другом, что сообщает целому композиционную замкнутость. Мы уже видели, что поиски различий в рамках сходства порой придают синкрисисам неоспоримую содержательность; нам приходилось в этой связи отметить сопоставления Демосфена — Цицерона и Аристида — Катона Старшего. Особенно повышается значение, смысловая наполненность синкрисиса в тех случаях, когда Плутарх ищет контраста совершенно различных характеров, проявляющих себя в одной моральной ситуации: назовем для примера диаду «Жориолан» — «Алкивиад». Но важно отметить, что самые искусственные и натянутые сопоставления обнаруживают глубокую связь со всем стилем подхода Плутарха к своему материалу; в них необходимо видеть не риторический декоративный привесок, но необходимую конструктивную часть общего замысла.

Разумеется, это вовсе не значит, что они сами по себе «хороши». Но как бы мы их ни оценивали, это не избавляет нас от необходимости их объяснить, и притом из собственной внутренней логики мышления и творчества Плутарха²⁸.

Переходим к другой стороне плутарховского замысла. В рамках «Параллельных жизнеописаний» сопоставлению подвергаются не только отдельные характеры и отдельные ситуации; происходит «параллельное» обозрение двух канонов великих мужей — греческого и римского. Для чего Плутарх это сделал, мы в общих чертах знаем (см. выше о «пропагандистской» стороне замысла сборника). Остается уточнить, как он смог это сделать, — иначе говоря, на какие внутренние возможности, уже подготовленные предшествующим культурным развитием греко-римского мира, он опирался.

Единичное, контекстуально обусловленное сопоставление римского героя с греческим давно уже стало настолько распространенной принадлежностью риторической топики, что приходило на ум искушенному в технике декламаций человеку само собой. Это хорошо видно, например, из

того места в Цицероновом «Бруте» (гл. 10—11, § 41—42), где Цицерон, случайно упомянув, что Фемистокл жил в одно время с Кориоланом, немедленно присовокупляет к этому замечанию настоящий σύγκρισις обоих героев (42); Атик отвечает на это весьма ехидной выходкой относительно избитых декламационных приемов (43), и все место в целом производит впечатление пародии на хорошо известный читателям диалога прием. С другой стороны, нередким было суммарное сопоставление греческих и римских нравов, образа жизни, национального характера²⁹; это также не требует особого разъяснения. Но распространение принципа синкрисиса на совокупность избранных героев греческой и римской политической истории, и притом проведенное таким образом, что для каждого члена одного ряда подыскивается коррелят в другом ряду, — предприятие, насколько можно судить (см. выше), совершенно единичное.

Между тем существовала область, для которой именно такое сопоставление греческого и римского ряда было привычным и естественным: но эта область не политическая, а культурная история, παιδεία.

В самом деле, римская культура развивалась в постоянном соперничестве с греческой: римский комплекс научных дисциплин, литературных родов и видов³⁰ и т. д. если не в действительности, то в теории воспроизводил греческую модель структуры παιδεία. Римляне, как правило, не ставили под сомнение универсальный характер греческого идеала культуры, но стремились превзойти свои образцы в пределах этого идеала; эта цель окончательно выкристаллизовалась к эпохе Цицерона³¹. Дух aemulatio (подражания как соперничества), пронизывающий всю римскую культуру и наглядно выступающий в известном анекдоте об Аполлонии Родосском, слушающем Цицерона (*Плутарх*, «Цицерон», 4), в эпиграмме Проперция на «Энеиду» и в десятках других общеизвестных примеров, делал параллельное рассмотрение греческого и римского ряда естественным и оправданным. Именно так поступает, например, Квинтилиан в своем обзоре

римской словесности в книге X своего труда: Вергилий — это римский коррелят Гомера (X, 1,85: «Как у них Гомер, так у нас Вергилий...» и т. п.), Саллюстий — Фукидида (там же, 101 сл.), Тит Ливий — Геродота (104); Цицерон как политический и судебный оратор соответствует Демосфену (105 сл.), как мастер философской прозы — Платону (123). Сходным образом уже Цицерон («Брут», 26—38) предпосылает истории римского красноречия в виде пояснительной параллели историю греческой риторики.

Итак, Плутарх перенес на материал политической истории прием, первоначально сложившийся на ином материале. Это особенно наглядно видно на примере пары «Демосфен»—«Цицерон», где, как мы видели, сам автор оговаривает перенесение этой «параллели» из сферы литературной критики в область *πράξις* и *πολιτικά*.

Почему Плутарх это сделал? Здесь следует, очевидно, различать две причины: из них более внешняя — эллинский патриотизм Плутарха, более глубинная — плутарховская концепция *μαδεία* (т. е. образованности как выучки духа). Начнем с первой. Превосходство греков в области духовной культуры было признано голосами самих римлян: по словам Горация («О поэтическом искусстве», 323—324; пер. М. Л. Гаспарова):

Грекам, грекам дались и мысли, и дар красноречья,
Ибо они всегда ценили одну только славу!

С другой стороны, греки, начиная с Полибия (VI, 10 и др.), признавали за римлянами превосходство в сфере политической практики. Отсюда то размежевание, классические формулы которого дали Вергилий в знаменитом пророчестве Анхиза («Энеида», VI, 847—853) и Цицерон — в не менее известной сентенции («Об ораторе», III, 137): «... ut virtutis a nostris, sic doctrinae sunt ab illis exempla petenda» («как образцы доблести следует искать у наших, так примеры образованности — у греков»). Тем соблазнительнее было для каждой стороны перенести *ζήλωσις* в область превосходства противника и доказать, что

даже здесь они могут с ним потягаться. Стремление римлян превзойти свои греческие образцы в сфере наук, искусств, словесности породило ту схему «параллельного» обзора великих людей Греции и Рима, которую мы наблюдали у Квинтилиана³².

Грек Плутарх прилагает эту же схему к иному материалу и тем самым заставляет ее служить обратной тенденции: он стремится показать, что даже в области политической практики и военных подвигов его соотечественники могут выдержать сравнение с римлянами.

Эта сторона дела дальнейших разъяснений не требует. Важно отметить другое. Перенесение некоторой схемы, привычной для сферы *καιδεία*, на материал политической истории внутренне оправдано для Плутарха тем, что в его глазах *πολιτικὴ ἀρετή*, искусство государственной деятельности, по сути своей не что иное, как часть комплекса *καιδεία*, как бы одна из дисциплин практической философии (и притом важнейшая!). Нам уже приходилось говорить, что Плутарх понимает политику как подлинную реальность философии (в то время как философия — духовная форма правильной политической жизни, ее нравственный критерий и регулятор). При таком подходе можно было изображать все государственные и военные достижения римских героев как прямое порождение той же эллинской *καιδεία*. Именно так и поступает Плутарх. Уже Нума изображается как «пифагореец». Даже о Попликоле, которого нельзя было привести ни в какое реальное отношение с миром греческой мудрости, Плутарх все-таки не забывает сказать, что его жизнь оказалась осуществлением заветов Солона (о последнем Попликола, разумеется, ничего не мог знать, как это совершенно ясно и Плутарху). Ораторскую манеру Фабия Максима Плутарх не забывает сравнить с лаконичной жесткостью изречений Фукидида («Фабий Максим» 1, 8) — сопоставление очень натянутое, но тем более характерное. Особо подчеркнуто, что суровый Марцелл был любителем греческой учености («Марцелл», 1, 2). Даже ненавистник всего греческого Катон Старший, оказывается, обязан своей

воздержностью и умеренностью отнюдь не римским традициям, но знакомству в юности с пифагорейцем Неархом («Катон Старший», 2, 3); Плутарх с удовольствием отмечает, что целый ряд его сентенций, якобы представляющих собой средоточие чисто римской мудрости, на деле дословно соответствуют греческим образцам (там же, гл. 2, 6: ...μεθρημηγευμένα πολλά κατὰ λέξιν ἐν ταῖς ἀποφθέγμασι καὶ ταῖς γνωμολογίαις τέταχται). Затем тот же Катон сравнивается с Демосфеном (гл. 4,1) и с Сократом (гл. 7,1); эти почти произвольно возникающие под пером Плутарха «синкрисисы» как нельзя лучше показывают, насколько органично структура «Параллельных жизнеописаний» связана со всем строем породившего их мировоззрения. Мисэллинство Катона Плутарх может объяснить только принявшим ложное направление ревнивым честолюбием (φιλοτιμία, см. гл. 23, 1), не упуская возможности отнести за счет этого мисэллинизма все слабости, недостатки и неудачи римлянина (гл. 23—24 и 33). Напротив, по должному руслу пошло честолюбивое соревнование с греческими образцами у таких римских филэллинов, как Эмилий Павел, Лукулл, Цицерон, Катон Младший, «платоник» Брут; несомненно, к этому перечню можно было бы добавить и обоих Сципионов, если бы их жизнеописания сохранились.

Итак, мысль Плутарха ясна. Он не усматривает никакого серьезного различия между греческой ἀρετή и самобытно-римской virtus. Добродетель, по Плутарху, едина для греков и для римлян; ее сущность раз и навсегда теоретически раскрыта в тех учениях, которые составляют нравственную сердцевину греческой παιδεία. Остается осуществлять эту теорию человеческого поведения на деле, прежде всего — в общественной жизни. На греках и римлянах лежит один и тот же долг; им остается соревноваться в его исполнении. Этот грандиозный «агон» между двумя народами греко-римской древности и составляет, согласно концепции Плутарха, подлинный смысл истории. Архитектоника «Параллельных жизнеописаний» — лишь адекватное наглядное выражение этой концепции.

МЕСТО ОТДЕЛЬНОЙ БИОГРАФИИ В ОБЩЕМ ЕДИНСТВЕ СБОРНИКА

Как показано в предыдущей главе, греко-римская биография постоянно сталкивалась с материалом двоякого рода. Ее обычными героями были, с одной стороны, монархи, с другой — философы, поэты, риторы, грамматик и другие профессиональные представители мира наук и искусств. Тематика «Параллельных жизнеописаний» на этом фоне неожиданно оказывается исключением.

Теперь вопрос стоит так: в какой мере выбор героев оказывал влияние на приемы организации внутреннего единства биографического сборника?

Как известно, и биографии монархов, и биографии деятелей духовной культуры очень легко объединялись в циклы. Объединение происходило на самой простой, самой эмпирической основе: на основе хронологической последовательности, т. е. последовательности династического или школьного преемства. Здесь исторический жанр естественно и как бы сам собой переходит в биографический.

При монархической структуре общества вся политическая история легко может быть представлена как история сменяющихся друг друга правителей и соответственно оформлена как цикл биографий. Характерно, что историография Римской империи даже там, где она продолжает держаться формы анналов, имеет не только сильную биографическую окраску (образ Тиберия у Тацита!), но нередко и чисто биографическую структуру. Наглядный пример этого — исторический труд Аммиана Марцеллина: раздел, посвященный тому или иному царствованию, и начинается, и заканчивается как жизнеописание императора, с соблюдением обычных биографических шаблонов, и лишь между этими кусками биографического изложения внедрен имперсонально-исторический материал. Так, при появлении на сцене Юлиана Отступника (кн. XVI, 1) следует типичный для биографического энкомия *exordium*; в последующем изложении основной исторический план время от времени сменяется биографическими рубриками (*mores* — кн. XVI, 5 сл.,

ἀποφθέγματα — там же, 10 сл.), а после описания смерти Юлиана дается систематическая рубрицированная характеристика в духе биографии светониевского типа (кн. XXV, 4).

В истории различных дисциплин духовной культуры (сочинения типа *περὶ ποιητικῆς*) на место отношения преемника к предшественнику становится отношение ученика к учителю. «Дидактики» философов — прямая аналогия династиям монархов. Даже в нашем веке, когда мы так далеко ушли от наивных времен Гиберти и Вазари³³, известный немецкий теоретик искусства Г. Вельфлин еще мог говорить об отмежевании «истории искусства» от «истории художников» как о насущной и нерешенной проблеме³⁴; для античности же единственным возможным видом истории той или иной области духовной культуры была именно «история философов», «история поэтов» и т. д. — биографически оформленная (тип *βίος καὶ πολιτεία*) или хотя бы биографически ориентированная (тип «перечня ораторов» в Цицероновом «Бруте», 54, сл.³⁵).

Если мы для расширения сопоставляемого с «Параллельными жизнеописаниями» материала обратимся к ранневизантийской агиографии, в чисто жанровом отношении вполне родственной позднеантичным биографическим формам, мы увидим ту же самую картину. Наряду с жанрами агиографического энкомия и собственно «жития» (*βίος καὶ πολιτεία*) была широко распространена форма *διήγησις* — монашеской истории, записи монашеского предания³⁶. Последний литературный вид определенно тяготеет к традициям истории философских школ (подобно тому, как и сама аскетическая практика постоянно сопоставляется у авторов патристической эпохи с практикой позднеантичного моралистического философствования, — Евсевий Памфил регулярно употребляет слово *φιλοσοφία* как термин для обозначения монашеского образа жизни³⁷). Классическим образцом *διήγησις* может служить знаменитый «Лавсаик» Палладия Эленопольского (написан около 419—420 гг.), где историческое повествование о монастырях Нитрии и Фиваиды самым естественным образом распадается на 71

эпизод, в центре каждого из которых стоит свой особый герой. Если мы отвлечемся от присущей этим преданиям фольклорной *Lust zu fabulieren*, столь далекой от интонации био-библиографических справок Диогена Лаэртского, — структурные особенности обоих сборников окажутся вовсе не такими уж различными.

Но если династическая история царей, тиранов и цезарей, так же как история поэтов, риторов и грамматиков, философских школ и монашеских обителей, легко распадалась на биографии, то биографическое повествование так же легко переходило обратно в историческое. Мы говорим сейчас не о появлении в биографии «исторического», имперсонального материала, но совсем о другом: о регулярных разрывах структурной замкнутости биографии как литературного целого. Один из многих наглядных примеров можно указать у самого Плутарха — это начало «Отона», которое с первой же фразы резко напоминает о том, что перед нами, собственно говоря, не замкнутое в себе произведение, но как бы его глава, тематический раздел, эпизод истории римских цезарей: «А новый император на рассвете принес жертву, взойдя на Капитолий...» Но в «Параллельных жизнеописаниях» такое начало было бы немислимо.

Широким распространением пользовались промежуточные формы, комбиниовавшие обзорно-историческое и собственно биографическое изложение. Такая комбинация была особенно типична в сочинениях по истории какой-либо из дисциплин *paideia*: выше уже приводились характерные заглавия эллинистических сборников «О поэтическом искусстве и о поэтах», «О живописи и о знаменитых живописцах». Биографии грамматиков и риторов у Светония дважды перебиваются общими историческими разделами (гл. 1—4 и 25). Но смешанная структура не чужда и сборникам жизнеописаний государственных деятелей: в качестве примера можно привести обзорную главу XXI сборника Непота, озаглавленную «О царях». В «Двенадцати цезарях» Светония такой контаминации истории и жизнеописания препятствует большая разра-

ботанность биографической формы, но даже и там самый порядок повременного следования биографий с необходимостью порождает разделы, по своему содержанию стоящие вне биографической структуры и только формально «приписанные» к тому или иному жизнеописанию (напр., «Гальба», гл. 1 — по сути дела послесловие к только что закончившемуся разделу сборника, посвященному Юлиам — Клавдиям, ср. также «Божественный Веспасиан», гл. 1 и др.).

Костяк такого биографического сборника — всегда претендующий на полноту *перечень имен* в хронологическом порядке, будь то имена сменяющих друг друга на престоле цезарей, имена сменяющих друг друга на кафедре «дидакхов» философской школы³⁸ и т. п. Биографический сборник стремится к возможно более полной коллекции имен: ни одно имя, относящееся к избранной автором области, не должно выпасть. Мы все время чувствуем в этой сфере характерную для стиля эллинистической учености установку на «инвентаризацию» материала³⁹. По словам Авсония (введение к «Одностишиям», 256, 4), «Светоний некогда изложил *имена, деяния, образ жизни и кончины*» (*nomina, res gestae vitamque obitumque*) своих двенадцати цезарей. Примерно в то же время Иероним следующим образом определил задачи составителя биографического сборника («О знаменитых мужах», первая фраза вступления): «Ты уговариваешь меня, Декстер, чтобы я, следуя за Транквиллом, расположил по порядку церковных писателей и проделал бы применительно к нашим то, что сделал он для исчисления знаменитых мужей языческой словесности». Еще на заре греческой биографии эта «инвентаризаторская» тенденция получила образцовое для всей поздней античности воплощение в грандиозных био-библиографических справочниках Каллимаха «Перечни людей, получивших известность во всех областях наук и искусств, а также их сочинений» (*Πίναξ τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαλαμπάντων καὶ ὧν συνέγραψεν*) (всего в 120 книгах!). Даже если не принимать заманчивую гипотезу Лео⁴⁰, согласно которой эти перечни с самого начала были задуманы как

своего рода план или предварительная наметка для биографической работы александрийских грамматиков (или специально для ученика Каллимаха — Гермиппа Перипатетика), не подлежит сомнению, что практически они исполняли именно такую функцию на протяжении не одного столетия античной биографии.

В этом типе биографического сборника отдельные биографии как бы «лепятся» друг к другу; их архитектурная вычлененность и противопоставленность друг другу крайне слабы. Это не цельные произведения, собранные в цикл, но скорее разделы большого произведения. Совершенно естественно поэтому, что соотношение их объемов не регулируется ничем, кроме объема сведений, которыми располагал автор о том или ином из своих героев. В зависимости от количества материала биография может разрастаться во сколько угодно раз или, напротив, сокращаться до голого имени. Чаще всего количество материала оказывается более или менее пропорциональным значению героя биографии. Мы находим естественным, что жизнеописание Цезаря и Августа занимают почти половину объема «Двенадцати цезарей» Светония⁴¹; так же странно было бы особенно удивляться тому, что объем биографии Платона у Диогена Лаэртского примерно в 659 раз (!) превышает величину его же заметки о Кебете Фиванском. Но эта чисто автоматически возникающая «пропорциональность» по сути своей окказиональна; очень часто ее нет совсем. В сборнике Непота биография Аристида занимает 48 строк «тейбнеровского» издания⁴², биография Эвмена — 324 строки, т.е. примерно в 6,75 раза больше, не говоря уже о 509 строках биографии Аттика (т.е. в 10,6 раза больше). Иероним уделяет некоему епископу Эфеса Поликрату приблизительно в 10 раз больше места, чем Амвросию Медиоланскому или Василию Кесарийскому, причем это никоим образом не может быть отнесено за счет личных симпатий Иеронима. Наши примеры взяты наугад и могут быть неограниченно расширены на материале других биографических сборников античности (напр., «Жизнеописаний софистов» Филострата или Евнапия).

Возвращаемся от характеристики распространенного в греко-римской литературе типа биографического сборника к «Параллельным жизнеописаниям».

В сборнике Плутарха подбор героев не создает никакого непрерывного хронологического ряда (какой образуют, например, биографии монархов одной династии или «диадохов» одной философской школы). Далее, система группировки биографий окончательно порывает с эмпирией времени и места.

Все это создает предпосылки для несравнимо более обособленного, замкнутого, самостоятельного положения биографии (и промежуточного целого — пары биографий) в рамках сборника, чем это можно наблюдать во всех известных нам биографических циклах античной литературы. Биографии уже не могут «слипаться» в нерасчленимое хронологическое повествование. Конечно, и жизнеописания Плутарха подчинены некоторому тематическому единству: в своей совокупности они создают, как мы видели, цельный идеализированный образ греко-римской государственной и моральной культуры. Но такое единство носит слишком абстрактный характер, чтобы идти в сравнение с обычными темами античных биографических сборников. «Параллельная» расстановка героев — это радикальный способ исключить всякую контаминацию биографических и исторических принципов организации изложения⁴³. Для Плутарха каждый из его героев есть совершенно автономная моралистико-психологическая проблема, и он не мог бы ничем отчетливее выявить свой подход, как изъясв героя из диахронического течения истории и поставив его лицом к лицу с человеком не только иной эпохи, но также и другого народа.

Но если биографии Плутархова сборника не могли просто примыкать друг к другу на правах рубрик или эпизодов единого повествования, если они не нанизывались на шнурок хронологии, — это ставило перед их автором особые, неизвестные античной биографии в целом проблемы. Нужно было заново привести к единству и равновесию эти полноценные, замкнутые в

себе и в самих себе имеющие свою внутреннюю центрированность единицы изложения.

Конечно, «Параллельные жизнеописания» образуют внешнее единство уже и прежде всего в силу такой бросающейся в глаза особенности, как унифицированный (слегка варьирующий лишь в случае тетрады «Агид»—«Клеомен»—«Тибериий Гракх»—«Гай Гракх») способ группировки биографий. Еще одним чисто внешним скрепляющим фактором служило общее посвящение всех биографий Соссию Сенециону (см. примеч. 17). С другой стороны, сборник, безусловно, объединен общей мыслью, общим настроением, общим пониманием материала. Однако и первые два признака, слишком внешние, и последний, характеризующий исключительно сферу содержания, сами по себе несут скорее *требование* собственно литературной целостности, нежели ее *гарантию*.

Если каждая из биографий Плутарха в равной степени автономна как моралистический этюд, необходимо было и чисто формальным образом как бы соразмерить их весомость.

Один из элементарнейших компонентов литературной формы какого-либо текста — его объем. Эта сторона дела, крайне важная для непосредственного читательского восприятия, не привлекала к себе внимания исследователей жанровой специфики Плутарховых биографий, — по-видимому, именно из-за своей элементарности (иногда кажется, например, что своего рода потребность в соблюдении научного «хорошего тона» побуждала Лео полностью абстрагироваться от количественных показателей⁴⁴).

Между тем очевидно, что на практике более сложные конструктивные компоненты литературного произведения всегда находятся в отношениях взаимозависимости с его объемом.

Как уже говорилось выше, античный биографический сборник обычного типа не знает уравнивания, выравнивания объемов своих составных частей. Это легко понять. В строго деловом виде биографии (типа жизнеописаний Диогена Лаэртского или анонимных биографий поэтов, риториков, историков) объем непосредственно задан количеством наличных сведений. В более

«беллетристической» биографии порядка «Жизнеописаний софистов» Филострата и Евнапия или в позднейших агиографических циклах вроде уже упоминавшегося «Лавсаика» Палладия самое резкое и самое контрастное противопоставление объемов отдельных биографий, структурно осмысленных как эпизоды единой *ιστορία*, не только не избегается, но скорее желательно, как фактор *ποικιλία* (разнообразящей «пестроты»). Этому вполне аналогична разница в объемах Геродотовых *λόγοι* или особенно разделов в сочинениях Клавдия Элиана «Разные истории» и «О животных».

Для Плутарха определенно существует некоторое представление о *норме* объема для его жизнеописаний (возможно, это представление не было осознанным — но вступать на зыбкую почву рассуждений о психологии творчества здесь нет надобности). В пределах «Параллельных жизнеописаний» он старается от этой нормы не отклоняться. Разумеется, норма эта не жесткая; Плутарх весьма далек от педантической унификации объема биографий. Но присутствие нормы чувствуется и немало способствует единству литературного облика сборника.

Приводим цифры в порядке убывания; объем каждой биографии исчислен в количестве строк (с точностью примерно до одной четверти строки) по изданию К. Синтениса ⁴⁵.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. «Помпей» 2748, 5 | 19. «Эмилий Павел» 1282 |
| 2. «Александр» 2719 | 20. «Ромул» 1255 |
| 3. «Антоний» 2527 | 21. «Пелопид» 1253 |
| 4. «Катон Младший» 2244, 25 | 22. «Ликург» 1248 |
| 5. «Цезарь» 2190 | 23. «Кориолан» 1237 |
| 6. «Лукулл» 1808, 5 | 24. «Тимолеонт» 1230 |
| 7. «Марий» 1699, 5 | 25. «Никий» 1214, 5 |
| 8. «Деметрий» 1668 | 26. «Солон» 1129, 75 |
| 9. «Дион» 1607, 5 | 27. «Марцелл» 1124 |
| 10. «Цицерон» 1602, 5 | 28. «Фокион» 1117 |
| 11. «Брут» 1596 | 29. «Лисандр» 1092 |
| 12. «Сулла» 1528 | 30. «Аристид» 1079, 5 |
| 13. «Агесилай» 1447 | 31. «Фемистокл» 1069 |
| 14. «Пирр» 1431 | 32. «Марк Катон» 1054 |
| 15. «Красс» 1373 | 33. «Тесей» 1034 |
| 16. «Камилл» 1370, 25 | 34. «Фабий Максим» 1014, 75 |
| 17. «Алкивиад» 1358 | 35. «Нума» 981 |
| 18. «Перикл» 1343, 25 | 36. «Серторий» 922 |

37. «Кимон» 789
38. «Попликола» 778
39. «Тит Фламинин» 775

40. «Эвмен» 761,5
41. «Филопмен» 761
42. «Демосфен» 732

Данные по тетраде «Агид» — «Клеомен» — «Тиберий Гракх» — «Гай Гракх» следует рассматривать отдельно, поскольку структура тетрады приравнивает к одной биографии обычной диады не одну биографию, но скорее пару своих биографий. Эти данные таковы: «Агид» — 607,5; «Клеомен» — 1230; «Тиберий Гракх» — 675; «Гай Гракх» — 559. Первая пара в совокупности дает 1937,5 строки, вторая — 1234 строки: обе цифры вполне соответствуют нормам, которые можно проследить на приведенной выше таблице.

«Арат» и «Артаксеркс» не образуют диады и не входят в цикл «Параллельных жизнеописаний». Однако они были подверстаны к сборнику в силу очень давнего недоразумения: уже так называемый Ламприев перечень объединяет эти биографии в диаду и называет их в числе «Параллельных жизнеописаний»⁴⁶. Здесь мог действовать объем этих биографий, вполне соответствующий нормам нашей таблицы: 1592 строки и 976 строк. Биографическая техника обоих жизнеописаний, ориентированная на ощущение замкнутости и центрированности их литературного облика, также однородна с системой приемов, господствующей в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха.

Напротив, совсем иные цифры дают две биографии, сохранившиеся от раннего биографического цикла Плутарха (в нем было 8 биографий цезарей от Августа до Вителлия): «Гальба» — 750 строк, «Отон» — 568,5 строки.

Но возвращаемся к нашей таблице. Приведенные в ней цифры, разумеется, достаточно разнятся между собой; без сопоставления с соответствующими данными по другим биографическим сборникам классической древности может, пожалуй, показаться, что эти цифры не подтверждают, а опровергают наше положение о выравнивании объема в «Параллельных жизнеописаниях». На деле это не так. Если самая большая биография сборника превышает самую краткую в 3,754

раза, то эта разница совсем невелика сравнительно с разницей между жизнеописаниями Августа и Тита у Светония (в 9,157 раз), не говоря уже о цифрах, которые можно было бы подобрать по Диогену Лаэртскому (в 659 и более раз — см. выше!), по SHA и т.п. При этом подавляющее большинство биографий сборника (29 из 42 — при исключении тетрады) имеют протяженность в границах амплитуды от 2000 строк до 1000 строк.

Важно и другое: распределение общего объема между отдельными биографиями учитывает *степень важности* каждого героя в глазах автора. Такие соотношения, которые мы наблюдали в сборнике Непота, где биография столь малозначительного деятеля, как Эвмен, почти в 7 раз превышает по величине биографию Аристида, здесь совершенно немыслимы. Конечно, на первых местах нашего перечня оказались все-таки не дорогие сердцу Плутарха греки полисной поры, а — вместе с крайне важным для общего замысла Александром — римляне I в. до н.э. Здесь перевес в количестве материала был настолько сильным, что Плутарх ничего не мог бы сделать. Однако такие имена греческой классики, как Дион, Агесилай, Алкивиад, Перикл, Пелопид, мы встречаем все же на достаточно почетных местах таблицы. Наименьший объем отведен сравнительно малозначительным героям: Попликоле, Титу Фламинину, Эвмену, Филомену. На последнем месте, правда, оказался Демосфен, но к нему Плутарх всегда испытывал некоторую антипатию⁴⁷; то, что он уделил великому оратору так мало внимания, несправедливо, но по-своему логично.

Примечательно, что Катону Младшему и Цезарю (объекты сопоставления уже у Саллюстия, «Заговор Катилины», гл. 54), Цицерону и Бруту, Алкивиаду и Периклу, Аристиду и Фемистоклу, т.е. героям, исторически особенно близким друг другу, хотя в системе «Параллельных жизнеописаний» разнесенным по разным диадам, отведено почти одинаковое количество места. Не приходится удивляться тому, что автор с таким огромным писательским опытом, как Плутарх, обладал

весьма развитым инстинктивным ощущением объема текста и большим тактом в его регулировании.

Возникает вопрос: как это регулирование осуществлялось? Как удавалось Плутарху преодолевать резкие различия в объеме материала? Настоящий ответ на этот вопрос может дать лишь анализ структуры отдельных биографий; опыт такого анализа содержит вторая часть главы II. Здесь приходится ограничиться указанием на роль всякого рода дополнительного материала, широко вводимого Плутархом в свои биографии: всякого рода экскурсов, отступлений, медитаций и т.п. Можно констатировать, что такой материал в особенном избытке идет в ход в тех случаях, когда собственно биографических сведений недостает. В таком положении, например, Плутарх оказался при составлении биографии Ликурга: поэтому он вводит подробную родословную древнейших спартанских царей (гл. 1), несколько не связанный с Ликургом анекдот о царе Сое (гл. 2), а изложение законов Ликурга (гл. 5—28) крайне обильно уснащает всякого рода анекдотами о спартанцах и спартанскими апофтегмами. Биография Нумы содержит подробный рассказ об исчезновении Ромула (гл. 2), теологический экскурс об отношениях людей и богов (гл. 4) и даже что-то вроде биографической заметки о Тулле Гостилии (гл. 22). Напротив, в таких биографиях, как «Александр», «Цезарь», «Помпей» и др., где биографический материал был в преизбытке, Плутарх совершенно воздерживается от своей обычной словоохотливости и допускает отступления и экскурсы лишь в случае полной необходимости. Так, на протяжении всей диады «Александр»—«Цезарь» мы встречаем лишь два кратких экскурса, причем оба необходимы для пояснения основного рассказа: первый информирует читателя о культе змей у македонских женщин («Александр», 2), без чего была бы совершенно непонятна легенда о посещении Олимпиады богом в образе змеи, второй разъясняет читателю-греку, что такое Луперкалии («Цезарь», гл. 61), потому что на этом празднике Антоний предложил Цезарю корону.

- ¹ Известным исключением является лишь работа Г. Эрбсе (№ 115). В свое время Ф. Лео (№ 200, стр. 149) заметил: «То обстоятельство, что он (Плутарх.— С. А.) ориентировал свои «Параллельные жизнеописания» на синкрисис, завершает характер личностного». К сожалению, дальше этого справедливого замечания, намечающего программу будущих исследований, он не пошел.
- ² Принято считать, что у Фотия речь идет о Сопатре из Апамеи (IV в.), неоплатонике сирийской школы, враждавшемся при дворе Константина I и казненном в его царствование (ср. № 177, стлб. 948 и *F. Wilhelm. Der Regentenspiegel des Sopatros.*— RhM, LXXII, 1919, S. 374—492). Но это отождествление автора «Зерцала царей» (экспертированного Стобеем, IV, 212) и Сопатра, упоминаемого Фотием,— только предположение, основанное главным образом на том, что в «Зерцале царей» чувствуется влияние Плутарха. Кроме неоплатоника Сопатра, известны два носителя этого имени из VI в.: оба были риторами (некоторые из их сочинений по теории риторики сохранились).
- ³ Обращает на себя внимание то, что у Сопатра фигурируют только жизнеописания *греков*. Можно предположить, что в его время имел хождение соответствующий сборник «избранных» биографий, где менее популярные среди грекоязычных читателей римляне были отброшены. Или отбор производил сам Сопатр?
- ⁴ См. № 177, стлб. 697. Первые 25 мест этого перечня заняты «Параллельными жизнеописаниями» (с включением ныне утраченной пары «Эпаминонд» — «Сципион»), причем каждая пара занимает *одно* место.
- ⁵ «Опыты», кн. II, гл. 32. Пер. Ф. А. Коган-Бернштейн. М.—Л., 1958, стр. 470 (некто Боден критиковал синкрисисы за несправедливость, и Монтень вступает за Плутарха): «... Бросать Плутарху такое обвинение значит порицать в нем *самое прекрасное, самое достойное похвалы*: ибо в этих сопоставлениях (которые являются *наилучшей частью* творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности...» (курсив мой.— С. А.). Сам Монтень очевидным образом следует примеру Плутарха, напр., в своем сопоставлении Плутарха и Сенеки (кн. II, гл. 10).
- ⁶ № 114.
- ⁷ Строго говоря, это предположение, но предположение столь обоснованное (имея в виду время жизни Аминтиана и широкую популярность Плутарха в эпоху Антонинов, трудно поверить, что Аминтиан мог не знать «Параллельных жизнеописаний»), что оно давно уже фигурирует в серьезных работах на правах установленного факта (напр., № 177, стр. 948). Р. Гирцель говорит об Аминтиане: «Он предстает перед нами как первый известный продолжатель и подражатель Плутарха...» (№ 125, стр. 77).
- ⁸ Эпиграмма построена на риторической игре мысли, в которой обыгрывается именно «параллельность» Плутар-

ховых биографий (самый термин *παράλληλος* дважды приводится — в 3-м и 5-м стихах). Оканчивается эпиграмма таким «пуантом»:

...ἀλλὰ τοῦ βίωτοιο παράλληλον βίον ἄλλον
οὐδὲ σὺ γ' ἂν γράφαις οὐ γὰρ ὁμοίον εἶχαις

(«но другое жизнеописание, «параллельное» к твоему собственному, не смог бы написать даже ты — ведь подобно себе ты не имеешь»).

- ⁹ Выдвигавшиеся Р. Гирцелем и другими исследователями сомнения в подлинности Плутарховых «сопоставлений» приходится считать после работ П. Штифенхофера и Р. Циглера окончательно опровергнутыми (историю вопроса см. во введении к настоящей работе). Гораздо менее ясен вопрос о 4-х недостающих синкрисисах. Едва ли можно установить, отсутствовали ли они с самого начала или выпали в результате порчи текста; в пользу как одного, так и другого предположения раздавались одинаково авторитетные и решительные высказывания (№ 179; № 173). Заметим, что в случае пары «Фокион» — «Катон Младший» отсутствие синкрисиса вполне оправдано как бы совершенным тождеством характера («... Но добродетели этих мужей являют один и тот же чекан, и образ, и цвет, вплоть до самых последних неразложимых особенностей (*μέχρι τῶν τελευταίων καὶ ἀτόμων διαφορῶν* — Phoc., 3). Что касается Александра и Цезаря, то их сопоставление могло показаться Плутарху слишком избитой темой (мы знаем, что в римской литературе их сравнивал уже Цицерон *ad Attic.*, XII, 40, 2, а затем Веллей Патеркул, II, 41, 2; не приходится сомневаться в том, что такое сравнение, фигурирующее также у Аппиана, *Bell. civ.*, II, 149—154, задолго до Плутарха и Аппиана стало ходовым и на греческой почве). Вообще говоря, только два из Плутарховых сопоставлений засвидетельствованы до Плутарха: Александр — Цезарь и Демосфен — Цицерон (см. № 144, стр. 350). Но традиционный *σύγκρισις* *Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος* имел чисто литературное, стилистическое направление, а как раз от того, чтобы сравнить стиль обоих ораторов, Плутарх решительно отказывается, сопоставляя их лишь как людей и политических деятелей, что было во всяком случае более ново. Едва ли можно найти объяснение для отсутствия двух других синкрисисов.

- ¹⁰ Δ. Κοραῆς, *Ἑλληνικὴ βιβλιοθήκη*, III—VIII, *Παρίσιος*, 1809—1814. Тот же Кораис ввел заглавия типа: «*σύγκρισις τοῦ δεῖνα καὶ τοῦ δεῖνα*», которые в новейших изданиях обычно приводятся в скобках.

- ¹¹ Все же эта сторона дела не лишена значения: эдичионное оформление оказывает немалое воздействие на ход исследовательской мысли. Весьма вероятно, что попытка «атетировать» синкрисисы не была бы произведена, если бы в изданиях не были бы выделены «сопоставления» или, напротив, если бы на равных правах с ними выделялись введения к диаде.

- ¹² Ряд рукописей, как-то: *Parisinus 167*, весьма доброкачественная рукопись, выполненная в 1296 г. под наблю-

днем известного Максима Плануда, см. № 179 *passim*, Marcianus 385 (№ 179, стр. 15—16 и 63) и Vaticanus 138 (рукопись X—XI в., см. № 179, стр. 81, 149—151 и 170—172), единодушно дают написание δέ. Однако важная рукопись Seitenstettensis (см. № 178, RhM, LXXVI, 1927, 21 sqq.; *Th. Michaelis. De Plutarchi codice ms. Seitenstettensi. Berolini, 1885; W. Meyer. De codice Plutarcheo Seitestettensi eiusque asseclis, Lipsiae, 1890*) дает два варианта: первоначальный текст (рукопись, выполненная в XI или XII в., получила добавления и исправления в XV в.) содержит δῆ, но другой рукой внесено δέ.

¹³ № 18, стр. 124.

¹⁴ В тех немногих случаях, когда это не так, т. е. когда вступительная фраза второй биографии диады не выявляет связь с предыдущей биографией, это почти всегда можно объяснить либо особенностями содержания, либо спецификой авторской интонации. Так, в первых двух главах «Ромула» о самом герое еще нет и речи (Плутарх находит нужным для начала изложить те версии об основании Рима, в которых образ Ромула отсутствует), и поэтому непосредственный переход от рассказа о Тесее к рассказу о Ромуле оказался невозможным. Нечто подобное происходит и в начале «Тимолеонта»: строго говоря, само жизнеописание Тимолеонта начинается лишь в 3 гл., а до него вклинивается безличное повествование о событиях в Сиракузах между выступлениями Диона и Тимолеонта. Что касается начальных фраз «Помпея» и «Мария», то здесь, по-видимому, сыграла роль плутарховская техника организации повествования (см. выше, главу II): автору важно заставить читателя сосредоточиться на каком-то новом мотиве (ненависть римлян к отцу Помпея, система римских имен), забыв обо всем предыдущем. Острая динамика этих вводных фраз могла бы обернуться вялостью, если бы в них присутствовало непосредственное напоминание о первой биографии диады.

¹⁵ Вот заведомо неполный перечень таких «авторских деклараций»: «Тесей», 1 (проблема рационализации мифа); «Солон», 27 (стоит ли считаться с данными хронологии?); «Перикл», 2 (моральные установки писательской деятельности Плутарха); «Эмилий Павел», 1 (то же самое); «Кимон», 2 (проблема идеализации); «Никий», 1 (подход к историческому материалу в биографии); «Александр», 1 (то же самое); «Катон Младший», 24 (ценность анекдотов для психологической характеристики); «Демосфен», 2 (отказ Плутарха от стилистического анализа речей Демосфена и Цицерона). Плутарх постоянно как бы советуется с читателем, очень дорожа этой иллюзией непосредственного контакта с ним.

¹⁶ Исключение составляют только диалоги, а также сравнительно немногочисленные сочинения с повышенно научным строем изложения (напр., трактаты, посвященные платоновской экзегесе). Но суховатый стиль последних не типичен для Плутарха. Характерно его пристрастие к форме послания; эта форма помогала ему осо-

бенно легко создавать иллюзию непосредственного общения с адресатом посвящения, на месте которого мог подставить себя любой читатель. В качестве примеров можно назвать обращения к Седацию («О том, что нужно слушать поэтов»), Никандру («О слушании»), новобрачным Поллиану и Эвридике («Брачные наставления»), Сарациону («О дельфийском «Е»»), жрице Клее («Подвиги женщин»), «Об Исиде и Осирисе»), Менемаху, начинающему администратору («Наставления государственному мужу»), и своему ровеснику Эвфану («Следует ли старику заниматься государственными делами»), к Соссию Сенециону («Пиршественные разыскания»), к аристотелику Фаворину («О первичном холоде»), к собственным сыновьям Плутарху и Автобулу («О порождении души согласно «Тимею») и, наконец, самое теплое и интимное по тону из всех — к жене («Утешение к жене»). Конечно, встречаются и такие случаи, когда посвящение остается чисто формальным и не влияет на интонацию сочинения в целом, но их немного.

¹⁷ Правда, в так называемом Ламприевом перечне пара Эпаминонд — Сципион занимает не первое, а седьмое место, но порядок перечисления в этом каталоге вообще весьма случаен (см. № 177; стр. 697). Еще Виламовиц (№ 173) и за ним Циглер (№ 177, стр. 897) высказывали предположение, что именно эта пара открывала сборник; «земляк» Плутарха фиванец Эпаминонд и чиновничья римского филэллинства Сципион (по мнению Виламовица — Младший, по мнению Циглера — Старший) были, несомненно, именно теми героями, образами которых можно приписывать не только особую притягательность для Плутарха, но и совершенно исключительное значение для замысла сборника. Поэтому естественно представить себе, что этой диаде было предоставлено исключительное место и в формальной структуре «Параллельных жизнеописаний». Что касается посвящения Сенециону, то о нем упоминается только в трех биографиях («Тесей», 1,1; «Демосфен», 1,1 и 31,7; «Дион», 1,1) из числа сохранившихся.

¹⁸ Ср. замечание Моммзена (*Т. Моммаген. История Рима*, т. I, М., 1936, стр. 438—439): «...Превращение человека Ромула в бога Квирина имеет совершенно греческий вид».

¹⁹ Интересно, что Плутарх, человек глубоко мирный по своему своему душевному складу и живший в такую эпоху, что мог представлять себе войну только по книгам или в лучшем случае по семейным преданиям («Антоний», 68,7, о рассказах Плутархова прадеда Никарха), тем не менее проявлял довольно серьезный интерес к сфере военного искусства. «Здесь Плутарх порой обнаруживает даже критические способности» (№ 91, стр. 11).

²⁰ Напр., № 200, стр. 152; № 173, стр. 260—261, № 177, стр. 899.

²¹ № 173, стр. 251.

²² Излишне говорить о том, что мы сознательно отвлекаемся от вопроса о подлинном историческом облике героев

Плутарха. В пределах настоящей работы нас может интересовать только то, какими их видел сам херонейский биограф.

- ²³ Ср. № 177, стр. 897. Об отношении Плутарха к Риму см. № 125, стр. 16—22 (несколько сентиментальный и апологетический, но в своих общих контурах верный анализ). Предположение Лурье (№ 91, стр. 13), согласно которому построение Плутархова сборника вызвано «цензурными» соображениями,— грубое упрощение реальных отношений.
- ²⁴ Живой интерес Плутарха к римской истории и римскому быту проявился также в его трактате «Αἰτία Ῥωμαϊκά» и в его цикле жизнеописаний римских цезарей.
- ²⁵ Плутарховская оценка каждого из римских героев «Параллельных жизнеописаний» в огромной степени зависит от позиции этого римлянина по отношению к грекам и греческой образованности. Достаточно вспомнить, как красноречиво Плутарх порицает антиэллинские предубеждения Катона Старшего («Катон», гл. 23—24) и с какой теплотой он говорит о филэллинстве Лукулла («Лукулл», гл. 42: «...Без всякого ограничения открыл он доступ *эллинам* в примыкавшие к книгохранилищам помещения для занятий и портики для прогулок, и, разделавшись с другими делами, они с радостью хаживали туда, словно в некую обитель Муз, и проводили время в совместных беседах... коротко говоря, для всех *эллинов*, приезжающих в Рим, его дом был родным очагом и эллинским пританеем...»).
- ²⁶ Ср. материал, приведенный у О. В. Кудрявцева, № 251, и у него же, № 252, стр. 235—236 и особенно 239—243.
- ²⁷ Ср. в особенности «Нума», гл. 23.
- ²⁸ Как это видно из обзора истории вопроса во введении к настоящей работе, именно эта сторона дела последовательно игнорировалась и игнорируется (несмотря на предупреждения Лео и Виламовица). Даже для Ф. Фокке (№ 114), всерьез поставившего вопрос о Плутарховых «сопоставлениях», интересна лишь их связь с литературной традицией, но только не их место во взаимозависимом комплексе литературных приемов нашего автора.
- ²⁹ Здесь выступает определенная традиция, восходящая к Полибию (и, насколько можно судить, также к Панэтио и Посейдонию); эта традиция нашла свое отражение, между прочим, в структуре сборника Корнелия Непота. См. материал, приведенный у Ф. Лео (№ 200, стр. 150 и 193—195).
- ³⁰ Исключения подтверждают правило уже тем, что их особо отмечают. Так, известно утверждение Квинтилиана (X, 1, 93) относительно оригинально-римского характера сатуры (нас сейчас не интересует, в какой степени римский ритор имел основания игнорировать влияние на этот жанр греческой диатрибы). Что касается научных дисциплин, то областью, где римляне проявили наибольшую самостоятельность и независимость, была юриспруденция: не случайно мы до сих пор пользуемся для обозначения этого понятия не греческим, а латин-

ским термином (ср.: *F. Dornseiff. Die griechischen Wörter im Deutschen.* Berlin, 1960, S. 16)

- ³¹ Ср. краткую, но содержательную характеристику отношения Цицерона к римской *καὶδία* у Лео, № 200, стр. 194, а также специальную статью И. М. Нахова «Цицерон и греческая культура» (в кн.: «Цицерон. 2000 лет со времени смерти. Сборник статей». Изд-во МГУ, 1959, стр. 72—104), где можно найти и дальнейшие библиографические указания. Очень колоритно относящееся к более поздней эпохе место у Горация («Послания», II, 2, ст. 99—101), где изображается, как римские поэты в качестве высшего комплимента сравнивают друг друга с греческими знаменитостями:

...Discedo Alcaeus puncto illius; ille meo quis?
Quis nisi Callimachus? Si plus adposcere visus,
Fit Mimnermus et optivo cognomine crescit...

«Римским «Каллимахом» себя называет и сам Проперций, которого, по мнению комментаторов, имеет в виду в своей шутке Гораций (IV, 1, ст. 64).

- ³² Характерен «наступательный» тон Квинтилиана: «Также и в элегии мы поспорим с греками» (кн. X, 1, 191), «...Да и история не уступит грекам...» (там же).
- ³³ Когда на заре нового времени возрождается история искусства, она снова выливается в чисто биографические формы. Здесь пионером был еще Ф. Виллани, включивший в свой трактат «О начале флорентийского государства и о славных его гражданах» (ок. 1380) биографию органиста Ф. Ландини и ряд биографических заметок о живописцах. «Комментарии» Л. Гиберти (русск. пер. А. Губера. М., 1937) и «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Дж. Вазари (русск. пер. А. И. Венедиктова под ред. А. Г. Габричевского. М., 1956) общеизвестны. Можно назвать также «Книгу о художниках» фламандца К. ван Мандера (русск. пер. В. М. Минорского под ред. М. Фабриканта, М.—Л., 1940). Поскольку искусствоведение Возрождения по своему типу достаточно близко античному, эти сочинения могут быть с необходимыми оговорками использованы для того, чтобы хоть как-то составить себе представление об утраченных эллинистических сборниках биографий, посвященных людям искусства. Внутренняя близость эллинистического и ренессансного биографизма очень наглядно выявляется, между прочим, при сопоставлении «некрологической» топки перипатетических и александрийских грамматиков вроде Гермиппа (см. № 200, стр. 113 и 126) с такой же топикой у Вазари (см. статью А. Эфроса «Вазари — писатель и историк искусства» в кн.: *Дж. Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев...* М.—Л., 1932, особ. стр. 66 и сл.). Взгляд на развитие биографической формы от Виллани и Гиберти до Вазари позволяет многое понять в судьбе античной биографии.
- ³⁴ См.: *Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусств.* Пер. А. А. Франковского. М.—Л., 1930, стр. XXXIII—XXXVI (предисловие к изд. 4 и 5).

- ³⁵ Некоторые рукописи дают к «Бруту» подзаголовок «О славных ораторах». См. № 200, стр. 219—223.
- ³⁶ О жанровых формах византийской агиографии см.: Х. Лопарев. Византийские жития святых VIII—IX веков. — ВВ, XVII, 1910, стр. 1—224, особ. стр. 6—7 и 16; С. В. Полякова. Византийские легенды как литературное явление. — «Византийские легенды». Л., «Наука», 1972, стр. 245—273; Н. Mertel. Die literarische Form der griechischen Heiligenlegenden. München, 1909; К. Holl. Die schriftstellerische Form des griechischen Heiligenlegenden. — NJ, XXIX, 1912.
- ³⁷ См.: А. — М. Malinvey. «Philosophia»: Etude d'un groupe des mots dans la littérature grecque des Presocratiques au IV-e siècle apres J. C. (Etudes et commentaires, XL). Paris, 1961; J. Leipoldt. Griechische Philosophie und frühchristliche Askese. Berlin, 1961.
- ³⁸ Огромную, определяющую для всей античной биографии традицию начал собою труд Сотниона «*Διαδοχὴ τῶν φιλοσόφων*» (между 200 и 170 гг. до н.э.). «Под углом зрения школьного преемства (der Schulfolge) трактовались не только философы, но поэты и риторы... а также цари и тиранны» (Лео, № 200, стр. 128; ср. также стр. 35 48, 74—75, 129, 135, 142, где собран большой материал о приложении схемы *διαδοχὴ*).
- ³⁹ Выражение А. Гудемана (см. № 195, стр. 231).
№ 200, стр. 131.
- ⁴⁰ О месте образов Цезаря и Августа в общем замысле светониевского сборника см. № 180, стр. 276.
- ⁴¹ № 39.
- ⁴² Мы говорим именно об организации изложения, а не о тематике и материале. Как известно, у Плутарха есть биографии, почти не дающие собственно биографических сведений и построенные в основном на чисто историческом (или легендарном) материале: таково жизнеописание Аристиды, куда вошла чуть ли не вся история греко-персидских войн (гл. 5, 8—21 и 23), часто в очень слабой связи с личностью самого Аристиды, и особенно биографии Нумы и Ликурга. На мотивах, побуждавших Плутарха так поступать, мы останавливаемся в конце настоящей главы.
- ⁴³ № 200, гл. 2 («Двенадцать цезарей» и «О грамматиках и риторах») оказываются сопоставленными с сознательным исключением всех количественных показателей, на деле создающих между обоими сборниками достаточно важное различие).
- ⁴⁴ См. № 14. Выбор издания был обусловлен удобством подсчета строк.
- ⁴⁵ «Библиотека» византийского ученого IX в. Фотия (cod. 245) также относит эти две биографии к циклу «Параллельных жизнеописаний» и рассматривает их как диаду.
- ⁴⁶ Ср. «Демосфен», гл. 25—26; «Цицерон», гл. 52—53; «О славе афинян», гл. 8, р. 351 А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, нам остается подвести итоги. Первый и основной результат проделанной работы сводится к следующему: характерное для Плутарха использование биографической формы для философско-психологических этюдов на материале политической истории не только является для греко-римской биографии *единственным в своем роде* явлением, но и прямо противоречит ряду установившихся традиций жанра.

Уже то, что философ-моралист, не изменяя своему делу ради «софистической» беллетристики или археологического полигисторства, занялся сочинением биографий (притом избрав своими героями не философов же, но государственных мужей), само по себе было достаточно необычно. Причины того, что это все-таки произошло, позволяет выяснить более конкретный анализ общей мировоззренческой позиции Плутарха. Оказывается, что его моралистические тенденции следует четко выделить из общего понятия «позднеантичного морализма». Конечно, Плутарх — моралист: но то резкое противопоставление бессмысленной житейской практики и безусловно истинной доктрины, которым жил морализм позднеантичных философских школ, ему принципиально чуждо. Его моральный идеал лишен воинствующей неуступчивости Эпиктета и окрашен одновременно недоверием к доктринерству и доверием к житейским данностям; в конечном счете он представляет собой не что иное, как возведенное в идеал переосмысление полисных традиций греческой жизни. В отличие от искусственного

архаизма второй софистики позиция Плутарха была во многом бессознательно анахронистической (в частности, это относится к его принципиальному антипрофессионализму, который отделяет его от подавляющего большинства греко-римских литераторов его эпохи — как философского, так и риторического направления). Понятно, что принципы Плутарха не могли быть до конца раскрыты в формах отвлеченной философской проповеди (которые, однако, вполне удовлетворяли моралистов стоического типа). Эти принципы требовали воплощения в наглядных примерах, взятых из времен полисной классики, иначе говоря — в таком повествовании, где уравнивали бы друг друга два начала: скептическое любопытство к живому человеку и сентиментальное благоговение перед великим прошлым. Но первое требовало биографической формы, а второе — исторического материала. Поэтому путь Плутарха-моралиста к «Параллельным жизнеописаниям» был внутренне предопределен спецификой его морализма.

Но, придя к биографической форме, Плутарх сохранил не только популярно-философские, установки, но и соответствующие им писательские навыки, выработанные им в более ранний период творчества на жанровых формах диалога и прежде всего диатрибы. Настоящая работа впервые делает попытку поставить «Параллельные жизнеописания» в контекст писательского пути их автора. И здесь открывается двойное новаторство Плутарха: завоевав биографию для моралистической литературы, он обогатил и самое биографию приемами последней. Отсюда специфическая техника «Параллельных жизнеописаний», не поддающаяся объяснению из истории античного биографического жанра, но тысячей нитей связанная

с моралистско-психологическими интересами Плутарха и идущая от греческой традиции непринужденных и неторопливых философских бесед. Мы пытались доказать (в противоположность традиционным положениям немецкой филологии), что композиция и словесная ткань плутарховских биографий основаны прежде всего на принципе свободного ассоциативного сцепления тематических разделов; между тем этот принцип искони был достоянием диатрибы (и тем более диалога). В основе стиля Плутарха лежит интонация доверительной и раскованной беседы автора с читателем. Ключевым моментом, гарантирующим внутреннее единство каждой из биографий и всего сборника в целом, вопреки их стилистической пестроте, является неумоимо поддерживаемая иллюзия живого голоса, зримого жеста и как бы непосредственного присутствия рассказчика. Все держится на этом. С традицией античной биографии, будь то деловая справка или парадный энкомий, такая интимность не имеет ровно ничего общего; напротив, сравнение с литературными линиями диалога и диатрибы немедленно проясняет ее суть.

Контраст между творчеством Плутарха и традиционным строем греко-римского биографизма с наибольшей надежностью может быть прослежен в плоскости тематики (подбора героев). Анализ показывает, что античная биография эллинистического типа, продолжавшая свое существование и позже, интересовалась героями двоякого рода: это или политические деятели, не укладывавшиеся в рамки полисного уклада, т.е. прежде всего монархи и тираны, или профессиональные деятели истории культуры — поэты, философы, риторы и т.п. Биографий, связанных с именами «нормальных» государственных мужей

полисного типа, мы почти не встретим — кроме как в творчестве Плутарха, который, напротив, занимался почти исключительно такими героями. Для позднейших эпох плутарховский канон героев Греции и Рима стал до такой степени привычным и нормативным, что трудно представить себе его неожиданность с точки зрения законов античной биографии. Исходя из истории жанра, мы делаем попытку новой филологической интерпретации ряда мест «Параллельных жизнеописаний», где Плутарх сам разъясняет свои принципы (вступления к «Периклу» и «Эмилию Павлу»). Именно потому, что оценочный подход к отбору персонажей был нарушением жанровой инерции, Плутарх оказался вынужденным тратить так много слов.

Наконец, специфический стиль плутарховского моралистического психологизма сказался и на уникальной структуре сборника; анализ выявляет необходимую связь между последней и методами обрисовки характера.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Об античности. Л., 1932.
2. *К. Маркс*. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура.— В кн.: *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 17—98.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

3. *F. Bock*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Moralia 1905 bis 1910.— JAW, CLIII, 1911, S. 343—352.
4. *F. Bock*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Moralia 1911 bis 1915.— JAW, CLXX, 1915, S. 233—290.
5. *F. Bock*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Moralia 1916—1920.— JAW, CLXXXVII, 1921, S. 228—260.
6. *A. Garzetti*. Plutarco e le sue Vite Parallele. Rassegna di studi 1934—1952.— RSI, 65, 1953, p. 76—88.
7. *G.-T. Griffith*. The Greek Historians.— Fifty years of classical scholarship, ed. by *M. Platnauer*. Oxford, 1954, p. 150—192.
- 8/ *A. Hauser*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Lebensbeschreibungen bis 1934.— JAW, CCLI, 1936, S. 35—86.
9. *C. Hubert*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Moralia 1921 bis 1925.— JAW, CCXX, 1929, S. 109—130.
10. *R. de Re*. Gli studi plutarchei nell'ultimo cinquantennio.— A & R, 3, 1953, p. 187—196.
11. *F. Reuss*. Bericht über die griechischen Historiker mit Ausschluss der Herodot, Thukydidés und Xenophon, 1905 bis 1908.— JAW, CXLII, 1909, S. 1—225 (üb. Plutarch — S. 163—188).
12. *B. Weissenberger*. Bericht über die Literatur zu Plutarchs Moralia 1899 bis 1904.— JAW, CXXXIX, 1905, S. 83—112.

ИЗДАНИЯ ТЕКСТОВ

13. Plutarchi Vitae Graece et Latine. Sec. cod. Parisinos rec. *Th. Doehner*. Vol. I—II. Paris, F. Didot, 1846—1847.
14. Plutarchi Vitae parallelae. Vol. I—V. Iterum rec. *C. Sintenis*. Lipsiae, Teubner, 1908—1912.

15. *Plutarchi Vitae parallelae*. Vol. I—IV. Rec. *Cl. Lindskog* et *K. Ziegler*. Lipsiae, Teubner, 1914—1939.
16. *Plutarch's Lives*. With an Engl. transl. by *B. Perrin*. Vol. I—XI. London — Cambridge, Loeb, 1914—1926.
17. *Plutarchus*. Vies. Texte étab. et trad. par *R. Flaceliere*. Vol. I. Paris, «Les Belles Lettres», 1957.
18. *Plutarchi Vitae parallelae*. Vol. I, fasc. 1. Rec. *Cl. Lindskog* et *K. Ziegler*. Iterum. rec. *K. Ziegler*.
 - a) Рецензии: *H. Erbse*. — «Gnomon», 30, 1958, S. 519—527; *R. Flaceliere*. — *ACL* 26, 1957, p. 464—465; *P. Chantraine*. — *RPh* 32, p. 331.
 Id., vol. I, fasc. 2. Tertium rec. *K. Ziegler*. Lipsiae, Teubner, 1964.
 Id., vol. II, fasc. 1—2. Rec. *Cl. Lindskog* et *K. Ziegler*. Iterum rec. *K. Ziegler*. Lipsiae, 1966—1968.
19. *Plutarchi Chaeronensis Scripta Moralia*. Emend. *Fr. Duëbner*. Vol. I—II. Paris, F. Didot, 1877.
20. *Plutarchi Chaeronensis Scripta Moralia*. Rec. *Gr.-N. Bernardakis*. Vol. I—VII. Lipsiae, Teubner, 1889—1908.
21. *Plutarchi Moralia*. Vol. I—IV. Rec. *C. Hubert*, *W. Nachstaedt*, *W.-R. Paton*, *M. Pohlenz*, *W. Sieveking*, *J. Wegehaupt*. Lipsiae, Teubner, 1925—1938.
 - Id., vol. V, fasc. 1 et 3. Rec. et emend. *C. Hubert*, *M. Pohlenz*. Lipsiae, Teubner, 1960.
 - Id., vol. VI, fasc. 1 et 3. Rec. et emend. *C. Hubert*, *M. Pohlenz*, *K. Ziegler*. Lipsiae, Teubner, 1959.
 - Id., vol. VII, ed. *F. H. Sandbach*. Lipsiae, Teubner, 1967.
22. *Plutarch's Moralia*. With an Engl. transl. by *F.-C. Babbitt*. Vol. I—XIV. London — Cambridge, Loeb, 1927—1957.
23. *Plutarchi fragmenta et spuria*. Emend. *Fr. Duebner*. Paris, F. Didot, 1855.
24. *Plutarque*. De la musique (περὶ μουσικῆς). Edition critique et explicative par *H. Weil* et *Th. Reinack*. Paris, 1900.
25. *J. Frerichs*. *Plutarchi libelli duo politici* (Maxime cum principibus philosopho esse disserendum et Ad principem ineruditum). Gottingae, 1929.
26. Le περὶ εὐδαμονίας de Plutarque. Text critique avec trad. et comment. par *P. Raingeard*. Paris, «Les Belles Lettres», 1935.
27. *Plutarchus*. Sur les opacle de la Pythie. Text et trad. avec unè introd. et des notes par *R. Flaceliere*. Paris, «Les Belles Lettres», 1937.
 - a) Рецензия: *D.-M. Pippidi*. — *RCl*, 11—12, 1939—1940, p. 222.
28. *Plutarchus*. Sur l'E de delphes. Texte et trad. avec une introd. et des notes par *R. Flaceliere*. Paris, «Les Belles Lettres», 1941.

29. *Plutarchus*. Sur la disparition des oracles. Texte et trad. av. une introd. et des notes par *R. Flaceliere*. Paris, «Les Belles Lettres», 1947.
30. *Plutarchus*. Dialogue sur l'amour (Ἐρωτικός). Texte et trad. av. une introd. et des notes par *R. Flaceliere*. Paris, «Les Belles Lettres», 1952.
31. *Plutarque*. Le Banquet des sept sages. Texte et trad. av. une introd. et des notes par *R. Flaceliere*. Paris, «Les Belles Lettres», 1954 (Etudes et commentaires, 20).
32. *Diogenes Laertius*. Lives of eminent philosophers. With an engl. transl. by *R.-D. Hicks*. London—Cambridge, 1942.
33. *Eugippus*. Das Leben des heiligen Severin. Lateinisch und deutsch von *R. Noll*. Berlin, Akad.-Verlag, 1963.
34. *Eusebii Pamphili Scripta historica (Vita Constantini)*. Rec. *A. Heinichen*. Vol. II. Lipsiae, 1869.
35. *Hieronymi et Gennadii De viris illustribus*. Rec. *K. Holl*. Freiburg — Leipzig, 1895.
36. *Iamblichi De vita Pythagorica liber*. Rec. *Aug. Nauck*. Petropoli, 1884.
37. Das Leben des heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis. Ausgabe und Kommentar von *Lehn. Ryden*. (Acta Universit. Uppsal., Studia Graeca. IV). Uppsala, 1963.
38. *Marini Vita Procli Diadochi. Graece et Latine*. Ed. *J.-Fr. Boissonade*. Lipsiae, 1814.
39. *Cornelii Nepotis Vitae. Post C. Halmium rec. Alfr. Fleckeisen*. Lipsiae, Teubner, 1890.
40. *Cornelius Nepos*. Oevres. Vol. I—II. Texte et trad. avec une introd. et des notes par *M. Guillemin*. Paris, «Les Belles Lettres», 1923.
41. *Palladius*. The Lausiac History. Ed. by *D.-C. Butler*. Cambridge, 1904. («Texts & Studies. Contributions to biblical and patristic literature». Vol. VI, № 2).
42. *Philostratus and Eunapius*. The Lives of the sophistes. With an engl. transl. by *W.-C. Wright*. London—Cambridge, Loeb, 1922.
43. *Philostrati De vita Apollonii.—Flavii Philostrati Opera*. Ed. *C.-Y. Kayser*. Vol. I. Lipsiae, Teubner, 1870.
44. *Porphyrii De vita Plotini.—Plotini Opera*. Rec. *Ad. Kirchhoff*. Vol. I. Lipsiae, Teubner, 1856 (p. XIX—XLII).
45. *Aus Satyros Leben des Euripides*. Oxyr. pap. vol. IX, p. 124 f.—Supplementum Euripideum. Bearb. v. *H. v. Arnim*. (KT 112). Bonn, 1943.
46. *Scriptores Historiae Augustae*. Ed. *E. Hohl*. Ed. II, Vol. I. I—II. Lipsiae, Teubner, 1955—1965.
47. *C. Suetoni Tranquilli Caesares*. Ed. *M. Ihm*. Lipsiae, Teubner, 1908.

48. *C. Suetonius Tranquillus*. Vies des douze Césars. Texte et trad. av. une introd. et des notes par *H. Ailoud*. Vol. I—III. Paris, «Les Belles Lettres», 1931—1932.
49. *C. Suetonii Tranquilli Praeter Caesarum libros reliquiae*. Coll. *G. Brugnoli*. Pars I. De grammaticis et rhetoribus. Lipsiae, Teubner, 1960.
50. *C. Suetoni Tranquilli De vita Caesarum libri III—VI* (Tiberius, Caligula, Claudius, Nero). With introd. and notes by *J.-B. Pike*. Boston, 1904.
51. *C. Suetonius Tranquillus*. Divi Augusti vita. With introd., analysis of the text, notes etc... by *M. Adams*. London, 1939.
52. *Suetonius*. Life of Vespasian. With notes and parall. passages by *H.-M.-T. Skerret*. Philadelphia, 1924.
53. *Tacitus*. Das Leben des Iulius Agricola. Latein.u. deutsch v. *R. Till*. Berlin, Akad.—Verlag, 1961.
54. *P. Corneli Taciti libri quae supersunt*. Ed. *E. Kloss-termann*. Vol. II, fasc. 2 (Agricola etc.). Lipsiae, Teubner, 1962.
55. *Sexti Aurelii Victoris liber De Caesaribus*. Praeced. Origo gentis Romanae et liber De viris illustribus urbis Romae. Subsequ. Epitome de Caesaribus, Rec. *Fr. Pichlmayr*. Lipsiae, Teubner, 1961.
56. *Vita sancti Macarii*.—Anecdota Graeco-Byzantina Para I. Coll. dig. rec. *A. Vasiliev*. Mosquae, 1893, p. 135—165.
57. *Vita sancti Zosimae*.—Ibid., p. 166—178.
58. *Vitae Homeri et Hesiodi*. Ed. *Vd. de Vilamowitz-Moellendorff*. (KT 137). Bonn, 1916.
59. *Vita Aesopi*.—*Fabulae Romanenses Graece conscriptae*. Ex rec. et cum adnotat. *Alfr. Eberhard*. Vol. I. Lipsiae, Teubner, 1872.
60. *Die Vitae Vergilianae*. Herausg. v. *E. Diel*. (KT 72). Bonn, 1911.
61. *Vitarum scriptores Graeci minores*. Ed. *A. Westermann*. Brunsvigae, 1845.
62. *Fragmenta historicorum Graecorum*. Ed. *C. Müller*. Vol. I—V. Berlin, 1841—1870.
63. *F. Jacoby*. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teile I—III. Berlin, 1923—1940.
64. *Rhetores Graeci*. Ed., suis aliorumque adnotat. instr. etc. *Chr. Walz*. Vol. I—II. Stuttgart et Tubingen, 1832—1835.
65. *Rhetores Graeci*. Rec. *L. Spengel*. Lipsiae, Teubner, 1853—1856.
66. *Fr. Wehrli*. Die Schule des Aristoteles.
I. Dicaearchos. Basel, 1944.
II. Aristoxenes. Basel, 1945.

- IV. Demetrios von Phaleron. Basel, 1949.
- V. Straton von Lampsacos. Basel, 1950.
- IX. Phainias von Eresos. Chaimaleon. Praxiphanes. Basel, Stuttgart, 1957.
- X. Hieronymos von Rhodos. Kritolaos und seine Schüler. Basel — Stuttgart, 1959.
67. *Элий Аристид*. Панегирик Риму. Греческий текст с русским переводом, введением, комментарием и приложениями *И. Турцевича*. Нежин, 1907.
68. Aristotelis Ars rhetorica. Iter. ed *A. Roemer*. Lipsiae, Teubner, 1899.
69. Aristotelis Ethica Eudemia. Rec. *Fr. Susemihl*. Lipsiae, Teubner, 1884.
70. Aristotelis Ethica Nicomachea. Rec. *Fr. Susemihl*. Ed. II. Cur. *O. Apelt*. Lipsiae, Teubner, 1903.
71. Aristotelis Politica. Post *Fr. Susemihlium*, rec. *O. Immisch*. Lipsiae, Teubner, 1909.
72. *Ciceron*. De l'orateur. Texte et trad. par *E. Courand*. Paris, «Les Belles Lettres», 1922.
73. *M. Tulli Ciceronis Orator*. Herausg. u. erkl. v. *W. Kroll*. (Nachdruck d. Ausgabe v. 1913). Berlin, 1958.
74. *Dion Chrysostomos*. Opera. With an engl. transl. by *H.-L. Crosby*. Vol. I—V. London — Cambridge, Loeb, 1949—1956.
75. *Dionysii Halicarnassensis Antiquitatum Romanarum quae supersunt*. Graece et Latine ex rec. *A. Kiessling*, *V. Prou*. Parisiis, F. Didot, 1886.
76. *Denys d'Halicarnasse*. Jugement sur Lysias. Texte et trad. av. un comment. par *A.-M. Desrousseaux*, *M. Egger*. Paris, 1890.
77. *Dionysii Halicarnassensis quae fertur Ars rhetorica*. Rec. *H. Usener*. Lipsiae, Teubner, 1895.
78. *Epictetus*. Entretiens. Texte établi et trad. par *J. Souilhé*. Vol. I—II. Paris, «Les Belles Lettres», 1943—1949.
79. *Luciani Samosatensis Opera*. Ex rec. *C.-J. Jakobitz*. Vol. I—III. Lipsiae, Teubner, 1873—1881.
80. *Photius*. Bibliothéque. Vol. I—II. Texte établi et trad. par *R. Henry*. Paris, «Les Belles Lettres», 1960.
81. *M. Fabii Quintiliani Institutiones oratoriae libri XII*. Ed. *L. Radermacher*. Vol. I—II. Lipsiae, Teubner, 1959.
82. *C. Sallusti Crispi Catilina et Iugurtha*. Post. *A. Ahlberg* ed. *A. Kurfess*. Ed. III. Lipsiae, Teubner, 1957.
83. *Teletis fragmenta*. Ed. *O. Hense*. Lipsiae, Teubner, 1909.
84. *Theodori Metochiti Miscellania philosophica et historica*. Ed. *Chr.-G. Mueller* et *Th. Kiessling*. Leipzig, 1821.
85. *Theophanes continuatus*. Ed. *Im. Becker*. Bonnae, 1832.

И С С Л Е Д О В А Н И Я
ПЛУТАРХ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

86. *М. Гершензон.* «Афинская полития» Аристотеля и «Жизнеописания» Плутарха. М., 1895.
87. *М. Дювернуа.* Исторический анекдот у Плутарха в биографии Суллы.— В кн.: «Сборник в честь С. А. Жебелева». [Б. м.], 1926, стр. 415—426.
88. *Я. Еллидинский.* Религиозно-нравственное мировоззрение Плутарха Херонейского. СПб., 1893.
89. *Д. П. Каллистов.* Римские биографии Плутарха.— В кн.: *Плутарх.* Избранные биографии. М.—Л., 1941, стр. 197—207.
90. *С. Я. Лурье.* Биография Тиберия Гракха и Евангелия.— В кн.: «Сборник в честь С. А. Жебелева». [Б. м.], 1926, стр. 48—53.
91. *С. Я. Лурье.* Плутарх и его время.— В кн.: *Плутарх.* Избранные биографии. М.—Л., 1941, стр. 5—18.
92. *С. Я. Лурье.* Две истории пятого века.— В кн.: *Плутарх.* Избранные биографии. М.—Л., 1941, стр. 19—28.
93. *А. И. Малевич.* Жизнь и сочинения Плутарха.— В кн.: *Плутарх.* О музыке. Пг., 1922, стр. 17—26.
94. *С. И. Протасова.* К вопросу об источниках Плутарха в биографии Ликурга.— ЖНМП, 1915, октябрь, отд. 5, стр. 419—450.
95. *М. Е. Сергеевко.* Три версии в Плутарховой биографии Тиберия Гракха.— ВДИ, 1956, № 1, стр. 47—49.
97. *С. И. Соболевский.* Плутарх.— В кн.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 459—470.
97. *В. Е. Штифтар.* Плутарх как историк.— «Гермес», 1910, № 11—12, стр. 316—324.
98. *F.-E. Adcock.* The sources of Plutarch: Solon, XX—XXIV.— CQ, XXVIII, 1914, p. 39.
99. *H. Almqvist.* Plutarch und das Neue Testament. Fin. Beitrag zum Corpus Hellenisticum Novi Teatamenti. Uppsala, 1946.
100. *J. Altkamp.* Die Gestaltung Caesars bei Plutarch und Shakespeare. (Diss.) Wuerzburg, 1933.
101. *H. v. Arnim.* Plutarch über Dämonen und Mantik. (Verhandel. der Koninkl. Akad. van Wetensch., Afr. Letterk., XXII, № 2). Amsterdam, 1921.
102. *N.-I. Barbu.* Les procedes de la peinture des caracteres et la verite historique dans les biographies de Plutarque. Paris, 1934.
а) Рецензия: *M. Cary.*— CR, 1935, p. 32.
103. *C. Valmus.* Tehnika povestirii la Plutarchos in Biot parállhloi. Chişinau, 1925.
104. *E.-G. Barry.* Emerson's Plutarch. Cambridge, 1961.

105. *G.-E. Benseler*. De hiatu in oratoribus Atticis et historicis Graecis libri duo. Freiburg, 1841.
106. *K. Bergen*. Charakterbilder bei Tacitus und Plutarch. (Diss.) Köln, 1962.
107. *E. Bux*. Zwei sozialistische Novellen bei Plutarchus.— *Klio*, 19, 1925, S. 413—431.
108. *T.-F. Carney*. Plutarch's style in the Marius.— *JHS*, LXXX, 1960, p. 24—31.
109. *R.-M. Ceer*. Plutarch and Appian in Tiberius Gracchus.— *Classical & Mediaeval Studies in honor of E.-H. Rand*, N. Y., 1938, p. 105—112.
110. *W. Christ*. Plutarchs Dialog von Daimonion des Sokrates. München, 1901.
111. *O. Clason*. Plutarch und Tacitus. Berlin, 1870.
112. *H. Erbse*. Die Bedeutung der Synkrisis in den Parallelbiographien Plutarchs.— *Hermes*, LXXXIV, 1956, S. 398—424.
113. *R. Flaceliere*. Sur quelque passages des Vies de Plutarque.— *RPh*, XXII, 1949, p. 120—132.
114. *F. Roche*. Synkrisis.— *Hermes*, LVIII, 1923, S. 327—368 (dazu corrigenda S. 465).
115. *P. Frisch*. De compositionis libri Plutarchei $\pi\epsilon\rho\iota$ $\nu\sigma\tau\alpha\delta\omicron\varsigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\nu\omicron\sigma\iota\rho\iota\delta\omicron\varsigma$. Göttingen, 1907.
116. *F. Furnann*. Les images de Plutarque. Paris, 1964.
117. *P. Geigenmueller*. Plutarchs Stellung zur Religion, und Philosophie seiner Zeit.— *NJ*, XLVII, 1921, S. 251—270.
118. *P. Geigenmueller*. Harmonien und Dissonanzen bei Dio Plutarch und Favorin.— *NJ*, LI, 1923, S. 209—229
119. *W. Gemoll*. Das Apophthegma. Literaturhistorisch) Studien. Wien — Leipzig, 1924.
120. *L. Gessler*. Plutarchs Gedanken über die Ehe. (Diss. Zürich, 1962.
- a) Рецензия: *R. Flaceliere*.— *RF*, XCI, p. 349—351.
121. *F.-R.-B. Godolphin*. The source of Plutarchs thesis in the Lives of Galba and Otho.— *AJPh*, LVI, 1935, p. 324—328.
122. *O. Greard*. De la morale de Plutarque. 3 ed. Paris, 1880.
123. *O. Hense*. Die Synkrisis in der antiken Literatur. Freiburg, 1893.
124. *R. Hirzel*. Der Dialog.— Ein Literarhistorischer Versuch. 2. Teil. Leipzig, 1895 (Plutarch — S. 124—237).
125. *R. Hirzel*. Plutarch. («Das Erbe der Alten», IV). Leipzig, 1912.
126. *W.-C. Helmold a. E.-N. O'Neil*. Plutarch's quotations. («Philological Monographs», publ. by the Amer. Philol. Assoc., XIX). Baltimore — Oxford, 1959.
127. *R. Jeuckens*. Plutarch von Chaeronea und die Rhetorik. (Diss.) Strassburg, 1907.

128. *U. Kahle*. De Plutarchi ratione dialogorum componendorum. (Diss.) Göttingen, 1912.
129. *E. Kessler*. Plutarchs Leben von Lykurgos. (Quellen u. Forschung. zur alten Geschichte u. Geographie, herausg. von *N. Sieglin*). Berlin, 1910.
130. *A. Klotz*. Die Quellen der plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus.— RhM, LXXXIII, 1934, S. 289—318.
131. *A. Klotz*. Die Quellen Plutarchs in der Lebensbeschreibung des T. Quinctius Flaminius.— RhM, LXXXIV, 1935, S. 46—53.
132. *A. Klotz*. Über die Quellen Plutarchs in der Lebensbeschreibung des Q. Fabius Maximus.— RhM, LXXXIV, 1935, S. 125—153.
133. *A. Klotz*. De Plutarchi Vitae Caesarianae fontibus.— Mnemosyne, ser. 3.VI, 1938, S. 313—319.
134. *A. Klotz*. Zu den Quellen Plutarchs in der Lebensbeschreibung des Camillus.— RhM, XC, 1914, S. 282—309.
135. *G. Kowalski*. De Plutarchi scriptorum iuvenilium colore rhetorico (Archiwum filologiczne Akademji Umiejtnosc w Krakowie, II). Cracoviae, 1918.
136. *P. de Lacy*. Biography and tragedy in Plutarch.— AJPh, LXXIII, 1952, p. 159—164.
137. *E. Lassel*. De fortunae in Plutarchi operibus notione. (Diss.) Göttingen, 1819.
138. *G.-H. Lattanzi*. La compositione del De latenter vivendo di Plutarco.— RF, LX, 1932, p. 332—337.
139. *M. Lehnerdt*. De locis Plutarchi ad artem spectantibus. (Diss. inaug.). Rogimonti, 1883.
140. *H. Martin*. The concept of philanthropia in Plutarch's Lives.— AJPh, LXXXII, 1961, p. 164—175.
141. *J. Mewaldt*. Selbstzitate in den Biographien Plutarchs.— Hermes, XLII, 1907, S. 546—578.
142. *A. Muehl*. Quomodo Plutarchus Chaeronensis de poetis scaenicis Graecorum iudicaverit. Neuburgi, 1900.
143. *M. Muehl*. Poseidonios und der plutarchische Marcellus («Klassisch-philologische Studien», Heft IV). Berlin, 1925.
144. *M. Muehl*. Solon gegen Peisistratos. Ein Beitrag zu plutarchischen Geschichtsschreibung.— RhM, XCIX, 1956, S. 315—323.
145. *P. v. d. Muell*. Anti ker Historismus in Plutarchs Biographie des Solons.— Klio, CXVII, 1942, S. 89—102.
146. *M.-L. Paladini*. Influenza della tradizione dei Sette Savi sulla «Vita di Solone» di Plutarco.— REG, 1956, p. 327—411.
147. *J. Oakesmith*. The religion of Plutarch. A pagan creed of apostolic times. London, 1902.
148. *W.-R. Paton*. Plutarch und Satyrus.— CR, XXVII, 1913, p. 131—132.

149. *M. Pohlenz*. Einführung zu: Plutarch, *Moralia*, ver deut. v. W. Ax. Leipzig, 1950, S. VII—XXVI.
150. *M. Pohlenz*. Plutarchs Schrift Ἐρωτικὸς. — *Hermes*, CL, 1905, S. 275—300.
151. *G. v. Reutern*. Plutarchs Stellung zur Dichtkunst. Interpretation der Schrift «De audiendis poetis». (Inaug.—Diss.) Kiel, 1933.
152. *D.-A. Russel*. Plutarch's Life of Coriolanus.— *JHS*, LIII, 1963, p. 21—28.
153. *F.-H. Sandbach*. Plutarch on the stoics.— *CQ*, XXXIV, 1940, p. 20—25.
154. *H. Schlaepfer*. Plutarch und die klassischen Dichter. Ein Beitrag zum klassischen Bildungsgut Plutarchs. Zürich, 1950.
155. *R. Schmertusch*. De Plutarchi sententiis quae ad divinationem spectant. (Diss.) Lipsiae, 1889.
156. *J. Seidel*. Vestigia diatribae, qualia reperiuntur in aliquot Plutarchi scriptis moralibus. (Diss.) Brussel, 1966.
157. *E. Smith*. Plutarch's biographical sources in the Roman Lives.— *CQ*, XXXIV, 1940, p. 1—10.
158. *R.-E. Smith*. The Cato Censorius of Plutarch.— *CQ*, XXXIV, 1940, p. 105—111.
159. *R.-E. Smith*. The sources of Plutarch's Life of Flamininus.— *CQ*, XXXVIII, 1944, p. 88—99.
160. *G. Soury*. La démonologie de Plutarque. Essai sur les idées religieuses et les mythes d'un platonicien eclectique. Paris, «Les Belles Lettres», 1942.
161. *Ph.-A. Stadler*. Plutarch's historical methods: an analysis of the «Mulierum Virtutes». Cambridge, Massachusetts, 1965.
162. *A. Stiefenhofer*. Die Echtheitsfrage der biographischen Synkrisis Plutarchs.— «*Phylologus*», N. F., XXVII, S. 462—503.
163. *C. Stoltz*. Zur relativen Chronologie der Parallelbiographien Plutarchs. («Lunds Univers. Arsskrift», N. F., Av. I, 25, N 3). Lund, 1929.
164. *W.-E. Sweet*. Sources on Plutarch's Demetrius.— *CW*, XI, IV, 1951, S. 177—181.
165. *W. Uxkull-Gyllenband*. Plutarch und die griechische Biographie. Studien zur plutarchischen Lebensbeschreibungen des V. Jahrhundert. Stuttgart, 1927.
a) Рецензия: *F. Jacoby*. Abhandlungen zur griechischen Geschichtsschreibung. Leiden, 1956, S. 356—357.
166. *R. Volkmann*. Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Caeronea. Teile I—II. Berlin, 1869.
167. *H. Weber*. Die Staats- und Rechtslehre Plutarchs von Chaeronea. (Diss.) Köln, 1959.
168. *B. Weissenberger*. Die Sprache Plutarchs von Chaeronea und die pseudoplutarchischen Schriften. Straubing, 1896.

169. *A. Weizsaecker*. Untersuchungen über Plutarchs biographische Technik. Berlin, 1931.
170. *O. Westerwick*. De Plutarchi studiis Hesiodicis commentatio philologica. Monasterii, 1893.
171. *H.-D. Westlake*. The sources of Plutarch's Timoleon.— CQ, XXXII, 1938, S. 65—74.
172. *H.-D. Westlake*. The sources of Plutarch's Pelopidas.— CQ, XXXIII, 1939, p. 11—12.
173. *U. v. Wilamowitz-Moellendorff*. Plutarch als Biograph.— Reden und Vorträge, Bd. II. IV. Aufl., Berlin, 1926, S. 247—279.
174. *U. v. Wilamowitz-Moellendorff*. Zu Plutarchs Gastmahl der sieben Weisen.— Hermes, XXV, 1890, S. 196—210.
175. *Fr. Wilhelm*. Plutarchos' *περί ήσυχίας*.— RhM, LXXXII, 1927, S. 466—482.
176. *D. Wyttenbach*. Lexicon Plutarcheum. Vol. I—II. Lipsiae., 1843.
177. *K. Ziegler*. Plutarchos von Chaeronea.— RE, XLI, Halbband, 1951, col. 632—962. (Статья вышла под тем же заглавием отдельной книгой, Stuttgart — Waldsee, 1949.)
а) Рецензия: *L. Castiglioni*.— Gnomon, XXIV, 1952, S. 16—20.
178. *K. Ziegler*. Plutarchsstudien I—XX.— RhM, LVII—LXXVII, 1908—1938.
179. *K. Ziegler*. Die Ueberlieferungsgeschichte der vergleichenden Lebensbeschreibungen Plutarchs. Leipzig, 1907.

ОБЩАЯ И АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ
БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА

180. *М. Л. Гаспаров*. Светоний и его книга.— В кн.: *Гай Светоний Транквилл*. Жизнь двенадцати цезарей. М., «Наука», 1964, стр. 263—273.
181. *А. И. Доватур*. История изучения «Scriptores historiae Augustae».— ВДИ, 1957, № 1, стр. 245—256.
182. *Е. М. Штаерман*. «Sriptores historiae Augustae» как исторический источник.— ВДИ, 1957, № 1, стр. 233—245.
183. *Е. М. Штаерман*. Светоний и его время.— В кн.: *Гай Светоний Транквилл*. Жизнь двенадцати цезарей. М., «Наука», 1964, стр. 249—262.
184. *Ж.-К. Амманн*. Zur Geschichte der biographischen Kunst bei den Griechen und Römer. I. Abhandlung: Die Epitaphien und ihre Bedeutung für die Entwicklung der griechischen Biographie. Freiburg, 1863.
185. *G. d'Anna*. Le idee letterarie di Svetonio. Firenze, 1854.
186. *C. Brutscher*. Analysen zu Suetons Divus Lulius und der Parallellüberlieferung (Noctes Romanae, № 8).— Bern — Stuttgart, 1958.

187. *E. Clifford*. Biography as an art. N. Y., 1962.
188. *H. Diels-Schubart*. Didymos' Kommentar zu Demosthenes. Berlin, 1904 (Einleitung).
189. *A. Dihle*. Studien zur griechischen Biographie (Abhandlungen d. Akademie d. Wissensch., 3. Folge XXXVII). Goettingen, 1956.
- a) Рецензия: *K. v. Fritz*.— Gnomon, XXVIII, 1956, S. 326—332.
190. *L. Edel*. Literary biography. Toronto, 1957.
191. *G. Funaioli*. Biografia.— RS, VII, 1930, p. 44—45.
192. *G. Funaioli*. Suetonius Tranquillus.— RE, 2. Reihe. Halbband, VII, 1931, S. 593—641.
193. *J.-A. Garraty*. The nature of biography. N. Y., 1962.
194. *H. Gerstinger*. Biographie.— RLChr, Lieferung II, 1952, S. 386—391.
195. *A. Gudeman*. Satyros ὁ περιπατητικός.— RE, 2. Reihe. Bd. III, 1921, S. 228—235.
196. *R. Hanslik*. Die Augustusvita Suetons.— WS, LXVII, 1954, S. 99—144.
197. *St. Heilges*. Hermippos der Kallimacheer.— RE, XV. Halbband, 1912, S. 845—852.
198. *K.-F. Kumaniecki*. De Satyro Peripatetico. Cracoviae, 1929.
199. *R. Laqueur*. Phainias aus Eresos.— RE, XXXVIII. Halbband, 1938, S. 1565—1591.
200. *F. Leo*. Die griechisch-romische Biographie nach ihrer litterarischen Form. Leipzig, Teubner, 1901.
- a) Рецензия: *W. Theiler*.— Gnomon, II, 1929, S. 286.
201. *F. Leo*. Satyros' βίος Εὐρπιδίου.— NGG, 1912, S. 273—290.
202. *E. Ludwig*. Die Kunst der Biographie. Paris, 1936.
203. *A. Mace*. Essai sur Suetone. Paris, 1900.
204. *A. v. Mess*. Die Anfänge der Biographie und der psychologischen Geschichtsschreibung in der griechischen Literatur.— RhM, LXX, 1915, S. 317—337; RhM, LXXI, 1916, S. 79—91.
205. *Ed. Meyer*. Die Biographie Kimons.— Forschungen zur alten Geschichte.— Bd. II. Halle, 1899, S. 1—87.
206. *L. Plesch*. Die Originalität und literarische Form der Mönchbiographien des heiligen Hieronymus. München, 1910.
207. *B. Pretzsch*. Zur Stilistik des Cornelius Nepos. Spandau, 1890.
208. *J. Romein*. Die Biographie. Einführung in ihre Geschichte und ihre Problematik. Bern, 1948.
209. *A. Rostagni*. Questioni biografice.— RF, LXXV, 1947, p. 1—17.
210. *E. Schwartz*. Diogenes Laertios.— RE, V, S. 738—763.

211. *W. Steidle*. Sueton und die antike Biographie («Zetemata», Heft I). München, 1951.
212. *D.-R. Stuart*. Epochs of Greek and Roman biography («Sather Classical Lectures», IV). Berkeley, 1928.
213. *G. Wissowa*. Cornelius Nepos.— RE, VII. Halbband, 1900, S. 1408—1417.

СМЕЖНЫЕ ЖАНРЫ
(историческая проза и т. п.)

214. *М. Л. Гаспаров*. Новая зарубежная литература о Таците и Светонии.— ВДИ, 1964, № 1, стр. 176—191.
215. *А. И. Доватур*. Композиция «Политий» Аристотеля.— В кн.: «Классическая филология. Сборник докладов на конференции». Изд. ЛГУ, 1959, стр. 61—81.
216. *А. И. Доватур*. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л., 1957.
217. *К. К. Зельин*. Борьба политических группировок в Аттике в VII веке до н. э. М., «Наука», 1964 (гл. 2. Главные литературные источники о борьбе политических группировок в Аттике VI века до н. э., стр. 41—92).
218. *Ф. Г. Мищенко*. Федеративная Эллада и Полибий. Предисловие к кн.: *Полибий*. Всеобщая история в сорока книгах. Т. 1. М., 1890, стр. I—СGXIII.
219. *С. И. Радциг*. Аристотель и «Афинская политика». Предисловие к кн.: *Аристотель*. Афинская политика. Государственное устройство афинян. Пер. С. И. Радцига. 2 изд. М.—Л., 1936, стр. 11—26.
220. *Th.-W. Africa*. Phylarchos and the Spartan revolution. Berkeley—Los Angeles, 1961.
221. *W.-H. Alexander*. The Tacitean «non liquet» on Seneca. London, 1954.
222. *W. Aly*. Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seine Zeitgenossen. Göttingen, 1921.
223. *C.-O. Brink*. Tragic history and Aristotle's school. (Proceedings of Cambridge Philol. Society, CLXXXVI, 1960).
224. *I. Bruns*. Das literarische Porträt der Griechen im fünften und vierten Jahrh. vor Chr. Geburt. Berlin. 1896.
225. *I. Bruns*. Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten. Leipzig, 1898.
226. *K. Büchner*. Sallust. Heidelberg, 1960.
227. *W. Capelle, H.-L. Marrou*. Diatribe.—RLAChr, III, 1957, S. 990—1009.
228. *J. Cousin*. Rhetorique et psychologie chez Tacite: un aspect de la «deinosis».—REL, XXIX, 1951, p. 228—247.

229. *K. v. Fritz*. Die Bedeutung des Aristoteles für die Geschichtsschreibung.— Histoire et les historiens dans l'antiquité («Entretiens sur l'antiquité classique IV»). Vandoevres — Genève, 1965, p. 83—128 (discussion, p. 129—146).
230. *G. Giovanini*. Tragedy and history in ancient literature PhQ, 1943, p. 908—914.
231. *P. Kirn*. Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke. Göttingen, 1955.
232. *E. Köpke*. De hypomnematis Graecis. Brandenburg, 1863.
233. *H. Mertel*. Die litterarische Form der griechischen Heiligenlegenden. München, 1909.
234. *G. Misch*. Geschichte der Autobiographie. Bd. I. 3 Aufl. Bern, 1950.
235. *K. Münscher*. Xenophon in der griechisch-römischen Literatur. (Philologus, XIII Supplementband, Heft II). Leipzig, 1920.
236. *Th. Payr*. En Komion — RLChr, XXXV, Lieferung, 1960, S. 332—343.
237. *R. Reitzenstein*. Hellenistische Wundererzählungen. Leipzig, 1907.
238. *E. Rohde*. Der griechische Roman und seine Vorläufer. 4. Aufl. (Vorw. zur Neuausgabe von *K. Kerényi*). Berlin, 1960.
239. *O. Schissel von Fleschenberg*. Die griechische Novelle-Rekonstruktion ihrer literarischen Form.— RhF, II. Halle, 1913.
240. *E. Schwartz*. Griechische Geschichtsschreiber. Herausg. von der Kommission f. spätantike Religionsgeschichte bei der Ak. d. Wiss. zu Berlin. 2. Aufl. Leipzig, 1959.
241. *A. Sizoo*. Autobiographie.— RLChr, Bd. I, 1950, S. 1050—1055.
242. *P.-G. Walsh*. Livy, his historical aim and methods. Cambridge, 1961.
243. *F. Wehrli*. Die Geschichtsschreibung im Lichte der antiken Theorie.— «Eumusia. Festgabe für E. Howald zum 70 Geburtstag». Erlenbach—Zürich, 1947.
244. *P. Wendland*. Die hellenistisch-römische Kultur in ihrer Beziehung zu Judentum und Christentum. Die urchristlichen Literaturformen. 2. Aufl. Tübingen, 1912.
245. *P. Wendland*. Philo und die kynisch-stoische Diatribe. (Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie und Religion von P. Wendland und O. Kern). Berlin, 1895.
246. *N. Zegers*. Wesen und Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung. Köln, 1959.

ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
И ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПЛУТАРХА

247. В. Е. Вальденберг. Политическая философия Диона Хрисостома.— ИАН, 1926, № 10—11, 13—17; 1927, № 3—4.
248. Р. Ю. Винпер. Просветительный век Римской империи.— ВДИ, 1947, № 1, стр. 45—59.
249. М. Е. Грабарь-Пассек. Введение к кн.: «Памятники поздней античной поэзии и прозы II—V вв.». М., «Наука», 1964, стр. 7—26.
250. С. А. Жебелев. АХАИКА. В области древней провинции Ахайи.— ЗИФФПУ, № 71, СПб., 1903.
251. О. В. Кудрявцев. Ахайя в системе римской провинциальной политики.— ВДИ, 1952, № 2, стр. 79—90.
252. О. В. Кудрявцев. Эллинические провинции Балканского полуострова во втором веке нашей эры. М., Изд-во АН СССР, 1954.
253. Т. Моммзен. История Рима. Т. 5. Провинции от Цезаря до Диоклетиана. Пер. с нем. под ред. проф. Н. А. Машкина. М., 1949.
254. С. Полякова. Греческая проза I—IV веков н. э.— В кн.: «Поздняя греческая проза». М., ГИХЛ, 1960, стр. 3—26.
255. А. Б. Ранович. Восточные провинции Римской империи в I—III вв. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949.
256. А. И. Сонни. К характеристике Диона Хрисостома.— ФО, т. 14, 1898, стр. 13—36.
257. Н. v. Arnim. Leben und Werke des Dio von Prusa. Berlin, 1898.
258. Н. Bengtson. Das politische Leben der Griechen in der römischen Kaiserzeit.— «Welt als Geschichte», 1950, S. 86—105.
259. G.-F. Hertzberg. Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer. Bd. I—II. Berlin, 1868.
260. J.-P. Mahaffy. The silver age of the Greek world. Chicago, 1906.

ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА

261. «Античная литература». Под общей ред. проф. А. А. Тахо-Годи. М., 1963.
262. «История греческой литературы». Под ред. С. И. Соболевского и др. Т. 1—3, М., Изд-во АН СССР, 1946—1960.
263. «История римской литературы». Под общей ред. проф. Н. Ф. Дератани. Изд-во МГУ, 1954.
264. «История римской литературы». Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Т. 1—2. М., Изд-во АН СССР, 1959—1961.
265. В. Бузескул. Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX и в начале XX века. Изд. 3. Пг., 1915.

266. *C. И. Радциг*. История древнегреческой литературы. Изд. 3. Изд-во МГУ, 1970.
267. *И. М. Тронский*. История античной литературы. Изд. 3. Л., 1957.
268. *J.-W.-H. Atkins*. Literary criticism in antiquity. Cambridge, 1961.
269. *W. Christ*. Griechische Literaturgeschichte. 6-te Aufl., bearb. von *W. Schmid* u. *O. Staehlin*. B. I—III. München, 1912—1924.
270. *A. et M. Croiset*. Histoire de la littérature grecque. Vol. I—V. 4-me ed. Paris, 1928—1929.
271. *M. Hadas*. A history of Greek literature. N. Y., 1950.
272. *W. Jaeger*. Paideia. Die Formung des griechischen Menschen. Bd. I—III. Bd. I. 3-te Aufl. Berlin, 1954; Bd. II—III. 2-te Aufl. Berlin, 1959.
273. *W. Kranz*. Geschichte der griechischen Literatur. 4-te Aufl. Leipzig, 1958.
274. *H. Licht*. Sittengeschichte Griechenlands. Stuttgart, 1960.
275. *W. Nestle*. Griechische Geistesgeschichte von Homer bis Lukian in ihrer Entfaltung vom Mythischen zum rationalen Denken dargestellt. Stuttgart, 1944.
276. *M. Nilsson*. Geschichte der griechischen Religion. Bd. I—II. München, 1950.
277. *E. Norden*. Die antike Kunstprosa vom 6. Jahrhundert vor Christus bis in die Zeit der Renaissance. Bd. I. 3-te Aufl. Leipzig, 1915.
278. *E. Norden*. Die römische Literatur. 6. Aufl. Leipzig, 1961.
279. *M. Schanz* u. *C. Hosius*. Geschichte der römischen Literatur. Bd. I—II. 4-te Aufl. München, 1927—1935; Bd. III. München, 1905; Bd. IV. München, 1914—1920.
280. *T.-A. Sinclair*. A history of Greek political thought. London, 1951.
281. *T. Sinko*. Literatura grecka. T. I—III, Krakow, 1931—1951.
282. *F. Ueberweg*. Grundriss der Geschichte der Philosophie. 1. Teil. Das Altertum. 12. Aufl. von *K. Praechter*. Berlin, 1926.
283. *U. v. Wilamowitz-Moellendorff*. Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (=Die Kultur der Gegenwart, Bd. I, № 8). Leipzig—Berlin, 1912.
284. *U. v. Wilamowitz-Moellendorff*. Staat und Gesellschaft der Griechen. (=Die Kultur der Gegenwart. 2. Teil. 4. Abt., Lieferung). Berlin — Leipzig, 1923.
285. *R. Volkmann*. Die Rhetorik der Griechen und Römer. 2. Aufl., Leipzig, 1885.
286. *F. Wright*. A history of later Greek literature from the death of Alexander in 323 b. C. to the death of Justinian in 365 a. C. London, 1932.
287. *Ed. Zeller*. Die Philosophie der Griechen. 3. Teil. 2. Abteilung. 2. Hälfte, 5. Aufl. Leipzig, 1923 (o Πλυταρχε — S. 175—218).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

ВВ	«Византийский временник»
ВДИ	«Вестник древней истории»
ЖМНП	«Журнал Министерства народного просвещения. Отдел классической филологии».
ЗИФФПУ	«Записки историко-филологического факультета Петербургского университета»
ИАН	«Известия Академии Наук СССР»
ФО	«Филологическое обозрение»
A & R	«Atene e Roma»
ACI	«L'Antiquite classique»
AJPh	«American Journal of Philology»
CQ	«Quarterly»
CR	«Classical Review»
JAW	«Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft»
JHS	«Journal of Hellenic Studies»
JRS	«Journal of Roman Studies»
KT	«Kleine Texte für Vorlesungen und Uebungen, herausgegeben von H. Lietzmann»
LEC	«Les Etudes classiques»
NGG	«Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen»
NJ	«Neue Jahrbücher für das klassische Altertum»
PhQ	«Philological Quarterly»
PhW	«Philologische Wochenschrift»
POxy	«Oxyrinchus Papyri»
RE	«Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von G. Wissowa u. a.»
REC	«Revue des études grecques»
276 RF	«Rivista di filologia e d'instruzione classica»

RhF	«Rhetorische Forschungen». Herausg. von <i>O. Schissel v. Fleschenberg</i> und <i>J.-A. Glonar</i> .
RhM	«Rheinisches Museum»
RLAChr	«Reallexicon für Antike und Christentum». Herausg. von <i>Th. Klauser</i> .
RPh	«Revue de philologie, d'histoire et de litera- ture anciennes»
RSI	«Rivista storica italiana»
SHA	«Scriptores Historiae Augustae»
WS	«Wiener Studien»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Введение (К истории вопроса)	19
Глава I. Общие мировоззренческие установки Плутарха	47
Практическое жизнеотношение	47
Общефилософское жизнеотношение Плутарха и особен- ности его морализма	69
Глава II. Подход Плутарха к литературному твор- честву	93
Плутарх между морализмом стоического типа и второй софистикой	93
Общий литературный характер «Параллельных жизнеописаний»	119
Глава III. Подбор героев	159
Круг интересов эллинистической биографии	160
Тематика «Параллельных жизнеописаний»	176
Биографии Плутарха и «греческое Возрождение»	188
Глава IV. Структура сборника	209
Попарная группировка биографий	212
Смысл попарной группировки биографий	229
Место отдельной биографии в общем единстве сбор- ника	239
Заключение	257
Библиография	261
Список сокращений	276

Сергей Сергеевич
АВЕРИНЦЕВ

●
ПЛУТАРХ
И АНТИЧНАЯ БИОГРАФИЯ

●
Утверждено к печати
Институтом мировой литературы АН СССР
им. А. М. Горького

●
Редактор издательства
Л. М. Стенина

Художник
И. Б. Кравцов

Художественный редактор
С. А. Литвак

Технический редактор
В. А. Григорьева

●
Сдано в набор 17/XI 1972 г.
Подписано к печати 25/IV 1973 г.
Формат 84×100¹/₃₂. Бумага № 2
Усл. печ. л. 13,65. Уч.-изд. л. 14,8.
Тираж 25 000. Тип. зак. 1518. А-02077
Цена 90 коп.

●
Издательство «Наука», 103717 ГСП.
Москва, К-62, Подосенский пер., 21
2-я типография изд-ва «Наука», 121099
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
82	26 св.	Плантедиад	Дидим Планетиад
84	3 св.	примеч. 7	примеч. 19
206	20 св.	O. Schneider	C. Schneider
214	17 св.	αθ'	καθ'
252	11 св.	δη	δη
264	25 св.	Para	Pars
266	15 св.	Fin.	Ein
267	22 св.	ῥισδος	ῥισδος
270	3 св.	Lulius	Julius
273	19 св.	En Komion	Enkomion
276	13 св.	«Quarterly»	«Classical Quarterly»

90 коп.

